

Генрих Джейне



**ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ**

Генрих Тейне

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ДЕСЯТИ ТОМАХ

Под общей редакцией

Н. Я. БЕРКОВСКОГО, В. М. ЖИРМУНСКОГО,
Я. М. МЕТАЛЛОВА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1956

Генрих Тейне

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

т о м

1

КНИГА ПЕСЕН

ТРАГЕДИИ

РАННИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

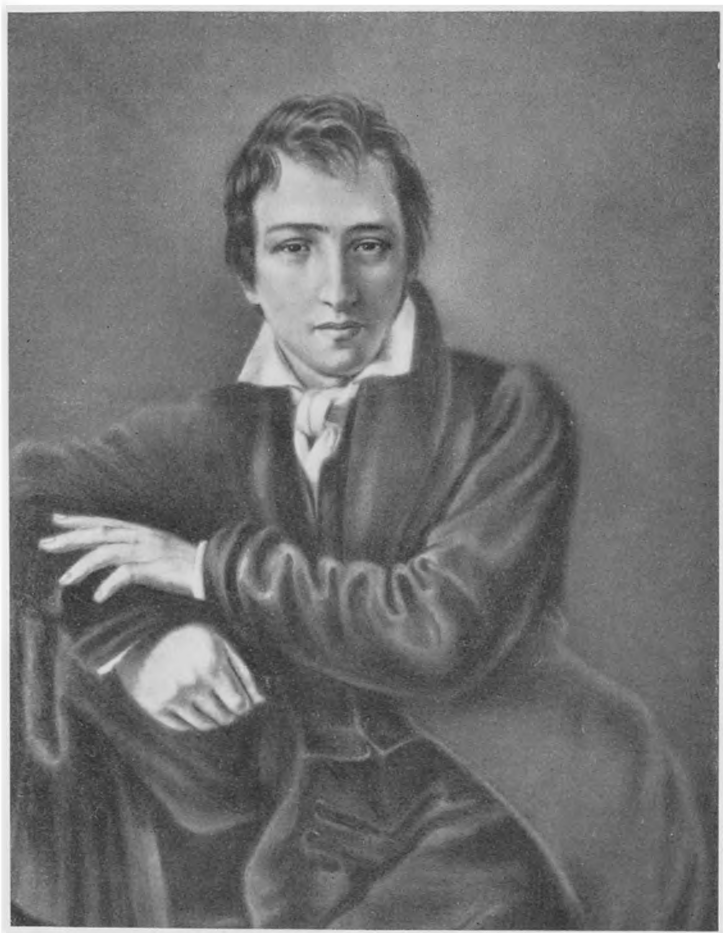
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1 9 5 6

Вступительная статья
Д. И. ЗАСЛАВСКОГО

Редакция переводов и примечания
Н. Я. БЕРКОВСКОГО

Перевод с немецкого





ГЕПРИХ ГЕЙНЕ

(1797—1856)

Гейне — великий лирический поэт немецкого народа. О чем бы он ни писал, он писал о себе; но через свои личные чувства, через свою страсть, любовь, ненависть, гнев он отражал природу и современную историю. В его личных чувствах звучал и голос народа.

Гейне — замечательный сатирик, певец и трибун революции, ее боевой публицист.

Неоднократно делались попытки отделить Гейне-лирика от Гейне-публициста и противопоставить одного другому. Но эти попытки всегда вели к извращению подлинного облика поэта. Гейне вносил политическую страсть в лирические стихи, высокую лирику в политическую поэзию и публицистику. Лирический юмор придает неотразимую силу его злой сатире.

Гейне нанес смертельный удар немецкой романтике, питавшейся реакционной стариной. Он вел борьбу против этой безжизненной романтики во имя правды жизни, во имя реализма. Но сам он был до конца жизни романтиком и создавал новую романтическую поэзию во имя грядущего, во имя политической и социальной революции.

Гейне называл себя «барабанщиком» революции. Он был ее вестником и пророком. Но его «барабан» иногда издавал неуверенные и неверные звуки. Противоречия в душе поэта были отражением противоречий бурной его современности. В этом сложность его поэтического и политического облика. И все же через все колебания, через все противоречия поэта неизменно проходит одна основная

линия — непримиримая борьба за полное освобождение народа и человечества от гнета феодальных владык и князей церкви, магнатов биржи и банков. Эта борьба сблизила поэта с революционерами и социалистами, обусловила знаменательную дружбу Генриха Гейне и Карла Маркса.

Гейне — один из любимейших поэтов трудящихся, один из гениев мировой литературы.

«Время и место» Гейне называл «важнейшими моментами» в своем творчестве. Обрисовать в кратких чертах «время и место», то есть исторические условия жизни и деятельности Гейне, — такова задача настоящей статьи.

I

«Над моей колыбелью играли вечерние лучи восемнадцатого и первая заря девятнадцатого столетия», — так писал о себе в «Мыслях и заметках» Гейне, родившийся 13 декабря 1797 года.

Вечерними лучами отсвечивал закат феодального общества. Утренняя заря разгоралась над буржуазным обществом. Раздробленная на множество мелких княжеств, Германия олицетворяла собою застой и гниение феодализма.

Французская буржуазная революция озарила ярким светом колыбель поэта. Девятнадцатый век вошел в Германию под грохот барабанов революции, с развернутыми знаменами, на которых были начертаны совсем новые, еще не успевшие поблекнуть письма: свобода, равенство, братство.

Левый берег Рейна увидел армии Конвента. Затем Наполеон перешел Рейн как завоеватель. Лишь немногие распознали в нем палача революции. Для большинства он оставался героем.

В 1804 году гениальный Бетховен окончил свою третью, «Героическую» симфонию. Он посвятил ее революции и на заглавном листе обозначил: Бонапарте. Но «герой» провозгласил себя императором Наполеоном. Бетховен гневно разорвал титульный лист. Симфония великого немца осталась героическим гимном революции. Увенчав себя короной, Наполеон развенчал себя как освободителя народов.

Но все же он шел по феодальной Европе как ее разрушитель. От него бежали немецкие короли и князья, с почтительным страхом склонялась перед завоевателем немецкая буржуазия. Его восторженно встречала передовая немецкая молодежь.

Наполеон перекаривал карту Германии, тасовал королевства и княжества. Он создал Рейнский союз и в его составе — герцогство

Бергское. Наполеон подарил это государство, как игрушку, своему зятю Мюрату. Столицей эфемерного герцогства стал город Дюссельдорф.

В 1806 году французские войска вступили в Дюссельдорф. Генералы Наполеона вели колонны старых солдат Конвента. Вместе с солдатами врвался в Германию дух великой революции, ее идеи, ее песни.

На Рыночной площади Дюссельдорфа состоялся парад завоевателей. Отцы города, смиренные буржуа, выразили свою покорность и преданность новому властителю. Барабаны гремели, солдаты маршировали. С пьедестала памятника курфюрсту Яну-Вильгельму на это театральное зрелище смотрели мальчишки — среди них девятилетний белокурый мальчуган Гарри Гейне. Могло ли изгладиться из их памяти такое великолепное представление? Все мальчишки любят игру в солдатки, а это была самая блестящая, самая увлекательная игра. И всего эффектнее казался сверкающий золотым шитьем мундира тамбурмажор, игравший своей булавой, как настоящий жонглер.

Так отражались в мечтательной душе мальчика великие события его времени. Наполеон не раз посещал Дюссельдорф, и маленький Гейне встретил его однажды на прогулке в аллее парка. Мальчик видел человека, перед которым, как перед полубогом, в страхе и покорности склонялись коронованные властители Европы. Этот человек, по позднему рассказу поэта, поражал своей внешней простотой, и вокруг его головы в глазах мальчика сверкал не ореол императорской короны, а немеркнущий ореол революции, свободы.

Где-то далеко разыгрывались исторические сражения. Шумела слава Маренго, Ваграма. Австрийский император, сильнейший до сего монарх феодальной Европы, смиренно отдал непобедимому Наполеону в жены свою дочь, и сам папа римский благословил этот брак. В тихом Дюссельдорфе парады следовали за парадами. Неустанно гремели французские барабаны, это была музыка раннего детства Генриха Гейне, и с той поры вошел в его поэтические грезы художественный образ «барабанщика», неотделимый от образа революции.

Будь не флейтою безвредной,
Не мещанский славь уют —
Будь народу барабаном,
Будь и пушкой и тараном,
Бей, рази, греми победно!

Барабанщик Ле Гран станет впоследствии обаятельным героем одной из книг Гейне.

События следовали за событиями, волнующие, увлекательные. Историческая феерия сменялась исторической драмой. Гейне был свидетелем того, как Рейн на пути в Россию переходили отборные войска Наполеона, его гвардия. Их провожали восторженными кликами... И тут неожиданно с катастрофической быстротой начал разыгрываться финал наполеоновской эпохи.

Прошло не много времени, и Гейне был очевидцем отступления «великой» французской армии. На его глазах последние жалкие ее остатки переправлялись через Рейн.

Во Францию два гренадера
Из русского плена брели...

Еще несколько судорог наполеоновской империи, и бесславно померкли ее огни, замолкли барабаны. Запавес опустился. Одна из самых драматических эпох мировой истории отошла в прошлое. Феодалная реакция мстила не только Наполеону, — прежде всего на революцию обрушила она свои удары.

Романтику истории сменила ее сухая проза. Черная тень реставрации пала на Германию, Меттерних от имени Священного союза держал немцев в железной узде. Пало эфемерное герцогство Бергское, курфюрст вернулся в Дюссельдорф.

Словно окончились чары блестящего спектакля, словно прошел волшебный сон. Мальчик Гарри очнулся: вокруг стены францисканского монастыря, в школе которого он учился. Снова скучные патеры с их проповедью покорности богу и «законному» королю. А дома — отец, торговец сукном, разговоры о богатой родне, о дяде Соломоне Гейне, богатейшем ростовщике и банкире в Гамбурге. Дядя был предметом зависти в семье своих бедных родственников.

Наполеон творил волю буржуазии, когда разрушал в Западной Европе троны феодальных монархов. Реакция клеймила его как чудовище анархии. Реставрация тщательно вытравляла все следы буржуазной революции, но буржуазный порядок нельзя было вытравить. Короли биржи теперь делили власть с королями «милостью божьей».

Ничто не могло уничтожить в памяти Гейне впечатлений детства. Слишком разителен был контраст между романтикой революции и презренной прозой дворянского тупоумия, буржуазного торгашества. Гейне закончил католический лицей в Дюссельдорфе, побывал в банковских конторах, пожил в доме своего гамбургского дяди, испытал унижительное положение бедного родственника в семье миллионера. Весь искус этих лет привел к результатам, противоположным тем, которых ожидала родня. Католическая школа

сделала Гейне атеистом уже со школьной скамьи, с 13 лет. Попытки привить Генриху Гейне дух наживы впустили ему страстную ненависть к власти золота.

Его семье пришлось убедиться в том, что ничего «путного» из юноши не выйдет. Путь к обогащению был закрыт. Оставалась еще надежда, что из Генриха может выйти способный адвокат. В 1819 году Гейне был принят на юридический факультет Боннского университета.

II

Гейне — студент. Он не спешит расстаться с вольным студенческим житьем, по обычаю того времени кочует из университета в университет, слушает лекции в Бонне и в Берлине, завершает высшее образование в Геттингене.

Во всей Европе царит реакция. В Париже Людовик XVIII пытается восстановить самодержавную власть Бурбонов. Ему помогает парламент, за свою реакционность прозванный «неповторимой палатой». В Германии, разделенной на 36 монархий, цензура и полиция охотятся за малейшими проявлениями свободомыслия.

Чуть слышны живые подземные ключи — родники демократической мысли. Убийство студентом Зандом полицейского агента русского царя при прусском дворе Коцебу свидетельствует о том, что есть протестующие силы. Однако террор одиночек говорит и об оторванности этих одиночек от масс.

Бурлит студенчество. Это не революционный протест, это молодежная фронда. Но и она беспокоит реакцию. Меттерних требует принять против нее меры. На политическом кладбище должно быть полное молчание. Опасно все, что обнаруживает признаки жизни.

Французская оккупация оставила неизгладимый след в виде проснувшегося пемсцкого национального сознания. Возродилась идея германского единства. В разных кругах она приняла разные формы. Австрийская монархия ревниво косилась на прусскую, — обе претендовали на первое место в призрачной «Римской священной империи германской нации». В поисках единства взоры буржуазной молодежи обращались к тем древним временам, когда воинственные тевтоны угрожали Риму. Немецкий патриотизм облакался в самые реакционные формы. В студенческих землячествах бурши распевали националистические гимны.

Такими настроениями была проникнута и литература, в особенности поэзия. Старая романтическая школа преподносила немецкому народу причудливую смесь из националистических туманных грез

и фантастических вздыханий по легендарной старине. Поэзия Тика, Новалиса, Арнима, братьев Шлегелей была бегством от жизни. Полная страха перед реальной действительностью, она уводила в мистический мир загробных видений, воспевала тоску по «голубому цветку». Она не расставалась с призраками, с мертвыми рыцарями в заколдованных замках... Романтическая школа выполняла свое историческое назначение: мистическими вздыханиями она старалась заглушить воспоминания о революции, о безбожном «французском духе».

Студент Гейне вращался в этой романтической среде. Август Шлегель был одним из его университетских учителей. «Голубой цветок» Новалиса одно время соблазнял и его. Но «французский дух» слишком сильно жил в его душе, чтобы могли отвлечь его эти романтические бредни реакции от живой, яркой, волнующей романтики революционных лет. «Барабан» неумолчно бил в сердце молодого поэта. Юноша чувствовал свое духовное родство с великими поэтами Германии, с Шиллером и Гете, в чьих творениях отразились свободолобивые идеи начала XIX века. И образ Наполеона — пусть еще не понятый им, не разгаданный — неизгладимо остался в памяти Гейне.

В начале двадцатых годов прозвучал в Германии новый, неизвестный поэтический голос, появились новые песни неизвестного поэта, заставившие встрепенуться всех ценителей поэзии.

Это был еще робкий, неуверенный голос. В песнях были знакомые образы старой романтической школы, все еще являлись к призрачным принцессам мертвые рыцари, грезы перемежались со слезами, соловьи пели над сказочными цветами, русалки плескались в волнах при свете луны... В этих стихах слышалась печаль неразделенной и отвергнутой любви. Но кто же мог догадаться, что «страдающий» юноша был одним из самых веселых и жизнерадостных студентов Бонна, что поэт весьма недолго «страдал» и быстро утешился, когда дочь банкира Соломона Гейне предпочла бедному поэту богатого жениха.

Жизнерадостные ноты прорывались уже в первых песнях Гейне. Он написал и две трагедии — «Альманзор» и «Вильям Ратклиф» (1823), в которых, несмотря на их романтические образы, уже громко и по-новому звучал голос социального протеста против сильных мира сего.

Имя Гейне приобретало популярность. Песни следовали за песнями. Все меньше становилось в них романтического тумана. Если и появлялась старина, то она перекликалась с современностью. Главное же — эти песни дышали прелестью и непосред-

ственностью жизни. В них были не мертвые, вымышленные голубые цветки, не мистические фантазии, а подлинные цветы на подлинных полях, не сказочные принцессы, лобзающие утопленников, а живые и простые немецкие девушки, охотно отвечающие на поцелуи.

Это была новая лирика, неотразимая своей задушевностью, простотой, человечностью. Д. И. Писарев, относившийся не только строго, но и придирчиво к лирической поэзии, подвергший, в частности, сокрушительному разбору и некоторые произведения Гейне, признавался: «Нет ни малейшей возможности отрицать чарующую прелесть гейневской поэзии» («Генрих Гейне»).

Эта чарующая прелесть сопутствует всем произведениям Гейне, стихам и художественной прозе. Источник этой властной поэзии — жизнь. Поэзия Гейне сама по себе была вызовом старой романтической школе. Она была смертельным ударом по этой школе, потому что знаменовала рождение новой, реалистической поэзии в Германии, и уж по этому одному была революционной школой.

Читателей пленяла простота поэзии Гейне, ее народность. Пленяла ее музыкальность. Собрание его лирических стихов не случайно называется «Книгой песен». Стихи его пелись при чтении, властно требовали музыки, почти все композиторы — современники поэта, а потом и позднейшие, вплоть до нашего времени, писали и пишут музыку на слова Гейне. Эти стихотворения переходили в народ, становились народными песнями, и даже гитлеровцы, которые сжигали на кострах книги Гейне, пытались искоренить его имя из памяти немецкого народа, даже они не решились посягнуть на «Лорелею». Она входила в сборники немецких песен без имени автора.

Пленял юмор Гейне, еще мягкий в первых стихотворениях. Смех в них был пронизан юношеской грустью. Сложность поэтической души Гейне впервые выразилась с большой силой в цикле стихов «Северное море». Он и в других произведениях любил сравнивать свое сердце с морем, то спокойным, то бурным. Он писал:

А в сердце моем, как в море,
И ветер поет и волна,
И много прекрасных жемчужин
Таит его глубина.

Поражали новые, непривычные, подчас дерзкие образы. Он мог сравнить дождь над морем, пронизанный солнцем, с... штанами.

Сердитый ветер надел штаны,
Свои штаны водяные...

Свободным от старой метрической схемы был его стих. Это было необычно и казалось ревнителям романтической старины револю-

ционным посягательством на капопы классической лирики. Но это еще не было «политикой». А вскоре прозвучали в песнях и сонетах молодого поэта и открыто мятежные ноты. Гейне разрывал все связи с реакционной романтикой, с охранительным лагерем.

«Личину мне! Отныне я плебей!» — так начинает Гейне один свой ранний сонет, и продолжает:

Я ворвался в немецкий маскарад,
Не всем знаком, но знаю эти хари:
Здесь рыцари, монахи, государи.
Картонные мечи меня разят.
Пустая шутка! Скинъ я только маску —
И эти франты в страхе бросят пляску.

Будущий великий сатирик угадывается в этих стихах. Но бросив вызов реакционной романтике, Гейне не отказывается от арсенала романтических образов. Он писал впоследствии: «Тысячелетнее царство романтики кончилось, и я сам был ее последним и отрехшимся от престола сказочным королем».

Разрушая старую романтику, насыщенную средневековыми образами, Гейне создавал новую романтику, обращенную в будущее. Поэт не отказывался и от фантастики. В его песнях — живой, реальный Рейн, живая, современная Германия. И в то же время поэт не раз уносится грезами в экзотическую Индию, на сказочный Ганг.

На крыльях песни, подруга,
Со мной умчишься ты,
На Ганг, под небо юга,
В чудесный край мечты.

И снова:

Над Гангом звон и щебет,
Гигантский лес цветет...

Или:

Струится Ганг и плещет. Гималаи
Сверкают под лучом прощальным дня.

И позже (в книге «Идеи. Книга Ле Гран», 1827) Гейне, погружаясь в мечты, в грезы, сам себя называет «графом Гангским». Но это лишь условные поэтические формулы, через которые проявляются свободолюбивые настроения молодого автора.

В студенческие годы появляются и первые опыты художественной прозы и публицистики Гейне. В 1822 году он пишет «Письма из Берлина». Это фельетоны, исполненные остроумия, написанные легко, непринужденно, подкупающие своим блестящим стилем.

В 1824 году, за год до окончания университета, Гейне совершил экскурсию по Гарцу. Горы Гарца, увенчанные Брокеном, в немецкой литературе и фольклоре овеяны легендами. Сюда в народных сказаниях слетались на свой шабаш ведьмы. Сюда гетевский Мефистофель привел Фауста.

В «Путешествии по Гарцу» (1826) проявились сатирические черты дарования Гейне. Это один из высших образцов его художественной прозы. Великолепные картины горной природы сменяются меткими характеристиками людей. Лирические стихи, вкрапленные в прозаическую ткань рассказа, чередуются с сатирической насмешкой над тупоумием официальной германской науки, над ханжеством буржуазии, над фальшью всего общественного и государственного уклада.

В «Путешествии по Гарцу» Гейне как бы подводил итоги своим студенческим годам. Но неправильно было бы думать, что университеты внушили Геприху Гейне только презрение к реакционной науке и философии. Нет, это не так. В студенческие годы сложились и оформились философские взгляды поэта. Они выковывались в аудиториях, на лекциях некоторых профессоров, в горячих спорах, которые велись тогда в кругу передовой немецкой молодежи.

В Берлине Гейне слушал лекции Гегеля. Гегель преподавал философские дисциплины в Берлинском университете с 1818 года. О впечатлениях Гейне от лекций великого немецкого мыслителя можно судить по признанию самого поэта: «Философия Гегеля сделалась господствующей, Гегель стал государем в царстве умов...»

Гегелем увлекались тогда повсюду. Но понимали его немногие. Большинство принимало вместе с идеалистическими концепциями Гегеля и реакционные его выводы, его аналогию монархической Пруссии как последнего воплощения «всемирного духа» истории. Гейне принадлежал к тем, кто из рациональных посылок гегелевской диалектики делал революционные выводы.

Сам Гейне выразил свое отношение к Гегелю в знаменитом стихотворении «Доктрина»:

Стучи в барабан и не бойся,
Целуй маркигантку под стук.
Вся мудрость житейская в этом,
Весь смысл глубочайших наук.

.....
И Гегель и тайны науки —
Все в этой доктрине одной;
Я понял ее, потому что
Я сам барабанщик лихой!

Мы знаем, что у Гейне барабан — это символ революции. Барабан должен будить людей от сна. Подобный смысл вкладывал Гейне и в философию Гегеля. Художественная метафора раскрывает не только близость Гейне к лучшей, революционной стороне гегелевской диалектики, но и к утверждению Фейербаха о торжестве реальной жизни над отвлеченностью и бесплотностью идеализма.

Гейне приближался к материализму, хотя и оставался еще в лагере идеалистической философии.

В 1825 году Гейне окончил университет и получил звание доктора прав. Он мог заняться адвокатурой. Но выбор его жизненного пути уже определился. Гейне призван был стать великим революционным поэтом немецкого народа.

III

После падения Наполеона буржуазия объединилась с феодальными силами Европы, чтобы разгромить революцию и установить порядок. Но это должен был быть буржуазный, а не феодальный порядок. Поэтому вскоре возобновляется борьба за власть между буржуазией и дворянством, а с борьбой в верхах общества происходит оживление и в его низах. Народы Европы сбрасывают с себя оцепенение периода Реставрации.

Франция снова впереди. Реакционные правительства Людовика XVIII и Карла X неустойчивы. Растет либеральная оппозиция, а за ней вскипают и гребни народного подъема. С опаской поглядывая на народ, оппозиционная буржуазия требует реформ. И все это движение, бурно разрастаясь, приводит к народным выступлениям, подготовившим революцию 1830 года.

События бурно развертывались во Франции, несравненно медленнее — в Германии. В эти годы революционное нетерпение овладевало поэтом. Душа его рвалась к Парижу с его митингами, банкетами, собраниями в Пале-Рояле. Вокруг себя Гейне видел только литературное брожение, слышал либеральные толки в буржуазных салонах Берлина. Тем острее, тем язвительнее были его выпады против немецкого мещанства, против верноподданнического духа бюргеров, против филистерства и обывательщины.

После окончания университета Гейне полностью погрузился в литературу, в поэзию и в публицистику. Борьба была для него родной стихией. Он ринулся в нее со всей страстью, нанося сокрушительные удары врагам и получая от них ответные удары.

Цензура жестоко преследовала Гейне. Он должен был скрывать свои чувства и мысли за метафорами и намеками эзоповой речи. Но мятежный дух его стихов проникал к читателям и сквозь эту оболочку, и он был самым любимым поэтом немецкой молодежи.

Наконец грянул 1830 год. Европа снова увидела Париж в баррикадах. Снова гремела «Марсельеза». Снова пламенные речи о свободе, о республике потрясали мир. Снова старый порядок бросился на защиту своих твердынь.

Гейне был захвачен стремительным потоком революционных перемен. Он писал о себе:

«Я меч, я пламя.

Я светил вам во тьме, и когда началась битва, я сражался впереди, в первом ряду... Мы победили, но вокруг меня лежат трупы моих друзей. Среди триумфальных песен ликования звучат похоронные хоралы. Но у меня нет времени ни для радости, ни для скорби. Снова грохочут барабаны, предстоит новая битва...

Я меч, я пламя».

Контраст между революционной Францией и сонной Германней становился невыносим для поэта. Он писал еще за год до революции в стихах «Анно 1829»:

О, пусть я кровью изойду,
Но дайте мне простор скорей!
Иль вечно задыхаться здесь,
В проклятом царстве торгашей!
.....
Нет, лучше мерзостный порок,
Разбой, насилие, грабёж,
Чем счетоводная мораль
И добродетель сытых рож!

Гейне ждал «новой битвы» и готовился к ней. Революция 1830 года представлялась поэту только началом событий, которые по своей глубине должны были по крайней мере повторить события революции 1789 года. Однако парижские революционные эффекты внезапно оборвались. Испуганная ими французская буржуазия снова бросилась в объятия реакции, чтобы затопить в крови рабочих начавшуюся революцию. Буржуазные республиканцы без особого сопротивления приняли короля. Контрреволюционное правительство Гизо — Тьера начало свирепую расправу с революционными элементами. В Германии, где революционное движение не дошло до взрыва, расправа была не менее жестока.

Для Гейне и для многих других передовых деятелей оставаться в Германии стало невозможным. Некоторые из наиболее свободолюбивых уже были заключены в тюрьмы.

В 1831 году Гейне покинул Германию. Лишь спустя двенадцать лет он смог посетить Германию, чтобы повидаться с родными. Но жить и творить в Германии он не мог. Париж стал его второй родиной.

IV

Гейне в Париже, в центре политических событий Европы — по сути, мировых событий. «Со времени революции, — писал Энгельс, — Франция — по преимуществу политическая страна Европы». ¹

Отраженными волнами революционный подъем захватывает всю Западную Европу, ширится восстание в Польше, рождается «Молодая Италия»... Даже в Германии, где реакция была всего сильнее, начинается брожение, кое-где происходят кратковременные революционные вспышки. Буржуазный порядок не может примириться с феодальными барьерами тридцати шести государств. Растущая промышленность требует экономического единства страны.

В эти годы возникает «Молодая Германия». Это не политическая партия, а литературная школа. Талантливые поэты и писатели — среди них Лаубе, Гуцков — бичуют отсталость и реакционность старого порядка, зовут к новой жизни, к освобождению человека. В их идеалах много отвлеченного. Это — общий, распылчатый гуманизм, протест против тирании властителей и против гнета и нетерпимости церкви. Вожди «Молодой Германии» не революционеры. Но молодежь принимает их произведения как революционные, и правительства земель мобилизуют против «Молодой Германии» все свои цензурные силы.

Громче, более страстно и более определенно звучат голоса Людвиг Берне и Генриха Гейне. Они не принадлежат к «Молодой Германии», но их считают ее вождями.

Берне — талантливый памфлетист и фельетонист. Его статьи действовали на передовую молодежь как революционные прокламации. Юноша Энгельс зачитывался ими. Берне был буржуазным

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, изд. второе, т. 1, стр. 526.

радикалом. Он верил в безграничную силу буржуазной республики и в ней видел средство освобождения народа от всех бедствий и зол. Круг его политических идей был ограничен, но он был страстно предан этим идеям.

Имя Берне называлось рядом с именем Гейне. Их считали единомышленниками и друзьями. Это было не совсем так. Одно время Гейне шел рядом с демократом Берне. Но они были разные люди, и их пути разошлись.

Германская реакция со страхом и злобой смотрела на революционную Францию. Снова эта неугомонная страна со своим беспокойным Парижем будоражит всю Европу и заставляет монархов трепетать на пошатнувшихся тронах! Правительственные писаки — среди них вчерашние либералы и демократы типа Менцеля — сделали француозество своей профессией.

Берне и Гейне разоблачили менцелей. Они выступали пропагандистами и агитаторами «французских», то есть революционных, республиканских идей.

Стихотворения Гейне 30-х годов носят открыто политический характер. Они зовут к борьбе. В них еще сильна романтика — Гейне не покинет ее до конца своей жизни, — но это совсем новая романтика. Гейне писал о ней впоследствии: «Я пытался возродить романтику... но не в мягкой музыкальной манере старой школы, а в предельно дерзкой форме современного юмора».

Все произведения Гейне искрятся веселым остроумием. Его дарование сатирика развертывается во всем художественном блеске. Он сам осознает свое призвание поэта-сатирика. В историко-литературном очерке «Романтическая школа» (1833—1835) он выражает свое восхищение величайшим мировым сатириком Аристофаном. Впоследствии он писал о своем творчестве в «Германии» (1844):

На этой лире бряцал мой отец,
Творя для эллинской сцены, —
Покорный мастер Аристофан,
Возлюбленный Камены.

Гейне пишет корреспонденции из Парижа в либеральную «Аугсбургскую всеобщую газету». Это живая летопись событий, в которой великолепные публицистические страницы сменяются образцами остроумной художественной прозы.

Французская буржуазия подавила революционные выступления и восстановила порядок на площадях и улицах Парижа. Но приостановить развитие революционного движения она не могла. Она способствовала ему помимо своей воли. Рост промышленности неуклошно подрывал устои феодального общества. Так было во

Франции, так было и во всей Европе. На историческую арену выходил пролетариат. Его классовое сознание еще было затемнено многими предрассудками, вера в республику еще не была утрачена окончательно, но сквозь буржуазно-демократические иллюзии прокладывала себе дорогу острая критика буржуазных отношений.

В Париже это было особенно ясно, и Гейне жадно ловил все новое, все, что говорило о нарастании нового революционного подъема. Французский народ неуклонно шел к своему 1848 году, жаркое дыхание грозы чувствовалось в политической атмосфере задолго до взрыва.

Во Франции разгоралась борьба партий, возникали, пока в подполье, революционные рабочие организации, почва под правительствами становилась зыбкой.

В эти годы Гейне много труда отдает художественной прозе. Помимо «Французских дел», появляются его «Салон», «Флорентинские ночи» и другие шедевры гейневской прозы. Он знакомит французов с немецкой философией и литературой. Наряду с этим выходят сборники стихов — по преимуществу остро политических, революционных. Сатира, свободная от цензурных оков, разит беспощадно всех «почных сторожей» в Германии, националистов-тевтономанов, бездарных писателей, воспевающих немецкую старину, чтобы сохранить в раздробленной Германии застой средневековья.

Поэт не расстается с арсеналом романтических образов. Написанная в 1836 году поэма «Тангейзер» представляет собою поэтическую обработку старой немецкой легенды. Рассказ о рыцаре, попавшем в грот Венеры, имеет здесь проницательную атеистическую окраску, пропикнут насмешкой над католицизмом, — и неожиданно действие переносится в современную Германию, прорния сменяется жгучей сатирой, предвещающей знаменитую панораму «Германия».

Гейне много, с увлечением работал в изгнании. Его имя стало широко известным не только на его родине, но и во всей Европе. Он пользовался большим успехом, литературным и личным. Но ему пришлось отведать и «горького хлеба» изгнания.

Реакционная печать и литература в Германии объявили его «изменником», отрицали за ним право называться «немецким поэтом». Союзный сейм в 1835 году, наложивший запрет на творчество писателей «Молодой Германии», сделал особую оговорку относительно Гейне: запрещалось все, что выходит из-под его пера. Даже имя поэта нельзя было упоминать в печати. Издатели в испуге отшатнулись от опасного автора. Пресмыкающаяся перед властями печать беззастенчиво чернила Гейне клеветническими слухами. Но все это лишь увеличивало популярность поэта среди пере-

довой немецкой молодежи. Его сочинения распространялись из-под шолы. В них звучала горячая любовь к родине.

Но преследования имели место и с другой стороны, и это были еще более жестокие преследования.

После 1830 года в Париже осела численно значительная немецкая эмиграция. Как это часто бывает в эмигрантской среде, революционные деятели различных направлений принесли с собой в изгнание свои верования и свои предрассудки. Возник «Союз изгнанников», а затем, в 1834 году, — эмигрантская организация немецких ремесленников. Оторванные от привычной жизни, очутившись в чужом большом городе, эмигранты разбились на кружки и вели между собой мелочную борьбу за влияние в политике и в печати.

Признанным вождем радикального кружка был Людвиг Берне. Его имя провозносилось передовой молодежью с благоговением как имя знаменосца немецкой свободы.¹ Так называл его молодой Энгельс, ставивший Берне рядом с Лессингом. «Французские письма» Берне были ярчайшими памфлетами, исполненными сарказма и гнева. Берне оставался и в эмиграции непреклонным рыцарем политической республики, смелым якобинцем XIX века, не замечавшим перемен, происходящих в мире.

Важнейшей из этих перемен был поставленный рабочим классом социальный вопрос. Священная формула политического радикализма — «свобода, равенство, братство» — потеряла свою магическую силу. Свобода буржуазии, политическое равенство, формальное братство не могли дать рабочему хлеба, не могли искоренить нищету, не могли уничтожить бесчеловечную эксплуатацию. Буржуазная свобода разоблачила себя уже в 1830 году, не говоря о том, что и во время Великой французской революции социальный вопрос уже вставал перед победившей революцией грозным призраком грядущего.

В 1834 году восстание ткачей в Лионе навело панику на буржуазию. Через десять лет, в 1844 году, восстали ткачи в Силезии. Из Англии доносились грозные вести о рабочих волнениях, о чартистах.

Призрак коммунизма впервые предстал перед глазами буржуазных политиков и ученых в Париже еще в примитивном образе учений утопического социализма. Сен-Симон, Фурье, Кабе имели каждый много аноستолов и учеников. Гейне живо интересовался

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, изд. второе, т. 1, стр. 479.

социалистическими и коммунистическими кружками и сектами. Он с симпатией писал в 1843 году о популярном в рабочих кругах поведеннике утопического социализма П. Леру. Париж рабочих предместий бурлил страстными спорами о наилучшем устройстве будущего справедливого общества.

Энгельс писал об этих кружках: «Среди них наиболее значительными были «Travailleurs égaux», или работники-эгалитарии и «гуманитарии»... Они хотели превратить мир в общину рабочих, уничтожив всякую утонченность цивилизации, науку, изящные искусства и т. п., как бесполезную, опасную и аристократическую роскошь».¹

Эти пламенные сторонники уравнительного, мелкобуржуазного социализма и привлекали к себе Гейне своей ненавистью к буржуазии и пугали своим отрицанием искусства, поэзии, музыки — всего, что было так дорого певцу новой романтики. Важно то, что Гейне чувствовал в этих честных, преданных революции рабочих грядущую историческую силу. Он присматривался и прислушивался к новым для него явлениям и идеям.

Буржуазный радикализм Берне обнаруживал свою историческую ограниченность. Узкокружковый вождь требовал от немецких демократов, находившихся в изгнании, дисциплины, верности буржуазно-республиканскому знамени. Ему подчинялись. Но Гейне вышел из повиновения. Как сатирический поэт, он ясно чувствовал затхлый воздух кружка. Он был художником, поэтом, увлекающимся мечтателем, романтиком революции. Берне и его эмигрантская свита казались ему теперь уж не только отсталыми, но и смешными людьми. Он не мог по самой своей натуре подчиняться догматическим формулам буржуазного радикализма, застывшей доктрине, провозгласившей буржуазную республику высшим капоном революции. Немецкая демократическая партия превращалась в секту, в церковь, а духу Гейне были противны все церкви.

Гейне ищет выхода и не находит. Отсюда его колебания и шатания. Он позволяет себе критическое отношение к идее буржуазной республики, — его обвиняют в кокетничании с монархией. Его отталкивает примитивность и политическая вульгарность немецких ремесленников, — его обвиняют в эстетстве и снобизме. И Гейне не раз дает повод к этим обвинениям своими сатирическими выпадами. В поэме «Атта Тролль» Гейне зло высмеивает мелкобуржуазных радикалов и уравнителей.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, изд. второе, т. 1, стр. 530.

Разрыв становится неизбежным. Берне бросает своему недавнему другу жестокое обвинение в беспринципности, в изменчивости, переходящей в измену. Поэту угрожает политическая изоляция в революционных кругах. Он отвечает колкими насмешками над ограниченностью своих противников.

Апогея достигает эта борьба внутри немецкой демократии после смерти Берне, когда в книге, посвященной его памяти («Людвиг Берне», 1840), Гейне как бы подводит итог их многолетним отношениям. Эта книга — меткая характеристика немецкого буржуазного радикализма, вырождающегося в мелкий либерализм. Гейне выступает как революционный демократ, идущий вперед от тех позиций, которые были прогрессивными перед 1830 годом и которые теперь устарели пред лицом новых исторических задач.

Книга написана в свойственной Гейне манере. Это история немецкой прогрессивной мысли, живая, яркая, остроумная, перемежающаяся с личными воспоминаниями, с лирическими отступлениями, книга-беседа, то с данью уважения к бывшему единомышленнику и другу, то с полемическими выпадами против него.

Многие пользовались ошибками Гейне в полемике, чтобы скомпрометировать его как политического писателя и поэта, отомстить за уничтожающую критику либеральной ограниченности тех сторонников Берне, которые вскоре переключались в стан немецкой реакции.

События не замедлили показать, что кризис в жизни Гейне был кризисом роста. Гейне ушел от буржуазного демократизма по пути, на котором предстояла его встреча с Марксом и Энгельсом. Дружба с ними оказала неоценимую моральную поддержку преследуемому поэту.

Встреча состоялась в Париже в конце 1843 года. Марксу было двадцать пять лет, но он уже завоевал известность как редактор прогрессивной «Рейнской газеты». Это были знаменательные годы, когда в критической философской работе закладывались основы научного коммунизма. Маркс высоко ценил революционного поэта-лирика. Он распознал в Гейне титана литературы и критически отнесся к нападкам на Гейне, правильно оценив их политическую подоплеку. Со своей стороны уже далеко не молодой поэт, прославленный в Европе, привыкший свысока трактовать своих литературных современников, отнесся к молодому публицисту с глубоким уважением — как к представителю нового поколения, которому принадлежит будущее, как к руководителю, внушающему великое доверие.

Маркс и Энгельс видели колебания и слабости поэта, но они отнесли к Гейне как к великому поэту революции, понимая, что в стихии художественных образов поэт чувствует себя свободнее, чем в области теоретических формул и положений. При всех своих колебаниях и ошибках Гейне стоял головой выше своих либеральных современников. Он был искренне предан революции. Его сочувствие было с трудящимися, с пролетариями. Он ненавидел буржуазию. Он предвидел торжество пролетариата, верил в победу социалистической революции и готов был отдать в жертву самые заветные свои ценности, свои святыни — поэзию, живопись, скульптуру, музыку. Нельзя поставить в вину Гейне то, что он о коммунистах судил по «гуманитариям», по «уравнителям», — иных ведь пока и не было. Научный коммунизм находился еще в пеленках. Гейне не знал и не понимал, что варварами на деле окажутся «просвещенные» буржуа, а верными наследниками мирового искусства, хранителями лучших традиций и памятников культуры будут вдохновленные высоким идеалом коммунизма простые рабочие.

Гейне охотно отдает свои произведения в журналы, редактируемые Марксом, Энгельсом и их сторонниками. В «Немецко-французском ежегоднике», в парижском «Форвертсе» появляются такие стихотворения и поэмы Гейне, как «Силезские ткачи», «Хвалебные песнопения королю Людвигу», наконец, знаменитая «Германия» — вершина сатирического творчества Гейне. По своему социальному звучанию, по своей художественной силе эти произведения знаменуют новый этап в творчестве Гейне. Его сближение с руководителями научного коммунизма не случайно. Показательна строфа в «Силезских ткачах»:

Угрюмые взоры слезой не заблещут!
Сидят у станков и зубами скрежещут:
«Германия, саваа тебе мы ткем,
Вовеки проклятье тройное на нем!
Мы ткем тебе саваа».

Гейне готовился к новой революции. А революция нарастала. Ближился 1848 год. Он уже давал себя знать бурным движением во Франции, банкетами оппозиционной буржуазии, глухими волнениями рабочих, смелостью прогрессивных газет и нерешительностью правительств. Гейне ждал революции как праздника. Он был рожден для революционных бурь... Но уже в 1845 году он тяжело заболел. В мае 1848 года он последний раз вышел из дому. Его разбил паралич. И когда вышел на улицы весь революционный Париж, великий поэт революции неподвижно лежал в четырех стенах своей квартиры.

Веселый шум революционного Парижа врывается в окна. К Гейне приходили друзья, к нему доходили радостные вести из Германии. Он был тяжело болен, но не был одинок.

Однако радостные дни революционного торжества были непродолжительны. Мы знаем, с каким ужасом, с каким отчаянием слушал, прижавшись лицом к окну, другой великий эмигрант-революционер, А. И. Герцен, отдаленные залпы: генерал Кавеньяк расстреливал парижских рабочих. Эти залпы слушала вся притихшая столица. Слышал их и Гейне в своей «матрацной могиле». Потом стали приходять известия, — одно горше другого. Реакция охватывала всю Европу. Буржуазия была ненасытна в кровавой расправе с пролетариатом. Волна эмиграции покатилась из Франции, из Германии в Лондон, в Америку... В тяжелом одиночестве лежал прикованный к постели больной поэт.

Кто хочет представить себе со всей полнотой послереволюционную атмосферу, пусть перечитает соответствующую главу «Былого и дум». Отчаяние и пессимизм охватили неустойчивую часть революционного лагеря. Парижские рабочие замкнулись в своих кварталах, глубоко разочарованные в буржуазно-демократической революции, исполненные ненависти к политическим партиям. Пессимизм рождал отступников и предателей. Ренегатство стало эпидемией. Вчерашние революционеры перебежали в лагерь правительств и реакции. Если Герцен не поддавался всеобщему унынию, то лишь потому, что видел спасение для социализма в русской крестьянской общине.

Не потеряли голову лишь немногие, и прежде всего те, кто успел усвоить историко-философские и экономические основы учения Маркса и Энгельса. Для них поражение пролетариата в революции 1848 года было историческим залогом его грядущей победы в пролетарских революциях. В поражении пролетариат утратил свои буржуазно-демократические иллюзии, но приобрел ценнейший опыт для борьбы за свою власть, за коммунизм.

Поражение революции было суровой проверкой для революционных бойцов. Оно сломало многих, кто обвинял Гейне в непостоянстве, в отступничестве, кто видел в нем прежде всего эстета, живущего своими капризами и настроениями. Эти бывшие революционеры оказались теперь в торжествующем лагере реакции.

Поражение революции не сломило Гейне. Он с честью выдержал испытание и остался почти одиноким на посту, когда другие бежали. Его голос не дрогнул. Его стихи и проза были попрежнему

проникнуты боевым духом. Его сатира стала еще более горькой и острой.

Врачи приговорили его к медленной смерти. Он знал, что положение его безнадежно. Болезнь спинного мозга постепенно и неумолимо охватывала его тело, сковала руки, поразила глаза, подбиралась к мозгу. Он лежал полуослепший, неподвижный, испытывал мучительные боли... Но он не переставал творить.

Он попрежнему внушал страх своим врагам. Его и теперь преследовали клеветой и оскорбительной бранью. Поднята была невероятная шумиха, когда в списках секретных пенсий, которые правительство Луи-Филиппа выдавало некоторым эмигрантам, было обнаружено имя Гейне. Насквозь продажные писаки обвиняли в отсутствии политической независимости поэта, вся деятельность которого от первой до последней строки была направлена на революционную борьбу за независимость народов от тирании дворянской и банковской аристократии. Гейне отвечал на нападки с уничтожающим остроумием, с гневной страстью.

Он писал о себе:

Как часовой, на рубеже свободы
Лицом к врагу стоял я тридцать лет.
Не знал, вернусь ли под родные своды,
Не ждал ни славы громкой, ни побед.
.....
Ружье в руке, всегда на страже убо,
Кто б ни был враг — ему один конец,
Вонзал я многим в мерзостное брюхо
Мой раскаленный, мстительный свинец.
.....
Свободен пост! Мое слабеет тело...
Один упал, другой сменил бойца!
Но не сдаюсь, еще оружие цело,
И только жизнь исеякла до конца.

Да, он не сдавался. Никто не услышит ноток усталости или упадка в произведениях последнего периода его творчества. Все так же сильна в нем жажда жизни и борьбы, все так же страстен его гнев против всего, что угнетает людей труда и чести, все так же разит его сатира. Можно сказать, что еще большую определенность приобретают его политические стихи, еще более отчетливы ноты социального протеста. Такие стихи, как «Золотой телец» или «Невольничий корабль», — это произведения поэтической музыки, близкой и родственной коммунизму.

С особой яростью поэт преследует либералов. Его стихотворения «Кобес I», «Ослы-избиратели» высмеивают цемских про-

грессистов, устроивших комедию вокруг бессильного ффранк-фуртского парламента. Эти стихи прямо перекликаются со статьями Маркса и Энгельса в «Новой рейнской газете», полными острого сарказма. Дружба Гейне с Марксом и Энгельсом не прошла для поэта бесследно: он не стал коммунистом, напвнные опасения, которые вызывала у него социалистическая революция, не прошли, но на этом этапе своей жизни и деятельности он шел в ногу с великими учителями пролетариата. По сути дела, он и теперь принадлежал к боевому содружеству «Новой рейнской газетъ».

Юмор не покидал его даже во время сильнейших страданий. В стихотворении «Miserere» он писал:

Прости, но твоя нелогичность, господь,
Приводит в изумленье:
Ты создал поэта-весельчака —
И портишь ему настроенье.

От боли веселый мой прав зачах,
Ведь я уже меланхолик.
Кончай эти шутки, не то из меня
Получится католик!

Тогда я вой подниму до небес
По обычаю добрых папистов.
Не допусти, чтоб так погиб
Умнейший из юмористов.

Это была шуточная угроза, но она объясняет то, что произошло незадолго до смерти Гейне, который еще раз доставил случай своим врагам поднять шум вокруг его имени. Гейне заявил о своем «примирении» с богом.

Это была сенсация. Гейне сам написал в послесловии к циклу стихов «Романсеро»: «Да, я пошел на мировую с создателем... Да, я возвратился к богу, подобно блудному сыну, после того как долгое время пас свиней у гегельянцев».

Надо признать, что церковные круги не проявили ни радости по поводу «возвращения» Гейне, ни доверия к его заявлению. И они не ошибались. Он не скрывал своих атеистических убеждений. Материальные обстоятельства и желание узаконить свои семейные отношения с любимой женщиной заставили поэта заявить о своем возвращении к деизму. Но он ни в малейшей мере не походил на блудного евангельского сына, который со смиренным и покаянием вернулся в родное лоно.

Он остался атеистом и революционером по всему складу своей натуры. Об этом слишком выразительно говорили его последние произведения. Он продолжал в этих произведениях издеваться над религией и церковью. Поэт оставался до конца верен разуму и свободе мысли. Он жил как рыцарь духа и умер как рыцарь революции.

Поэту Гервегу Гейне писал в 1851 году:

«Я умираю как поэт, который не нуждается ни в религии, ни в философии и у которого нет ничего общего с ними».

Гейне умер 17 февраля 1856 года. Он остался верен своему завету. Он писал в свое время: «Я никогда не придавал большой цены славе поэта... Но я желаю, чтобы на гроб мой положили меч, потому что я был храбрым солдатом в войне за благо человечества».

Гейне не искал славы, но слава о нем прошла по всему миру. За его гробом следовали лишь немногие близкие ему люди. Но его произведения стали известны всюду, где жила любовь к свободе. Они переводились на разные языки, — всего больше в России, где он стал самым любимым из всех европейских поэтов.

VI

М. Е. Салтыков-Щедрин называл Гейне «сочувственнейшим» себе из всех иностранных поэтов. «Я еще маленький был, — вспоминал он, — как надрывался от злости и умиленья, читая его».

«Сочувственнейшим» был Гейне и для всей передовой русской литературы. Его переводили почти все наши выдающиеся поэты, начиная с Лермонтова. Он оказал влияние на многих русских писателей. Герцен говорит об одном из ранних своих произведений — о «Записках одного молодого человека»: «На них остался очевидный для меня след Гейне, которого я с увлечением читал в Вятке...»¹

Гейне был сродни русской прогрессивной литературе с ее страстным протестом против крепостничества, глубоким демократизмом, сатирическим обличением реакции. Белинский указывал на огромное значение Гейне для германского народа. Он писал: «Надо видеть поэта с огромным дарованием, уже не болтуна-француза, но истинного немецкого художника, которого лирические стихотворе-

¹ А. И. Герцен. «Былое и думы», Полное собрание сочинений и писем под ред. М. Лемке, т. XII, стр. 7.

ния отличаются непередаваемой простотой содержания и прелестью художественной формы». ¹

Правильное понимание поэзии Гейне пришло, впрочем, не сразу. По условиям цензуры революционные произведения Гейне не доходили до русского читателя или были менее известны. Это создавало неправильное, одностороннее представление о немецком поэте.

Белинский писал в 1841 году своему другу В. П. Боткину: «Насчет Гейне остаюсь при своем мнении. То, что ты называешь в нем отсутствием всяческих убеждений, в нем есть только отсутствие системы мнений, которой он, как поэт, создать не может... и не может и не хочет, по немецкому обычаю, натягивать на систему... Он ругает и позорит Германию, но любит ее истиннее и сильнее всевозможных гофратов и мыслителей...» ²

Некрасов и Добролюбов высоко ценили поэзию Гейне, переводили его, систематически печатали в «Современнике». Лучшим из дореволюционных переводчиков Гейне был поэт-революционер М. Михайлов, участник «Современника». Гейне стал очень известен в России. Его переводили, ему подражали и многие поэты из лагеря «чистого искусства», плененные его лирикой. Но при этом они придавали Гейне несвойственный ему тон сентиментальности и слезливости. Это извращение поэтического и идейного облика Гейне ядовито высмеял Козьма Прутков.

Гейне стал одним из любимейших поэтов и для советских людей. Его понимают теперь глубже и переводят всё лучше и лучше. Сатирическая поэзия великого немецкого писателя родственна сатирическому творчеству великого советского поэта Маяковского.

* * *

Гейне давно стал великим классиком германской литературы в глазах людей, живущих во всех культурных странах мира. Реакционные классы императорской Германии отказывались признать в Гейне не только великого поэта, но даже вообще немецкого поэта. Это было свидетельством огромной силы сатирического размаха гейневской поэзии. Трудящиеся Германии, лучшие сыны немецкого народа отпосились и относятся к Гейне как к любимому,

¹ В. Г. Белинский. Собрание сочинений под ред. С. А. Венгерова, т. III, стр. 445.

² В. Г. Белинский. Письма, СПб., 1914, т. III, стр. 207.

как к лучшему своему поэту. Они любят и лирические его стихи, отразившие душу простого немецкого люда, и его боевые политические произведения, призывающие к революционной борьбе за торжество демократии в Германии и за ее демократическое единство.

Разгром фашизма знаменует возрождение поэзии Гейне в Германии. Поэт занимает принадлежащее ему место как классик немецкой литературы. С ним знакомятся новые поколения германского народа. Он любимейший поэт молодежи.

По решению Всемирного Совета Мира столетие со дня смерти великого немецкого поэта отмечается как большой праздник мировой культуры всем прогрессивным человечеством.

Д. Заславский

КНИГА ПЕСЕН



ПРЕДИСЛОВИЕ
К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ

Я в старом сказочном лесу!
Как пахнет липовым цветом!
Чарует месяц душу мне
Каким-то странным светом.

Иду, иду, — и с вышины
Ко мне несется пенье.
То соловей поет любовь,
Поет любви мученье.

Любовь, мучение любви,
В той песне смех и слезы,
И радость печальна, и скорбь светла,
Проснулись забытые грезы.

Иду, иду, — широкий луг
Открылся предо мною,
И замок высится на нем
Огромною стеною.

Закрты окна, и везде
Могильное молчанье;
Так тихо, будто вселилась смерть
В заброшенное зданье.

И у ворот разлегся Сфинкс,
Смесь вожделенья и гнева,

И тело и лапы как у льва,
Лицом и грудью — дева.

Прекрасный образ! Пламенел
Безумьем взор бесцветный;
Манил извив застывших губ
Улыбкой едва заметной.

Пел соловей — и у меня
К борьбе не стало силы,
И я безвозвратно погиб в тот миг,
Целуя образ милый.

Холодный мрамор стал живым,
Проникся стоном камень, —
Он с жадной алчностью впивал
Мои лобзаний пламень.

Он чуть не выпил душу мне, —
Насытись до предела,
Меня он обнял, и когти льва
Вонзились в бедное тело.

Блаженная пытка и сладкая боль!
Та боль, как страсть, беспредельна!
Пока в поцелуях блаженствует рот,
Те когти изранят смертельно.

Пел соловей: «Прекрасный Сфинкс!
Любовь! О любовь! За что ты
Мешаешь с пыткой огневой
Всегда твои щедроты?»

О, разреши, прекрасный Сфинкс,
Мне тайну загадки этой!
Я думал много тысяч лет
И не нашел ответа».

Это все я мог бы очень хорошо рассказать хорошей
прозой... Но когда перечитываешь старые стихи, чтобы,
по случаю нового их издания, кое-что в них подправить,

тобою вдруг, подкравшись невзначай, снова завладевает звонкая привычка к рифме и ритму, и вот стихами начинаю я третье издание «Книги песен». О Феб-Аполлон! Если стихи эти дурны, ты ведь легко простишь меня... Ты же — всеведущий бог, и ты знаешь очень хорошо, почему вот уже столько лет ритм и созвучия слов не могут быть для меня главным занятием... Ты знаешь, почему пламя, когда-то сверкающим фейерверком тешившее мир, пришлось вдруг употребить для более серьезных пожаров... Ты знаешь, почему его безмолвное пылание ныне пожирает мое сердце... Ты понимаешь меня, великий, прекрасный бог, — ты, подобно мне, менявший подчас золотую лиру на тугой лук и смертоносные стрелы... Ты ведь не забыл еще Марсия, с которого живо содрал кожу? Это случилось уже давно, и опять явилась нужда в подобном примере... Ты улыбаешься, о мой вечный отец!

Писано в Париже,
20 февраля 1839.

Георих Гейне.



СТРАДАНИЯ ЮНОСТИ

СНОВИДЕНИЯ

1

Мне снился пыл неистовых измен,
И резеда, и локоны, и встречи,
И уст сладчайших горестные речи,
И сумрачных напевов томный плен.

Поблекли сны, развеялись виденья,
И образ твой, любимая, поблек!
Осталось то, что воплотить я мог,
Давно когда-то, в звуки песнопенья.

Осталась песнь! Лети же ей вослед,
Исчезнувшей давно, неуловимой,
Сыщи ее и передай любимой
И призрачной мой призрачный привет.

2

Я видел странный, страшный сон,
Меня томит и тешит он.
От этой пагубы ночной
С тех пор я будто сам не свой.

Мне снилось, что зеленый сад
Был полон неги и услад

И, тихой ласкою маня,
Цветы глядели на меня.

И птицы в этом странном сне
О нежной страсти пели мне,
И золотое солнце жгло,
И все так весело цвело.

Какой блаженный, дивный сад!
Струится легкий аромат,
И все сияет, все горит,
И все ласкает и манит.

Я вижу чистый водоем,
Вода из чаши бьет ключом,
И девушка вблизи нее
Полощет тонкое белье.

Тиха, как ангел, и стройна,
И волосы светлее льна.
И мнится — девушка моя
Мне и чужая, и своя.

Вода журчит, вода течет,
Девушка песенку поет:
«Ты, вода, струей играй,
Полотно мое стирай!»

И подойти я к ней хочу,
И подхожу, и ей шепчу:
«Скажи, девица, почему
Белье стираешь, и кому?»

И слышу я ответ такой:
«Так знай же, это саван твой».
И призрак вдруг исчез, и с ним
Исчезло все, как белый дым.

И снова я в стране чудес.
Передо мной дремучий лес.
Деревья к небу вознеслись.
И вот гляжу я молча ввысь.

И слышу вдруг неясный стук, —
Такой бывает слышен звук,
Когда топор вонзает в ствол, —
И я на этот стук пошел.

Там на прогалине один
Стоял зеленый исполин,
Могучий дуб. Гляжу кругом, —
И вдруг — девица с топором.

Она разок-другой взмахнет
И тихо песенку пост:
«Ты, железо, будь острее,
Ты руби, топор, быстрее!»

И подойти я к ней хочу,
И подхожу, и ей шепчу:
«Скажи мне, дева, наконец,
Кому ты мастеришь ларец?»

И слышу: «Правду говорю, —
Я нынче гроб твой мастерю».
И призрак тут исчез, и с ним
Исчезло все, как белый дым.

Угрюмый и холодный вид!
Равнина голая лежит,
Пред ней, не зная, что со мной,
Стою, как будто сам не свой.

Брожу вокруг, и вижу вдруг
Вдали неясный белый круг.
И что же? Вновь увидел я —
Стоит красавица моя!

С могильным заступом стоит,
Копает землю и молчит.
Она прекрасна и бледна,
Мне страшной кажется она.

И заступ свой она берет
И песню странную пост:
«Ты, лопата, широка,
Ты, могила, глубока!»

И подойти я к ней хочу,
И подхожу, и ей шепчу:
«Скажи мне, дева, почему
Попаешь яму, и кому?»

И слышу я ответ такой:
«Твоя могила пред тобой».
И сразу после этих слов
Передо мной раскрылся ров.

И ужас душу мне сковал,
И в эту яму я упал,
Могильный мрак меня настиг, —
Я вскрикнул — и проснулся вмиг.

3

Себе я сам предстал в виденье сонном:
Я был в нарядном шелковом камзоле.
На светский бал закинут поневоле,
Я милую узнал в кругу салонном.

«Так вы невеста? — молвил я с поклоном. —
Желаю вам успеха в новой роли».
Но сердце сжалось у меня до боли,
Хоть равнодушным говорил я тоном.

Внезапно слезы хлынули ручьями
Из милых глаз, опущенных в печали, —
Был нежный образ унесен слезами.

О звезды счастья, сладостные очи,
Я верю вам, хоть вы мне часто лгали
И наяву и в сонных грезах ночи!

4

Мне снился франтик — вылощен, наряжен,
Надменно шел, надменно он глядел,
Фрак надушен, жилет блестяще бел,
И что ж, — он сердцем черен был и смраден.

Он сердцем был ничтожен, мелок, жаден,
Хоть с виду благороден, даже смел,
Витийствовать о мужестве умел,
Но был в душе трусливейшей из гадин.

«Ты знаешь, кто он? — молвил демон сна. —
Взгляни, твоя судьба предрешена», —
И распахнул грядущего завесы.

Сиял алтарь, и ффрант повел туда
Любовь мою, они сказали: «Да!»
И с хохотом «аминь» взревели бесы.

5

Вся кровь взметнулася во мне,
И сердце в яростном огне!
Кипит неистовая кровь,
Пылает сердце вновь и вновь.

В крови кипенье, гул и звон.
Я нынче видел страшный сон:
Ко мне сошел властитель тьмы,
И с ним вдвоем умчались мы.

И вот сияет светом дом,
Внутри веселье, дым столбом,
И звуки арф, и шумный бал;
И я вступил в блестящий зал.

Я вижу свадебный обряд, —
Гостей теснится шумный ряд,
И я в невесте узнаю —
О горе! — милую мою!

Она, что так была светла,
Другому руку отдала;
Другой, другой — ее жених,
И я застыл, недвижим, тих.

Кругом веселье, блеск и шум,
Но я стою за ней, угрюм.
Невеста радостью цветет,
Жених ей руку нежно жмет.

Жених в бокал налил вина,
Пригубил, ей дает; она
С улыбкой пьет. Я слезы лью.
Ты пьешь — о горе! — кровь мою.

Невеста яблоко берет
И жениху передает.
Тот режет яблоко. О, дрожь!
В мое вонзил он сердце нож.

Пылают негой взоры их,
К себе привлек ее жених,
Целует, вижу я. Конец! —
Меня поцеловал мертвец!

Железом скован мой язык,
В исмом молчанье я поник.
И снова танцы, гул и звон,
И в первой паре с нею он.

Стою я, бледен, недвижим,
Она кружит, обнявшись с ним;
Жених ей что-то говорит,
Она краснеет, но молчит.

6

В глухую ночь, в блаженном сне,
Сошла любимая ко мне;
Волшебной силой, колдовской,
Ко мне явилась, в мой покой.

Она, прелестная, она!
Улыбка кроткая ясна;
Гляжу — и сердце рвется ввысь,
Слова потоком полились:

«Возьми что хочешь, не жалея,
Я все отдам, лишь будь моей,
Всю ночь мою, напролет, —
Пока петух не пропоет».

Она глядит с такой тоской,
Так кротко, с нежностью такой,
И тихий голос слышу я:
«Ценой блаженства — я твоя!»

«И жизнь цветущую и кровь
Отдам тебе, моя любовь,
Я все отдам, я все стерплю, —
Но нет — души не погублю».

Еще слова мои звучат,
Но все нежнее кроткий взгляд,
И тот же голос слышу я:
«Ценой блаженства — я твоя!»

Призывом страстным полон слух,
Зажегся пламенем мой дух
В последней, темной глубине;
Дышать так трудно, трудно мне.

Доныне реял, как оплот,
Рой светлых ангелов, но вот
Из преисподней дико взмыл
Клубок зловещих, темных сил.

И стало ангелам невмочь,
Их оттеснила злая почь;
И, наконец, печистых тьма
Во мгле рассеялась сама.

А я блаженством исхожу —
В объятьях милую держу;
Она ко мне пугливо льнет,
Но горько, горько слезы льет.

Рыдает милая моя;
Ее уста целую я:
«Потоки слез останови,
Отдайся пламенной любви!»

Отдайся пламенной любви...»
И вдруг — озноб в моей крови:
Под гул и треск покров земной
Разверзся — пропасть предо мной.

Из черной пропасти возник
Рой черных духов в тот же миг;
Сокрыл он милую мою;
Один, как прежде, я стою.

Стою, и черный рой ведет
Вокруг меня свой хоровод,
Все ближе, ближе, все тесней,
И громкий хохот все гнусней.

Вот-вот сомкнется узкий круг,
В ушах все тот же страшный звук:
«Блаженство ты отверг, презрел,
Проклятье — вечный твой удел».

7

Я выплатил выкуп, чего же ты ждешь?
Ты видишь, я весь — нетерпенье и дрожь.
Кровавый сообщник, меня не морочь:
Невесты все нет, а уж близится ночь.

От кладбища тихо летят ветерки, —
Невесту мою не встречали ль, дружки?
И вижу, как призраков бледных орда
Кивает в ответ, ухмыляется: «Да!»

Выкладывай, с чем ты пришел ко мне,
Ливрейный верзила, в дыму и огне?
«В драконьей запряжке мой господа
Прикатят — недолго их ждать — сюда».

Ты, маленький, низенький, в сером весь,
Мой мертвый магистр, зачем ты здесь?
Безмолвно ко мне обращает он взгляд,
Трясет головой и уходит назад.

Косматый мой пес, ты скулишь неспроста!
Как ярко сверкают зрачки у кота!
К чему это женщины подняли вой?
О чем это нянька поет надо мной?

Нет, нянюшка, песенкам прежним конец,
Я нынче, ты знаешь, иду под венец;
Баюкать меня теперь ни к чему, —
Смотри-ка, и гости — один к одному!

Друзья, как любезно, не ждал никогда б!
В руках у вас головы вместо шляп.
И вы, дрыгоножки, вы тоже пришли;
Что поздно сегодня сорвались с петли?

А вот на метле и старушка карга.
Благослови же родного сынка!
И ведьма, трясясь, выступает вперед;
«Аминь!» — произносит морщинистый рот.

Идут музыканты — к скелету скелет,
Слепая скрипачка пиликает вслед;
Явился паяц, размалеванный в прах,
С могильщиком на худых плечах.

Двенадцать монахинь ведут хоровод,
И сводня косая им тон задает,
Двенадцать попов похотливых свистят
И гнусность поют на церковный лад.

Старьевщик, и ты надрываешься зря,
На что в преисподней мне шуба твоя!
Там есть чем топить до скончанья веков, —
Останками смертных — царей, бедняков.

Несносен горбатых цветочниц вой —
Знай по полу носятся вниз головой.
Вы, рожи совиные, — без затей!
Оставьте! К чему этот хруст костей!

Поистине с цепи сорвался ад.
Их больше и больше, визжат и гудят, —
Вот вальс преисподней!.. Потише вы, зй!
Сейчас я увижусь с подругой моей.

Потише вы, сброд, или попросту прочь!
Себя самого мне расслышать невмочь.
Как будто подъехали к дому теперь?
Хозяюшка, где ты! Открой им дверь!

Привет, дорогая! О, что за честь!
И пастор тут! Не угодно ли сесть?
Хоть вы с лошадиным копытом, с хвостом,
Отец преподобный, я ваш деликом!

Любимая, что ты бледна как мертвец?
Нас пастор сейчас поведет под венец;
Я кровью ему заплатил, это так,
Но плата, в сравненье с тобою, пустяк.

Колени склони, дорогая, со мной!
Она на коленях, — о, миг неземной! —
Прижалась ко мне — там, где сердце мое,
И в диком порыве я обнял ее.

Я волнами локонов нежно обвит,
И сердце у сердца любимой стучит.
Стучат от блаженства и боли сердца
И к небу стремятся, к престолу творца.

Восторгом сердца беспредельным зажглись
И рвутся туда, где священная высь;
Но здесь, на земле, торжествует зло, —
Нам ад возложил свою длань на чело.

Гнетущего мрака угрюмый сын
Свершает над нами венчания чин;
Кровавую книгу он держит в руках,
В молитве — кощунство, проклятье — в словах.

И вой, и шипенье, и свист кругом,
Как грохот прибоя, как дальний гром..
Тут вспыхнули огонь, ослепительно синь,
И шамкает старая ведьма: «Аминь!»

Бежал я от жестокой прочь,
 Бежал, как безумный, в ужасную ночь,
 И старый погост миновать я спешил,
 Но что-то манило, сверкало с могил.

Блеснуло в безжизненных лунных лучах
 С могилы, где спит музыканта прах,
 Шепнуло мне: «Братец, минуту постой!» —
 И вдруг поднялось, как туман седой.

То бедный скрипач, я его узнаю,
 Он вышел и сел на могилу свою,
 По струнам ударил иссохшей рукой,
 И в лад зазвучал его голос глухой.

«Пой, скрипка, песню прошлых дней,
 В тоске внимало сердце ей
 И обливалось кровью.
 Зовет ее ангел блаженством небес,
 Мученьем адским зовет ее бес,
 Зовут ее люди любовью».

Лишь замер последнего слова звук,
 Разверзлись все могилы вдруг,
 И тени спешат к музыканту толпой,
 И грянул пред ним хоровод гробовой.

«О любовь, ты колдовством
 Загнала нас в темный дом,
 Усыпила мертвым сном, —
 Эй, на зов твой мы встаем!»

И все это, воя, воркуя, ворча,
 Летает и пляшет вокруг скрипача,
 И с хохотом диким сплетается плач,
 И бешено дернул по струнам скрипач.

«Браво, браво, тени, в пляс!
 Друг за другом
 Буйным кругом!

Клич волшебный поднял вас.
Мы таились много дней,
Будто мышь в норе своей,
Ну-ка, спляшем веселей,
Запоём!
Нет ли здесь чужих ушей?
Встарь немало мы глупили,
Дни в безумии губили,
Жгли сердца в огне страстей.
Нынче каждый пусть расскажет,
Как струсилась над ним беда,
Как мечтал он,
Как страдал он,
Почему попал сюда».

И тощий мертвец выступает из мглы,
И голос его — как жужжанье пчелы.

«Служил я подмастерьем
С аршином да с иглой.
Раз-два аршином мерил,
Проворно шил иглой.
Зашла к нам ненароком
Дочь мастера с иглой,
Мне сердце черным оком
Пронзила, как иглой».

Хочет в ответ мертвецов хоровод,
Угрюмо второй выступает вперед.

«Шиндерганно, Орландини,
Карл Моор и Ринальдони, —
Вот кого я обожал,
Вот кому я подражал.

Я в самой любви, не скрою,
Верно следовал герою,
Распалял мои мечты
Образ девы-красоты.

Я любил, томясь и плача,
Но как только неудача —
Я с разбитою душой
Залезал в карман чужой.

И грозить мне стали власти.
Как тут быть в такой напасти?
Чтоб смахнуть слезу тоски,
Воровать я стал платки.

И тогда меня схватили
И, как водится, скрутили,
И тюрьма, святая мать,
Стала сына врачевать.

Я и там, склоняясь над пряжей,
О любви мечтал, под стражей,
Тут Ринальдо тень пришла,
Грешный дух мой унесла».

Хочет в ответ мертвецов хоровод,
И третий, под гримом, выходит вперед.

«Любовников первых играя,
Подмостков я слыл королем.
Я пежно вздыхал: дорогая!
Пылал трагедийным огнем.

Мортимер я был превосходный,
Я страстно Марию любил!
Но дева осталась холодной —
Ей был непонятен мой пыл.

И раз я, не выдержав боли,
«Мария, святая!» — вскричал
И глубже, чем нужно для роли,
Вонзил в свое сердце кинжал».

Хочет в ответ мертвецов хоровод,
Четвертый, в кафтане, выходит вперед.

«Профессор нам с кафедры пес ахинею,
Болтал он — и спал я у всех на виду.
Мне было в тысячу раз веселее
С профессорской дочкой гулять в саду.

Она мне в окно улыбалась беспечно,
Лилия лилий, мой ангел земной.
Но лилию лилий сорвал бессердечно
Черствый филистер с набитой мошной.

Послал я проклятье богатым нахалам,
Я женщин проклинал, откупорил яд,
Со смертью «на ты» перешел за бокалом,
И смерть сказала: «Fiducit, мой брат!»

Хочет в ответ мертвецов хоровод,
И пятый, с веревкой на шее, идет.

«Хвалился и чванился граф за вином:
Красива, мол, песня, богат его дом.
Эй, граф, мне не нужен богатый твой дом,
Нужна только дочка мне в доме твоём.

Хранил их обоих засов да затвор,
Несли сторожа и собаки дозор.
Но что мне дозор, и засов, и затвор, —
Я лестницу взял и спустился во двор.

Я лезу в окошко к моей дорогой,
Вдруг слышу проклятья и брань за спиной:
«Эй, парень, что ищешь ты в графском дому?
Нужны драгоценности мне самому!»

И с хохотом граф меня за ногу хватъ.
Сбегается челядь — куда мне бежать?
Злодеи, не вор я, подите вы прочь,
Украсть я хотел только графскую дочь!

Напрасно я рвался, напрасен был крик,
Веревку они приготовили вмиг.
И солнце взошло и дивилось три дня,
Как ветер шатает и кружит меня».

Хочет в ответ мертвецов хоровод,
Шестой, с головою в руке, предстает.

«Любовь мне сердце жгла огнем.
Пошел я в лес бродить с ружьем.
Кружился ворон надо мной
И каркал: «Голову долой!»

«Голубку подстрелю в лесу,
Моей возлюбленной снесу»,
Так думал я, и все шагал,
И дичь в лесу подстерегал.

Кто там воркует? Голубок?
Иль сразу двух я подстерег?
Взведен курок, подкрался я.
Гляжу — она! Любовь моя!

Моя голубка, с ней — другой.
Он тонкий стан обвил рукой.
Не промахнись теперь, стрелок!
Пиф-паф, — подстрелен голубок!

И вынес приговор мне суд,
На плаху молодца ведут.
И ворон хрипло надо мной
Прокаркал: «Голову долой!»

Хочет в ответ мертвецов хоровод,
И сам музыкант выступает вперед.

«Мне песенка встарь полюбилась,
Я пел для моей дорогой.
Но если сердце разбилось,
И песням пора на покой».

И призраки с хохотом ринулись в пляс,
И небо неистовый хохот потряс.
Но пробило час на церковных часах,
И призраки с воем исчезли в гробах.

9

Забылись муки в тишине,
В оковах легких сна;
И вот она явилась мне,
Прекрасна и бледна.

Глядит так дивно и светло,
В ресницах жемчуг слез;
Как мрамор холодно чело
Под прядями волос.

Она сошла ко мне во тьму,
Как мрамор холодна,
И никнет к сердцу моему,
Как мрамор холодна.

Готов я страстью изойти,
И боль мне душу жжет,
Но сердце у нее в груди
Холодное как лед.

«Не бьется сердце здесь, в груди,
В нем холод ледяной;
Но знай, и мне дано цвести,
Цвести в любви земной.

Устам румянца не вернуть,
Застыла в сердце кровь,
Но ты тоску свою забудь,
Во мне — одна любовь».

И крепко-крепко обняла —
От боли замер дух —
И в ночь туманную ушла,
Едва пропел петух.

10

Вот вызвал я силою слова
Бесплотных призраков рать:
Во мглу забвенья бывшего
Уж им не вернуться опять.

Заклятья волшебного строки
Забыл я, охвачен тоской,
И духи во мрак свой глубокий
Влекут меня за собой.

Прочь, темные силы, не надо!
Оставьте, духи, меня!
Земная мила мне услада
В сиянье алого дня.

Ищу неизменно, всегда я
Прелестного цветка;
На что мне и жизнь молодая,
Когда любовь далека?

Найти забвенья в желанье,
Прижать ее к пылкой груди!
Хоть раз, в едином лобзанье
Блаженную боль обрести!

Пусть только подаст устами
Любви и нежности знак —
И тут же готов я за вами
Последовать, духи, во мрак.

И, тайный страх навевая,
Кивает толпа теней.
Ну вот, я пришел, дорогая, —
Ты любишь? Скажи скорей!

ПЕСНИ

1

Утром я встаю, гадаю:
Можно ль нынче ждать?
Вечером томлюсь, вздыхаю:
Не пришла опять!

Сна не шлет душе усталой
Долгой ночи тень;
Греза, полусонный, вялый,
Я брожу весь день.

2

Покоя нет и нигде не найти!
Час-другой — и увижусь я с нею,
С той, что прекраснее всех и нежнее;
Что ж ты колотишься, сердце, в груди?

Ох, уж часы, ленивый народ!
Тащатся еле-еле,
Тяжко зевая, к цели, —
Ну же, ленивый народ!

Гонка, и спешка, и жар в крови!
Видно, любовь ненавистна Орам:
Тайно глумясь, мечтают измором
Взять коварно твердыню любви.

3

Я брел дорогой лесною,
 Один с печалью своей,
 Овеян былою тоскою,
 Мечтами прежних дней.

Кто вас обучает пенью?
 О птички, не надо петь, —
 К чему мне былые мученья,
 Былую боль терпеть?

«Мы помним о девушке милой,
 Что песенку пела нам,
 Нас, птичек, она научила
 Золотым, чудесным словам».

Лукавые птички, молчите, —
 Что нужно вам, в толк не возьму.
 Отнять мою грусть хотите?
 Ее не отдам никому.

4

Положи мне руку на сердце, друг,
 Ты слышишь в комнатке громкий стук?
 Там мастер хитрый и злой сидит
 И день и ночь мой гроб мастерит.

Стучит и колотит всю ночь напролет,
 Давно этот стук мне уснуть не дает.
 Ах, мастер, скорей, скорей бы уснуть, —
 Я так устал, пора отдохнуть.

5

Колыбель моей печали,
 Склеп моих спокойных снов —
 Город грез, в чужие дали
 Ухожу я, — будь здоров!

Ах, прощай, прощай, священный
Дом ее, дверей порог
И заветный, незабвенный
Первой встречи уголок!

Если б нас, о дорогая,
Не свела судьба тогда, —
Тихо жил бы я, не зная
Мук сердечных никогда!

Это сердце не дерзало
О любви тебе шептать:
Только там, где ты дышала,
Там хотелось мне дышать.

Но меня нежданно гонит
Строгий, горький твой упрек!
Сердце раненое стонет,
Ум смятенный изнемог.

И, усталый и унылый,
Я, как странник, вдаль иду
Без надежд, — пока могилы
На чужбине не найду.

6

Ты помедли, корабельщик,
Не спеши в простор морей!
Дай с Европой мне проститься
И с возлюбленной моей.

Хлынь же, хлынь, поток кровавый
Слез, которых не унять,
Я хочу свои обиды
Алой кровью записать.

Что же, милая, сегодня
Ты на кровь глядишь с тоской, —
Кровью сердца обливаюсь
Я давно перед тобой.

Помнишь старое преданье
Про Адама и змею, —
Адским яблоком загублен
Прародитель наш в раю.

Да, от яблок все несчастья:
Ева в мир приносит смерть,
А Эрида — в Трою пламя,
Ты же — пламя мне и смерть.

7

Гор и замков вереницы
Отразились в глади вод;
Мой кораблик резво мчится,
Рейн сверкает, даль зовет.

Блещут искры золотые,
И слежу я за волной;
Чувства прежние, бывшие
Вновь проснулись, вновь со мной.

Нежной лаской и приветом
Ободряет дивный вид;
Но поток, что дышит светом,
Гибель темную таит.

Сверху гладь, но гибель в лоне, —
Ты, поток, ее портрет,
Где в приветливом поклоне
Та же нежность, тот же свет.

8

По началу мне казался
Нестерпимым этот мрак;
Все ж я вытерпел, не сдался,
Но не спрашивайте, как.

О, пусть бы розы и кипарис
Над книгою этой нежно сплелись,
Шнуром увитые золотым, —
Чтоб стать ей гробницею песням моим.

Когда б и любовь схоронить я мог,
Чтоб цвел на могиле покоя цветок!
Но нет, не раскрыться ему, не цвести,
И мне самому в могилу сойти.

Так вот они, песни, что к небу, ввысь,
Как лава из Этны, когда-то неслись
И, вызваны к свету глубинным огнем,
Искры пожара роняли кругом!

Теперь они смолкли, жизни в них нет,
И холоден их безмолвный привет.
Но прежний огонь оживит их вновь,
Едва их дыханьем коснется любовь.

И чайнѐм смутным полнится грудь:
Любовь их согреет когда-нибудь.
И книга песен в чужом краю
Разыщет милую мою.

И чары колдовства спадут,
И бледные буквы опять оживут,
В глаза тебе глянут со скорбной мольбой
И станут любовно шептаться с тобой.

РОМАНСЫ

1

УНЫЛЫЙ

Этот мальчик, бледный с вида,
Больно трогает сердца,
Скорбь и тяжкая обида
Помрачили свет лица.

Ветерок к нему стремится —
Лоб горячий освежить;
Даже гордая девица
Хочет лаской подарить.

Он покинул город душный,
Чтоб в лесу найти приют,
Где листва шумит радушно,
Птицы весело поют.

Но конец приходит хорам,
Шелест радостный исчез,
Лишь унылый с грустным взором
Потихоньку входит в лес.

2

ГОРНЫЙ ГОЛОС

В долине всадник, между гор;
Конь замедляет шаг.

«Ах, ждет ли меня любовь моя
Или тяжкий могильный мрак?»
Ответил голос так:
«Могильный мрак!»

И всадник едет вперед, вперед
И говорит с тоской:
«Мне рано судьба судила смерть,
Ну что же, в земле — покой».
И голос за горой:
«В земле — покой!»

Слеза бежит по его лицу,
И на сердце грусть, тоска:
«Что ж, если в земле лишь найду покой,
То, значит, земля легка».
В ответ издалека:
«Земля легка!»

3

ДВА БРАТА

На вершине каменистой
Замок, в сумрак погружен,
А в долине блещут искры,
Светлой стали слышен звон.

Это братьев кровных злоба
Грудь о грудь свела в ночи;
Почему же бьются оба,
Обнажив свои мечи?

То Лаура страстью взора
Разожгла пожар в крови.
Оба знатные синьора
Полны пламенной любви.

Но кому из них обоих
Суждено ее привлечь?
Примирит кровавый бой их,
Разрешит их распрю меч.

Оба бьются, дики, яры,
Искры блещут, сталь звенит.
Берегитесь! Злые чары
Мгла полночная таит!

Горе вам, кровавым братьям!
Горе! Горе! Кровь ключом!
Оба падают с проклятьем,
Пораженные мечом.

Век за веком поколения
Исчезают в бездне мглы;
Старый замок в запустенье
Смотрит сверху, со скалы.

Но в долине, под горою,
Неспокойно, говорят:
Там полночную порою
Насмерть с братом бьется брат.

4

БЕДНЫЙ ПЕТЕР

I

Ганс и Грета в танце идут,
Веселье кругом закипело.
А бедный Петер тоже тут,
И он — белее мела.

Ганс и Грета — с невестой жених,
И в свадебном блещут наряде.
Кусая ногти, Петер притих,
В отрешьях стоит он сзади.

И молвит тихонько про себя,
На пару глядя с тоскою:
«Не будь таким рассудительным я,
Сыграл бы шутку с собою!

II

В своей груди я боль держу,
И грудь от боли стонет.

Где ни стою я, где ни сажу,
Она все с места гонит.

И гонит меня к любимой моей,
Как будто спасенье в Грете,
Но лишь взгляну в глаза я ей —
Места покину эти.

Взойду я на вершину гор
Один, зарю встречая.
И слезы мне туманят взор
И горько я рыдаю».

III

И Петер ослабел вконец,
Он робок, бледен как мертвец,
То ступит шаг, то вновь стоит,
И на него народ глядит.

И хор девичий зашептал:
«Не из могилы ли он встал?» —
«Нет, девушки, он не таков:
Не встал, а лечь в нее готов.

Он потерял заветный клад
И гробу был бы только рад.
Всего спокойней лечь туда
И спать до страшного суда».

5

ПЕСНЯ УЗНИКА

Лишь сглазила Лизу бабка моя, —
«Сжечь ведьму!» — толпа закричала.
Не вырвал у старой признанья судья,
Хоть извел он чернил немало.

Когда ее посадили в котел,
Она закричала глухо.
Когда же черный чад пошел,
Вороной взлетела старуха.

Крылатая, черная бабка моя,
Влети сквозь решетку темницы

И сыром и коржилом — голоден я —
Попотчуй, вещая птица.

Крылатая, черная бабка моя,
И в петле жду я услуги:
Не клевали б, когда закачаюсь я,
Мне глаз твои подруги!

6

ГРЕНАДЕРЫ

Во Францию два гренадера
Из русского плена брели,
И оба душой приуныли,
Дойдя до немецкой земли.

Придется им — слышат — увидеть
В позоре родную страну...
И храброе войско разбито,
И сам император в плену!

Печальные слушая вести,
Один из них вымолвил: «Брат,
Болят мое скорбное сердце,
И старые раны горят!»

Другой отвечает: «Товарищ,
И мне умереть бы пора;
Но дома жена, малолетки:
У них ни кола, ни двора.

Да что мне? Просить Христа ради
Пушу и детей и жену.
Иная на сердце забота:
В плену император, в плену!

Исполни завет мой: коль здесь я
Окончу солдатские дни,
Возьми мое тело, товарищ,
Во Францию! Там схорони!

Ты орден на ленточке красной
Положишь на сердце мое,

И шпагой меня опояшешь,
И в руки мне вложишь ружье.

И смирно и чутко я буду
Лежать, как на страже, в гробу.
Заслышу я конское ржанье,
И пушечный гром, и трубу.

То *он* над могилою едет!
Знамена победно шумят...
Тут выйдет к тебе, император,
Из гроба твой верный солдат!»

7

ГОНЕЦ

Гонец, скачи во весь опор
Через леса, поля,
Пока не въедешь ты во двор
Дункана-короля.

Спроси в конюшне у людей,
Кого король-отец
Из двух прекрасных дочерей
Готовит под венец.

Коль темный локон под фатой,
Ко мне стрелой лети.
А если локон золотой,
Не торопись в пути.

В канатной лавке раздобудь
Веревку для меня
И поезжай в обратный путь,
Не горяча коня.

8

ПОХИЩЕНИЕ

Один не уйду я, любовь моя!
Со мною пойдешь ты
В дом мой темный, старинный, унылый,
В дом укромный, пустынный, милый,

Где мать моя на пороге сидит,
И сына ждет, и вдаль глядит.

«Оставь меня, страшный человек!
Оставь, незванный!
Твой грозен вид, как лед рука,
Твой взор горит, как мел щека, —
Я здесь останусь, ждут меня
Дыханье роз, сиянье дня».

Забудь про розы, про день забудь,
Моя дорогая!
Укройся к ночи фатою белой,
По струнам громче рукою смелой
И песню венчальную мне спой —
Подхватит ветер ее ночной.

9

ДОН РАМИРО

«Донна Клара! Донна Клара!
Радость пламенного сердца!
Обрекла меня на гибель,
Обрекла без сожаленья.

Донна Клара! Донна Клара!
Дивно сладок жребий жизни!
А внизу, в могиле темной,
Жутко, холодно и сыро.

Донна Клара! Завтра утром
Дон Фернандо перед богом
Назовет тебя супругой, —
Позовешь меня на свадьбу?»

«Дон Рамиро! Дон Рамиро!
Речь твоя мне ранит сердце,
Ранит сердце мне больнее,
Чем укор светил небесных.

Дон Рамиро! Дон Рамиро!
Отгони свое унынье;

Много девушек на свете, —
Нам господь судил разлуку.

Дон Рамиро, ты, что мавров
Поборол с такой отвагой,
Побори свое упорство —
Приходи ко мне на свадьбу».

«Донна Клара! Донна Клара!
Да, клянусь тебе, приду я.
Приглашу тебя на танец, —
Я приду, спокойной ночи!

«Спи спокойно!» Дверь закрылась;
Под окном стоит Рамиро,
И вздыхает, каменея,
И потом уходит в сумрак.

Наконец, в борьбе упорной,
День сменяет мглу ночную;
Словно сад, лежит Толедо,
Сад, пестреющий цветами.

На дворцах и пышных зданьях
Солнца отсветы играют,
Купола церквей высоких
Пламенеют позолотой.

И гудит пчелиным роем
Перезвон на колокольнях,
И несутся песнопенья
К небесам из божьих храмов.

А внизу, внизу, смотрите! —
Там из рыночной часовни
Люди праздничным потоком
Выливаются на площадь.

Блещут рыцари и дамы,
Свита золотом сияет,
И со звоном колокольным
Гул сливается органа.

Но почтительно и скромно
Уступают все дорогу

Юной паре новобрачных —
Донне Кларе и Фернандо.

До ворот дворца Фернандо
Зыбь людская докатилась;
Там свершится брачный праздник
По старинному обряду.

Игры трапезу сменяют
В ликование непрерывном;
Время мчится незаметно,
Ночь спускается на землю.

Гости званные средь зала
Собираются для танцев;
В блеске свеч сверкают ярче
Драгоценные наряды.

На особом возвышеньи
Сел жених, и с ним невеста;
Донна Клара, дон Фернандо
Пежно шепчутся друг с другом.

И поток людской шумнее
Разливается по залу,
И гремят победно трубы,
И грохочут в такт литавры.

«Но скажи, зачем ты взоры,
Повелительница сердца,
Устремила в угол зала?» —
Удивленно молвит рыцарь.

«Иль не видишь ты, Фернандо,
Человека в черном платье?»
И смеется нежно рыцарь:
«Ах! То тень лишь человека!»

И, однако, тень подходит —
Человек подходит в черном,
И тотчас, узнав Рамиро,
Клара кланяется робко.

В это время бал в разгаре,
Все неистовее в вальсе

Гости парами кружатся,
Пол грохочет, сотрясаясь.

«Я охотно, дон Рамиро,
Танцевать пойду с тобою,
Но зачем ты появился
В этом мрачном одеянье?»

И пронизывает взором
Дон Рамиро донну Клару;
Охватив ее, он шепчет:
«Ты велела мне явиться!»

И в толпе других танцоров
Оба мчатся в вальсе диком,
И гремят победно трубы,
И грохочут в такт литавры.

«Ты лицом белее снега!» —
Шепчет Клара с тайным страхом.
«Ты велела мне явиться!» —
Глухо ей в ответ Рамиро.

Ярче вспыхивают свечи,
И поток людской теснится,
И гремят победно трубы,
И грохочут в такт литавры.

«Словно лед, твое пожатье!» —
Шепчет Клара, содрогаясь.
«Ты велела мне явиться!»
И они стремятся дальше.

«Ах, оставь меня, Рамиро!
Смерти тлен в твоём дыханье!»
Он в ответ, все так же мрачно:
«Ты велела мне явиться!»

Пол дымится, накаляясь,
И ликует альт и скрипка;
Словно в чарах смутной сказки,
Все кружится в светлом зале.

«Ах, оставь меня, Рамиро!» —
Не смолкает женский ропот.
И Рамиро неизменно:
«Ты велела мне явиться!»

«Если так, иди же с богом!» —
Клара вымолвила твердо,
И, едва она сказала,
Без следа исчез Рамиро.

Клара стынет, смерть во взгляде,
На душе могильный холод;
Мысли в трепетном бессилье
Погрузились в царство мрака.

Наконец, туман редет,
Раскрываются ресницы;
Но теперь от изумленья
Вновь хотят сомкнуться очи:

С той поры как бал начался,
Клара с места не сходила;
Рядом с нею дон Фернандо,
Он участливо ей шепчет:

«Отчего ты побледнела?
Отчего твой взор так мрачен?» —
«А Рамиро?» — шепчет Клара,
Цепenea в тайном страхе.

И суровые морщины
Прорезают лоб супруга:
«Госпожа, к чему — о крови?
В полдень умер дон Рамиро».

10

ВАЛТАСАР

Погасли звезды, ночь темна,
Смолк Вавилон в объятьях сна.

Лишь царский замок освещен,
Там гомон и клики, там гул и звон.

На царский праздник в тронный зал
Царь Валтасар гостей созвал.

Пируют сатрапы, и весело им,
И чаши сверкают вином золотым,

И пенятся чаши, и плещет вино,
И царское сердце веселья полно.

Вдруг царь встает, побагровев,
Вино в нем разбудило гнев,

Слепая злоба в нем зажглась,
И бога поносит он, буйно глумясь,

И грешным кощунствует он языком.
Гремит восторга рев кругом.

И царь приказал, чтоб рабы принесли
Сокровища иудейской земли,

Святыни, что царским достались войскам,
Когда Иеговы разграбили храм.

И царь поднимает преступной рукой
Налитый до края бокал золотой,

Все выпил и, с пеной у рта, разъярен,
Бесстыдную брань извергает он:

«Иегова, навеки ты срамом покрыт,
Так царь Вавилона тебе говорит».

Но слово прервалось на царских устах,
Сжимает сердце тайный страх.

И воющий хохот умолк вокруг стола,
Как будто в залу смерть вошла.

И вдруг, и вдруг — на белой стене
Рука возникла, вся в огне,

И пишет и чертит огнем по стене,
И скрылась в темной вышине.

Царь бледен как мертвый, колени дрожат,
Безумен неподвижный взгляд.

И страх сковал гостей и слуг,
Оцепенели все вокруг.

В смятенье волхвы — и мудрейший не смог
Постигнуть смысл горящих строк.

Но прежде чем взошла заря,
Рабы зарезали царя.

11

МИННЕЗИНГЕРЫ

Миннезингеры в молчанье
На турнир идут толпой;
То-то будет состязанье,
То-то славный будет бой!

Пыл неистового чувства
Для певца как верный конь:
Щит ему — его искусство,
Меч — фантазии огонь.

С золоченой галереи
Смотрят дамы — пышный цвет;
Нет лишь той, что всех нежнее,
Лавра истинного нет.

Полон сил, к барьеру скачет
Рыцарь — славу обрести,
А певец от мира прячет
Рану смертную в груди.

И когда он кровью-песней,
Побеждая, изойдет,
То уста, что всех прелестней,
Изрекут ему почет!

12

ПОД ОКНОМ

Шел Генрих, бледный и худой;
Склонясь на подоконник,
Гедвига молвит: «Боже мой,
Как бледен — совсем покойник!»

Он кверху возвел пылающий взор,
Взглянул на ее подоконник,
И вот от любви и она с тех пор
Совсем бледна — как покойник.

Она с него днем не сводит глаз,
Опершись на подоконник,
А ночью в объятьях его — в тот час,
Когда нас пугает покойник.

13

РАНЕННЫЙ РЫЦАРЬ

Мне повесть старинная снится,
Печальна она и грустна:
Любовью измучен рыцарь,
Но милая неверна.

И должен он поневоле
Презреньем любимой платить
И муку собственной боли
Как низкий позор ощутить.

Он мог бы к бранной потехе
Призвать весь рыцарский стан:
Пускай облечется в доспехи,
Кто в милой видит изъян!

И всех бы мог он заставить
Молчать — но не чувство свое;
И в сердце пришлось бы направить,
В свое же сердце копьё.

14

ПОЕЗДКА ПО МОРЮ

Я, к мачте прислонясь, стоял,
 За валом вал считая,
 Корабль летит вперед быстрой, —
 Прощай, страна родная!

Вот домик милой промелькнул —
 В окне мерцанье света, —
 Гляжу, не отрываясь, я —
 Нет, мне не шлют привета!

Не застилайте взора мне,
 Не лейтесь, слезы, боле!
 О сердце бедное, не рвись
 От нестерпимой боли!

15

ПЕСЕНКА О РАСКАЯНЬЕ

Граф Ульрих едет в лесу густом,
 Смеются тихо клены,
 Он видит: девушка с милым лицом
 Таится в листве зеленой.

И думает он: «Как знаю я
 Этот облик — цветущий, веселый!
 Он так неотступно дразнит меня
 В толпе и в охотничьих долах.

Как розы, дышат ее уста
 И свежестью и любовью,
 Но речь их лукава, и пуста,
 И отдана суесловью.

И можно сравнить этот милый рот
 С прекрасным розовым садом,
 Где змей ядовитых семья живет,
 Цветы отравляя ядом.

На свежих щеках, что ярче дня,
Мне ямочек видно дрожанье,
Но это — бездна, куда меня
Безумно влекло желанье.

Волна ее локонов так пышна
И нежно на плечи ложится,
Но это — сеть, что сплел сатана,
Чтоб мне с душою проститься.

В глазах ее нежная радость живет,
Волны голубая прохлада,
Я думал — буду у райских ворот,
А встретил преддверие ада».

Граф Ульрих едет в лесу густом,
А клены шумят по дороге,
И призрак другой — с омраченным лицом
Глядит в тоске и тревоге.

И думает всадник: «То мать моя,
Она беззаветно любила,
Но делом и словом печалил я
Всю жизнь ее до могилы.

О, если б мне слезы ее осушить
Горем своим и любовью,
О, если бы щеки ее оживить
Из сердца взятой кровью!»

И едет он дальше в густые леса,
Вокруг начинается смеркаться,
И в зарослях странные голоса
Под ветром стали шептаться.

И слушает Ульрих свои же слова,
В лесу повторенные эхом.
То полнится шепчущая листва
Чириканьем птичьим и смехом.

Граф Ульрих прекрасную песню поет,
Раскаяньем песнь зовется.
Когда он ее до конца доведет,
То сызнова песнь начнется.

ПЕВИЦЕ,
СПЕВШЕЙ СТАРИННЫЙ РОМАНС

Забуть ли, как ее увидел,
Когда она вступила в зал?
Звучанье услышав родное,
Вдруг отворилось сердце, ноя,
И сам не зная, что со мною,
Я слез внезапных не скрывал.

Как бы во сне, я вспомнил детство
И наш далекий, милый дом.
Вот лампа светится, мерцая,
И, сказки старые читая,
Сажу я с матерью, мечтая,
А ветер воет за окном.

Волшебно оживает сказка.
И вот, спеша со всех сторон,
Из гроба рыцари восстали.
Звенят мечи дамасской стали,
Роланд воюет в Ронсевале,
И рядом подлый Гапелон.

Он низко предает героя.
Роланд бледнеет как мертвец.
О, продержись еще немного!
Дойдут до Карла звуки рога.
Но поздно послана подмога.
Погиб Роланд. И сну — конец.

Ах, то неистовство оваций
Вспугнуло мой чудесный сон.
И отовсюду — слева, справа —
Несутся вопли: «Браво! Браво!»
И равнодушно-величаво
Певица отдает поклон.

17

ПЕСНЯ О ДУКАТАХ

Золотые вы дукаты,
Где ж вы скрылись без возврата?
Уж не к золотым ли рыбкам
Вы случайно завернули —
В море с берега нырнули?

Иль средь золотых цветочков
В поле, вымытом росой,
Заблестали вы красою?

Может, золотые птички,
Беззаботно балагурия,
С вами носятся в лазури?

Или золотые звезды,
Улыбаясь с небосвода,
С вами водят хороводы?

Ах, дукаты золотые!
Не найду я вас нигде —
Ни в лазурных небесах,
Ни в долинах, ни в лесах,
Ни на суше, ни в воде, —
Лишь в глубинах сундука
Моего ростовщика!

18

РАЗГОВОР

В ПАДЕРБОРНСКОЙ СТЕПИ

Слышишь, пенье скрипок льется,
Контрабас гудит ворчливый?
Видишь, в легкой пляске вьется
Рой красавиц шаловливый?

«Друг любезный, что с тобою?
Ты глухой или незрячий?
Стадо вижу я свиное,
Визг я слышу поросычий».

Слышишь, рог раздался в чаще,
Это мчатся звероловы!
Вот один копьём блестящим
Гонит вепря из дубровы.

«Друг ты мой, рехнуться надо,
Чтобы спутать рог с волянкой!
Там, гоня свиное стадо,
Свинопас идет с дубинкой».

Слышишь, хор гремит над нами, —
Мудрость божью прославляя,
Плещут радостно крылами
Херувимы в кущах рая.

«Херувимы? В кущах рая?
Это гуси пред тобою.
Их мальчишка, распевая,
Гонит палкой к водопою».

Слышишь, колокол в селенье?
Звон воскресный, звон чудесный!
Вот к молебну, в умиленье,
Весь народ спешит окрестный.

«Разве то звонят во храме,
Разве, друг мой, это люди?
То коровы с бубенцами
Не спеша бредут к запруде».

Видишь, к нам летит по лугу
Кто-то в праздничном уборе.
Узнаешь мою подругу?
Сколько счастья в нежном взоре!

«Ты взгляделся бы сначала,
То лесничиха седая
С костылем проковыляла,
Спотыкаясь и хромая».

Ну, тогда еще спрошу я,
Можешь высмеять поэта, —
То, что здесь в груди пошу я,
Молви, друг, обман ли это?

19

НАПУТСТВИЕ

(В альбом)

Большая дорога — земной наш шар,
И странники мы на свете.
Торопимся, словно бы на пожар,
Кто пеший, а кто и в карете.

Мы машем платком, повстречавшись в пути,
И мчimsя, как от погони;
Мы рады б друг друга прижать к груди,
Но рвутся горячие кони.

Едва лишь тебя на скрещенье дорог
Успел, о принц, полюбить я,
Как снова трубит почтальона рожок —
Обоим трубит отбытье.

20

ПОИСТИНЕ

Когда солнце светит ранней весной,
Распускаются пышно кругом цветы;
Когда месяц плывет дорогой ночной,
Выплывают и звезды, прозрачны, чисты;
Когда ясные глазки видит поэт,
Он песнею славит их сладостный цвет.
Но и песни, и звезды, и луна,
И глазки, и солнечный свет, и весна,
Как бы ими ни наполнилась грудь,
В этом мире — не вся еще суть.

СОПЕТЫ

А.-В. ШЛЕГЕЛЮ

В роброне пышном, вышитом богато,
И в туфельках с острейшими носками,
Вся в мушках, с набеленными щеками
И талией, корсетом туго сжатой, —

Такой тебе явилася когда-то
Лжемуза, обольщая похвалами;
Но ты пошел не торными путями,
В туманное паитье веря свято.

И замок ты обрел в своем скитанье,
И там, недвижна, словно изваянье,
В волшебном сне красавица лежала.

И в чаянье желанного союза
В твои объятия подлинная Муза,
Восстав от сна, с улыбкою упала.

МОЕЙ МАТЕРИ Б. ГЕЙНЕ
(урожденной фон Гельдерн)

I

И смел, и горд, и прям я неизменно,
Упрямый ум противится преградам,
Пусть сам король меня измерит взглядом,
Я глаз пред ним не опущу смиренно.

Но в близости твоей благословенной,
О мать моя, когда со мной ты рядом,
Мой нрав с его неукротимым складом
Перед тобой смиряется мгновенно.

Не твой ли дух невидимый витает,
Высокий дух, что тайно проникает
Ко мне с вершин и душу мне смягчает?

Грущу ль о том, что, как и в дни былого,
Я сердце матери терзаю снова,
А сердце это все прощать готово.

II

В плену мечты, готов был мир попать я
И молодость провел с тобой в разлуке,
Искал любви, чтобы в любовной муке
Любовно заключить любовь в объятья.

Любви искал я всюду без изъятья,
И к каждой двери простирал я руки,
Стучал, как нищий, — и на эти стучки
Вражда была ответом и проклятья.

Повсюду я любви искал, повсюду
Искал любви — но не свершиться чуду,
И я домой вернулся одинокий.

И ты навстречу руки протянула,
И — ах! — слеза в глазах твоих блеснула
Любовью долгожданной и высокой.

Г. Ш.

Едва твой труд успел открыться взору,
Как уж душа знакомыми объята
Картинами, которыми когда-то
Я любовался, в отрочества пору.

И вновь влекусь я мыслию к собору,
Что к небу взмыл торжественно и свято.

Ловлю я звук органного раската
И внемлю томно-сладостному хору.

Я вижу, правда, как бесстыдно грубо
Ничтожества святыню облепляют
И драгоценную резьбу ломают.

Но пусть глупцы листву срывают с дуба,
Пусть лучшего липают украшенья, —
Придет весна, и с ней придет цветенье.

ФРЕСКОВЫЕ СОНЕТЫ
ХРИСТИАНУ 3.

I

Разубранному в золото чурбану
Я возжигать не буду фимиам,
Клеветнику руки я не подам,
Не поклонюсь ханже и шарлатану.

Пред куртизанкой спину гнуть не стану,
Хоть роскошью она прикроет срам,
Не побегу за чернью по пятам
Кадить ее тщеславному тирану.

Погибнет дуб, хоть он сильнее стебля,
Меж тем тростник, безвольно стан колебля,
Под бурями лишь клонится слегка.

Но что за счастье жребий тростника?
Он должен стать иль тростью франта жалкой,
Иль в гардеробе выбивальной палкой.

II

Личину мне! Отныне я плебей!
Я не хочу, чтоб сволочь золотая,
В шаблонных масках гордо выступая,
Меня к родне причислила своей.

Хочу простых манер, простых речей,
В которых жизнь клокочет площадная, —

Ищу их, блеск салонный презирая,
Блеск острословья, модный у хлыщей.

Я ворвался в немецкий маскарад,
Не всем знаком, но знаю эти хари:
Здесь рыцари, монахи, государи.

Картонные мечи меня разят.
Пустая шутка! Скинь я только маску —
И эти франты в страхе бросят пляску.

III

Да, я смеюсь! Мне пошлый фат смешон,
Уставивший в меня баранье рыло.
Смешна лиса, что ухо наострила
И нюхает меня со всех сторон.

Принявшая судьи надменный тон,
Смешна высокомудная горилла,
Смешон и трус, готовящий кадило,
Хотя кинжал и яд припрятал он.

Когда судьба, нарушив наш покой,
Игрушки счастья пестрые сломала
И в грязь швырнула, черни на потеху,

Когда нам сердце грубою рукою
Разорвала, разбила, растерзала, —
Тогда черед язвительному смеху.

IV

Все думаю о сказочке одной,
В ту сказочку и песня вплетена,
И в песне той любимая, она,
Цветет и дышит дивною весной.

Сердечко есть у девушки у той,
Но вот любовь сердечку не дана,
И глубь его надменностью полна,
И холодом, и гордостью пустой.

Мой друг, ты слышишь сказки старой звуки?
И как напев гудит сурово, властно?
Как девушка смеется жутко-жутко?

Боюсь, что лопнет мозг от тяжелой муки,
И — ах! — ведь это было бы ужасно —
Лишиться напоследок и рассудка.

v

В вечерний час, и тихий и печальный,
Ко мне слетают призраки былого,
И по щекам катятся слезы снова,
И тяжело душе многострадальной.

И словно в глади зеркала хрустальной,
Черты лица я вижу дорогого:
Сидит с иглой и не промолвит слова,
Овеянная тишью изначальной.

И вдруг встает со стула, и срезает
Чудесный локон из волнистой пряди,
И мне дает, — о, как я рад награде!

Но дьявол мне испортил всю забаву:
Из тех волос он свил канат на славу
И много лет на нем меня таскает.

vi

«В последний раз, когда мы повстречались,
Ты поцелуя не дала в залог», —
Так молвил я, и нежен был упрек,
И алые уста ко мне прижались.

И от цветов, что в вазе распускались,
Ты отделила миртовый росток:
«Возьми с собой, и посади в горшок,
И под стеклом держи». И мы расстались.

Давным-давно тот мирт уж не цветет,
Ее давным-давно я не встречал,
Но поцелуй доныне душу жжет.

И как-то вновь в то место повлекло
Меня. Всю ночь у дома я стоял
И прочь ушел, когда уж рассвело.

VI

Страшны, о друг мой, дьявольские рожи,
Но ангельские рожицы страшнее;
Я знал одну, в любовь играл я с нею,
Но коготки почувствовал на коже.

И кошки старые опасны тоже,
Но молодые, друг мой, много злее:
Одна из них — едва ль найдешь нежнее —
Мне сердце исцарапала до дрожи.

О рожица, как ты была смазлива!
Как мог в твоих я глазках ошибиться?
Возможно ли — когтями в сердце впиться?

О лапка, лапка мягкая на диво!
Прижать бы мне к устам ее с любовью,
И пусть исходит сердце алой кровью!

VII

Ты наблюдал, как я сражался с хором
Крикливых сов и пуделей ученых,
Бесстыдной клеветой вооруженных,
Вещавших мне о пораженье скором.

Ты наблюдал педантов иступленных,
Шутов, хотевших взять меня измором,
Ты видел сердце пылкое, в котором
Клубок свивался гадов обозленных.

Но ты стоял, подобен башне прочной,
И маяком служил мне в час полночный,
И гаванью твое мне сердце было.

Пусть гавань та — вдали, за морем строгим,
И пусть дано войти в нее немногим,
Но кто вошел, того она укрыла.

VIII

О, как бы я рыдал, когда бы мог!
О, как бы к небу я хотел подняться!
Но нет, внизу я должен пресмыкаться,
Где свист и шип, где вьется змей клубок.

Хотел бы я лететь на огонек,
Вокруг любимой нежно увиваться,
Ее дыханьем сладким упиваться,
Но нет — увы! — я сердцем изнемог.

И чувствую, как кровь моя сочится
Из сердца, подгибаются колени,
И тьма кругом, и взор темнеет тоже.

И я влекусь, в какой-то тайной дрожи,
В обитель снов, где сумрачные тени
В объятии со мной готовы слиться.



ЛИРИЧЕСКОЕ ИНТЕРМЕЦЦО

ПРОЛОГ

Жил рыцарь на свете, угрюм, молчалив,
С лицом поблекшим и впалым;
Ходил он шатаясь, глаза опустив,
Мечтам предаваясь вялым.
Он был неловок, суров, нелюдим,
Цветы и красотки смеялись над ним,
Когда брел он шагом усталым.

Он дома спживал в уголке,
Боясь любопытного взора.
Он руки тогда простирает в тоске,
Ни с кем не вел разговора.
Когда ж наступала ночная пора,
Там слышалось странное пенье, игра,
И у двери дрожали затворы.

И милая входит в его уголок
В одежде, как волны, пенной,
Цветет, горит, словно вся — цветок,
Сверкает покров драгоценный.
И золотом кудри спадают вдоль плеч,
И взоры блещут, и сладостна речь —
В объятьях рыцарь блаженный.

Рукою ее обвивает он,
Недвижный, теперь пламенеет;
И бледный сновидец от сна пробужден,
И робкое сердце смелеет.
Она, забавляясь лукавой игрой,
Тихонько покрыла его с головой
Покрывалом снега белее.

И рыцарь в подводном дворце голубом,
Он замкнут в волшебном круге.
Он смотрит на блеск и на пышность кругом
И слепнет в невольном испуге.
В руках его держит русалка своих,
Русалка — невеста, а рыцарь — жених,
На цитрах играют подруги.

Поют и играют; и множество пар
В неистовом танце кружатся,
И смертный объемлет рыцаря жар,
Спешит он к милой прижаться.

Тут гаснет вдруг ослепительный свет,
Сидит в одиночестве рыцарь-поэт
В каморке своей угрюмой.

1

Чудесным светлым майским днем,
Когда весь мир в цветенье,
В душе моей раскрылась
Любовь в одно мгновенье.

Чудесным светлым майским днем,
Под птичий гам и пенье
Поведал я любимой
О муке и томленьи.

2

Из слез моих расцветает
Цветов душистый ковер,
И вздохи мои и стенанья —
Ночной соловьиный хор.

И если ты любишь, цветами
Тебя осыплю я,
И пусть под твоим окошком
Раздастся песнь соловья.

3

Голубка и роза, заря и лилея, —
Я прежде любил их, пылая и млея,
Теперь не люблю, и мила мне иная,
Иная, родная, моя неземная;
Ее одну я в сердце лелею —
Голубку и розу, зарю и лилею.

4

Гляжу в глаза твои, мой друг, —
И гаснет боль сердечных мук.
Прильну к устам твоим, — и вновь
Мне исцеленье даст любовь.

Склонюсь на грудь и, как в раю,
Блаженство трепетное пью,
Но ты шепнешь: «Люблю, твоя», —
И безутешно плачу я.

5

Твой образ кроткий, неземной
Во сне витает надо мной;
Как тихий ангел, ты нежна,
Но как бледна, — о, как бледна!

Лишь ярк пурпур губ твоих, —
Смерть зацелует вскоре их.
Погаснет яркий блеск лучей,
Что льется из святых очей.

6

Прильни щекой к моей щеке,
 И поток наших слез сольется.
 Ты сердце свое прижми к моему,
 И пламя обоих сомкнется.

Когда же в огромное пламя вдруг
 Хлынут слезы рекою,
 Я, крепко тебя в объятьях сжав,
 Умру, охвачен тоскою!

7

Я в чашу лилии белой
 Всю душу свою волюю,
 Чтоб песенка прозвенела
 Про милую мою.

И будет песня крылата,
 И трепетна, и нежна,
 Как тот поцелуй, что когда-то
 Подарила, ласкаясь, она.

8

Стоят веками звезды
 Недвижно в небесах
 И друг на друга смотрят
 С тоской любви в глазах.

И говорят друг с другом
 Тем чудным языком,
 Что никакому в мире
 Лингвисту не знаком.

Но я разгадал его тайны,
 И мне не забыть тот язык:
 Грамматикой служил мне
 Любимой нежный лик.

На крыльях песни, подруга,
 Со мною умчишься ты
 На Ганг, под небо юга,
 В чудесный край мечты.

Там, весь в багряном цвете,
 Растет волшебный сад.
 Там лотосы в лунном свете
 О милой сестрице грустят.

Фиалки смеются лукаво,
 И тянутся розы к звездам,
 И шепчут душистые травы
 Душистую сказку цветам.

Пугливо подходят газели
 И слушают шум ветерка,
 И волнами еле-еле
 Священная плещет река.

Под пальмами вместе с тобою
 Я там опущусь на траву,
 Предамся любви и покою,
 Блаженному сну наяву.

Пугливой лилии страшен
 Палящий солнечный зной.
 Она, поникнув, дремлет
 И ждет прохлады ночной.

Ее любовник месяц
 Красавицу будит от сна,
 И лик цветущий и нежный
 Ему открывает она.

Сияет, и на небо смотрит,
 И льет аромат над рекой,
 Трепещет, и плачет безмолвно,
 И страстной томится тоской.

11

Весь отражен простором
Зеркальных рейнских вод,
С большим своим собором
Старинный Кельн встает.

Сиял мне в старом храме
Мадонны лик святой.
Он писан мастерами
На коже золотой.

Вокруг нее — цветочки,
И ангелы реют над ней.
А волосы, губы и щеки —
Совсем как у милой моей.

12

Увы, меня не любишь ты!
Но тем не огорчен я:
Когда взглянусь в твои черты,
По-царски награжден я.

Поклялся вечно презирать
Меня твой ротик алый,
Но дай его расцеловать, —
Утешусь я, пожалуй.

13

Без слов, без клятв целуй меня,
Не верю женским клятвам я!
Не нужно слов, — мне слаще их
Тот поцелуй, что слил двоих!
Он мой, я наслаждаюсь им,
Слова ж — бесплотный призрак, дым.

* * *

О, вновь клянись, моя любовь,
Словам любим поверю вновь!
Склоняюсь я на грудь твою

И думаю, что я в раю;
Продлится вечно — верю я —
И даже дольше страсть твоя.

14

На глазки возлюбленной моей
Создал я чудо-канцоны;
На ротик, что так хорош у ней,
Создал живые терцины;

На щечки, что свежих роз свежей,
Создал роскошные стансы.
Как жаль, что у милой сердечка нет, —
Не то я славный сложил бы сонет.

15

Свет близорук, свет педалек,
И с каждым днем пошлеет!
Представь, прелестный мой дружок:
Бранить твой характер он смеет!

Свет близорук, свет недалек!
Он глупо тебя отвергает:
Что твой поцелуй так блаженно глубок,
Так сладостно жгуч, — он не знает!

16

Если спросишь, друг мой нежный,
Не являешься ли ты
Порождением мятежным
Поэтической мечты, —

Я отвечу: эти губки
И очей волшебных свет,
Прелесть душеньки-голубки, —
Их не мог создать поэт.

Вот дракон в кругу сокровищ
И вампир среди могил, —
Этих мерзостных чудовищ
Жар поэта породил.

Но тебя, твой нрав опасный
И улыбки благодать,
Взор смиренно-лживо-ясный —
Их поэту не создать.

17

Как из пены воссиявшая,
Лучезарной красотой
Ты блистаешь, ныне ставшая
Не моею, а чужой.

Сердце, мукою томимое,
Об измене не грусти,
Будь покорно и любимую,
Неразумную прости.

18

Я все простил: простить достало сил,
Ты больше не моя, но я простил.
Он для других, алмазный этот свет,
В твоей душе ни точки светлой нет.

Не возражай! Я был с тобой во сне;
Там ночь росла в сердечной глубине,
А жадный змей все к сердцу припадал...
Ты мучишься... я знаю... я видал...

19

Да, ты несчастна, — как сердиться мне?
Для нас обоих счастья нет, мой друг.
Пока не стихнет боль в могильном сне,
Для нас обоих счастья нет, мой друг.

Насмешкой злой уста твои грозят,
И гневом грудь волнуется твоя.
Презреньем гордым твой сверкает взгляд,
И все ж, мой друг, несчастна ты, как я.

В изломе губ я горечь узнаю,
В глазах блестящих — слезы тайных мук,
В груди надменной — скрытую змею.
Для нас обоих счастья нет, мой друг!

20

Рокочут трубы оркестра,
И барабаны бьют.
Это мою невесту
Замуж выдают.

Гремят литавры лихо,
И гулко гудит контрабас.
А в паузах ангелы тихо
Вздыхают и плачут о нас.

21

Вконец, вконец тобой забыто,
Что сердце твое мне было открыто,
Что, нежным и лживым, я им обладал
И что нежнее и лживей не знал.

Забыла ты о любви и печали,
Что грудь мою непрестанно сжимали.
Была ли любовь огромней тоски?
Не знаю, — но обе они велики.

22

Когда бы цветы узнали,
Что сердце мое пронзено,
Они бы мои печали
Со мной разделили давно.

Когда бы терзания эти
Поведал я соловью,
Пропел бы он на рассвете
Мне лучшую песню свою.

И если б мои мученья
Достигли небесных высот,
На землю мне в утешенье
Спустился бы звезд хоровод.

Но где им знать про это?
То ведомо ей одной.
Разбила сердце поэта
Она своею рукой.

23

Отчего весенние розы бледны,
Отчего, скажи мне, дитя?
Отчего фиалки в расцвете весны
Преодо мной поникают, грустя?

Почему так скорбно поет соловей,
Надрывая душу мою?
Почему в дыханье лессов и полей
Запах тлена я узнаю?

Почему так сердито солнце весь день,
Так желчно глядит на поля?
Почему на всем угрюмая тень
И мрачнее могилы земля?

Почему, объясни, — я и сам не пойму, —
Так печален и сумрачен я?
Дорогая, скажи мне, скажи, почему,
Почему ты ушла от меня?

24

Они наплели немало
Тебе и вкривь и вкось;
О том, что мне душу терзало,
Им все ж умолчать пришлось.

Они головой качали,
Мои разбирая черты,
И злым меня называли, —
Всему поверила ты.

А худшего к тому же
Никто из них не знал:
Что было глупей и хуже
Всего, — то в груди я скрывал.

25

Пел соловей, и липа цвела,
Приветно смеялось светило дня;
К себе на грудь ты меня привлекла
И, обняв, целовала меня.

Угрюмо туманился солнечный лик,
Листы опадали под хрип ворон;
И холоден был расставанья миг,
И ты мне отвесила светский поклон.

26

Мы были чувств полны с тобой
И вместе делили радость и горе,
Мы часто играли в «мужа с женой»,
И все же ни разу не были в ссоре.
Мы вместе резвились и вместе смеялись,
И нежно ласкались и целовались,
Нам было так весело и легко,
И, в прятки играя в лесу, возле луга,
Однажды мы спрятались так далеко,
Что больше уже не найдем друг друга.

27

Была ты из самых верных,
Всегда за меня стояла,
Утешю мне бывала
В моих невзгодах безмерных.

Взаймы мне давала помногу,
Поила и кормила,
Бельем бескорыстно снабдила
И паспортом на дорогу.

Храни тебя бог, мое счастье,
От зноя, от замерзанья, —
Не дай лишь тебе воздаянья
За такое ко мне участие!

28

Так долго стужа нас томила,
Но май явился adorable, ¹
И все довольны, смеются мило, —
А я смеяться отнюдь не sarable. ²

Цветут цветы, ликують хоры,
Болтают птицы — совсем как в fable, ³
Но скука — птичьи разговоры,
Все это крайне misérable. ⁴

И люди зря меня волнуют,
И даже друг, вообще passable: ⁵
Все дело в том, что «madame» именуют
Любовь мою, что так aimable. ⁶

29

Покуда я медлил, вздыхал и мечтал,
Скитался по свету и тайно страдал,
Устав дожидаться меня, наконец,
Моя дорогая пошла под венец
И стала жить в любви да в совете
С глупейшим из всех дураков на свете.

¹ Чудесный (франц.).

² Способен (франц.).

³ В басне (франц.).

⁴ Жалко, плачевно (франц.).

⁵ Сносный (франц.).

⁶ Любезна (франц.).

Моя дорогая чиста и нежна,
Царит в моем сердце и в мыслях она.
Пионы — щечки, фиалки — глазки, —
Мы жить могли бы точно в сказке,
Но я прозевал свое счастье, друзья,
И в этом глупейшая глупость моя.

30

Фиалки синих-синих глаз,
И розы щек ее как атлас,
И лилии рук и посейчас
Цветут, но сердце — вот оно
Увяло, высохло давно.

31

Прекрасна земля, как сапфир небеса,
И овеяны ласковым ветром леса,
И мелькают всюду цветов глаза,
И искрится поутру роса,
И веселы людей голоса,
И все-таки брежу я могилой —
Лежать бы, обнявшись с моею милой.

32

Когда в гробу, любовь моя,
Лежать ты будешь безмолвно,
Сойду к тебе в могилу я,
Прижмусь к тебе любовно.

К недвижимой, бледной, к ледяной
Прильну всей силой своею!
От страсти трепещу неземной,
И плачу, и сам мертвею.

Встают мертвецы на полночный зов,
Несутся в пляске, ликуя,
А нас могильный укрыл покров,
В объятьях твоих лежу я.

Встают мертвецы на последний суд,
На казнь и мзду по заслугам,
А нам с тобой хорошо и тут,
Лежим, обняв друг друга.

33

На севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна
И дремлет качаясь, и снегом сыпучим
Одета как ризой она.
И снится ей все, что в пустыне далекой —
В том крае, где солнца восход,
Одна и грустна на утесе горячем
Прекрасная пальма растет.

34

(Голова говорит):

Хочу возлюбленной моей
Служить скамеечкой для ног,
Пусть давила бы сильней,
Я б все равно роптать не мог.

(Сердце говорит):

Мне б для возлюбленной моей
Подушкой для иголок быть!
Пусть колет глубже и больней,
Не буду и тогда тужить.

(Песня говорит):

О, если б в волосах ее
Бумажной папильоткой стать,
Чтоб про томление мое
Ей тайно на ухо шептать.

35

Разлучен я с милой был,
С той поры и смех забыл;
И меня плохой остряк
Насмешить не мог никак.

Лишь ее я потерял —
И слезам отставку дал;
В сердце горе, в сердце мрак, —
Не заплакать мне никак.

36

Из муки моей нестерпимой
Рождается песенок стая.
Они, со звоном взлетая,
Несутся к сердцу любимой.

И стаю легкокрылой
Ко мне возвращаются снова,
И горько скорбят, и ни слова
О том, что в сердце у милой.

37

Филистеры бродят, — в воскресный
Они облачились наряд;
Кричат, что природа прелестна,
И скачут не хуже козлят.

Их больше всего умиляет
Романтика рощ и лугов;
Развесив уши, внимают
Чириканию воробьев.

А я окно в нетерпенье
Завесил черным сукном;
Знакомые мне виденья
Меня посещают и днем.

Из царства мертвых явилась
Ко мне моя любовь,
Подсела ко мне, прослезилась, —
И сердце смягчилось вновь.

Как призрак забытый, из гроба
 Встает бывшее мое;
 Напоминает, как жил я
 Когда-то близ нее.

По городу, бледный, печальный,
 Бродил я, как в полусне,
 И люди с удивленьем
 В лицо глядели мне.

Ночами было лучше:
 На улицах — ни души.
 Лишь я с моею тенью
 Брожу в пустынной тиши.

Вот мост перехожу я,
 Шаги мои гулко звучат.
 Луна мне вслед из тучи
 Бросает хмурый взгляд.

И вот твой дом, и снова
 Гляжу на твоё окно,
 А сердце так томится,
 Так замирает оно!

В окне я часто видел
 Неясную тень твою,
 Ты знала, что я возле дома,
 Как изваянье, стою.

Девушку юноша любит,
 А ей по сердцу другой,
 Другой полюбил другую,
 И та ему стала женой.

И девушка тут же, с досады,
 Идет, невпопад и невпрок,
 За первого встречного замуж,
 А юноша — одинок.

Все это старо бесконечно
И вечно ново для нас,
И тот, с кем оно приключится,
Навеки сердцем угас.

40

Я слышу песни звуки,
Любимая пела ее,
И рвется от тяжелой муки
На части сердце мое.

Бегу в непонятном смятенье
В далекий лес в горах,
Чтоб там в уединенье
Печаль излить в слезах.

41

Мне снилась она, королевская дочь,
В глазах слезинки блестели;
Мы с нею под липою в темную ночь,
Обнявшись нежно, сидели.

«На что мне трон твоего отца,
Держава его золотая,
Алмазного не хочу я венца,
Тебя хочу, дорогая».

«Нельзя, в могиле я лежу, —
Ответ раздался унылый. —
И только ночью выхожу —
С тобой увидеться, милый».

42

Любимая, ночью безмолвной
Случилось отправиться нам,
Доверившись легкому челну,
В неведомый путь по волнам.

Прекрасные в лунном сиянье
Вставали вдали острова,
Там тени кружились в тумане
И сладко звучали слова.

И волны ночные незримо
Вздвигались и падали вниз,
А мы, безутешные, мимо
В открытое море неслись.

43

Из старых сказок, мнится,
Кивает мне рукой,
Поет, звенит и снится
Волшебною страной,

Где все растенья юга
Под золотым лучом
Взирают друг на друга
На празднестве дневном,

Где говорят деревья,
Сливаясь в дружный хор,
Где всех ручьев кочевье —
Как струнный перебор,

Где вольной страсти пенье,
Как никогда, звенит,
Где страстных чувств смятенье
В душе твоей горит!

Ах, если б мог туда я
Уйти, чтоб сердцем жить
И, муки забывая,
Блаженно-вольным быть!

Увы! Все страны эти,
Что снятся мне порой,
Растают на рассвете,
Как пены снег пустой.

Тебя я любил и люблю до сих пор.
 Пусть дрогнет земля под нами,
 Пусть рушится мир, все равно на простор
 Любви моей вырвется пламя.

Сияющим светлым утром
 Гуляю летом в саду,
 Цветы шелестят и шепчут,
 А я безмолвный бреду.

Цветы шелестят и шепчут
 Сочувственно мне поутру:
 «Не надо, печальный прохожий,
 Сердиться на нашу сестру!»

Любовь моя сумрачным светом
 Сияет во мгле — точь-в-точь
 Как грустная сказка, что летом
 Рассказана в душную ночь.

«В саду зачарованном двое —
 Молчат о своей любви;
 Мерцает небо ночное,
 Поют в кустах соловьи.

Пред дамой, как на картине,
 Колени рыцарь склонил.
 Пришел гигант пустыни
 И в бегство ее обратил.

А рыцарь раненый стонет,
 Гигант ковыляет домой...»
 Когда меня похоронят,
 Конец и сказке самой.

Они меня истерзали
И сделали смерти бледней, —
Одни своею любовью,
Другие враждою своей,

Они мне мой хлеб отравили,
Давали мне яду с водой, —
Одни своею любовью,
Другие своею враждой.

Но та, от которой всех больше
Душа и доселе больна,
Мне зла никогда не желала,
И меня не любила она.

Какое жаркое лето
На щечках твоих горит, —
Какая зима ледяная
В сердечке твоём царит.

Но время, дорогая,
Тебе иное сулит:
Зима на щеках воцарится,
А сердце зной опалит.

Двое перед разлукой,
Прощаясь, подают
Один другому руку,
Вздыхают и слезы льют,

А мы с тобой не рыдали,
Когда нам расстаться пришлось.
Тяжелые слезы печали
Мы пролили позже — и врозь.

За столиком чайным в гостиной
Спор о любви зашел.
Изысканны были мужчины,
Чувствителен нежный пол.

«Любить платонически надо!» —
Советник изрек приговор,
И был ему тут же наградой
Супруги насмешливый взор.

Священник заметил: «Любовью,
Пока ее пыл не иссяк,
Мы вред причиняем здоровью».
Девушка спросила: «Как так?»

«Любовь — это страсть роковая!» —
Графиня произнесла
И чашку горячего чая
Барону, вздохнув, подала.

Тебя за столом не хватало,
А ты бы, мой милый друг,
Верней о любви рассказала,
Чем весь этот избранный круг.

Мои отравлены песни.
Могло ль по-иному быть?
Ты яду не побоялась
В цветущую жизнь пролить.

Мои отравлены песни.
Иного не ждал и сам:
Змей в моем сердце много,
И ты, любимая, там.

Я вновь забылся прежним сном:
 То было в мае, конечно,
 Под липой сидели мы ночью вдвоем
 И клялись в верности вечной.

За шутками поцелуй пошли,
 И сколько клятв тут было!
 Чтоб лучше запомнил я клятвы твои,
 Ты в руку меня укусила.

Я вижу сиянье твоих очей,
 Мой друг коварный и хищный!
 Те клятвы были в порядке вещей,
 Укусы же были излишни.

Я нынче сентиментален,
 Стою на горе крутой.
 «О, если бы стать мне птичкой!» —
 Вдыхаю в тоске глухой.

Будь ласточкой я, порхнул бы
 К тебе я, любовь моя,
 И свил бы гнездышко тут же,
 Под окнами у тебя.

Будь я соловьем, порхнул бы
 К тебе я, любовь моя;
 На липе сидя зеленой,
 Всю ночь тебе пел бы я.

Будь я глупышом, порхнул бы
 К тебе на грудь я скорей, —
 Ведь ты к глупышам благосклонна,
 Ты лечишь больных глупышей.

Я тихо еду лесом,
 Коляска везет меня
 Веселой долиной, волшебюо
 Цветущей в блеске дня.

Сижу, люблюсь и грежу,
 Мечту о милой таю.
 Вдруг вижу — три тени кивают
 И смотрят в коляску мою.

И скачут, и строят гримасы,
 С насмешкой робкой глядят,
 Свиваются в дымку тумана,
 Хохочут и в чащу летят.

Во сне я горько плакал:
 Мне снилось, что ты умерла.
 Проснулся я, и тихо
 Слеза за слезой текла.

Во сне я горько плакал:
 Мне снилось, я брошен тобой.
 Проснулся я и долго
 Плакал в тиши ночной.

Во сне я горько плакал:
 Мне снилось, ты снова моя.
 Проснулся я — и плачу,
 Все еще плачу я...

Что ночь, я вижу тебя во сне,
 Улыбка твоя как живая,
 И сладко в рыданиях броситься мне
 К ногам твоим, дорогая.

Но горестно смотришь ты в этот час,
Качаешь грустно кудрями,
И крупные слезы из милых глаз
Струятся жемчугами.

Ты шепчешь слово, даешь в ответ
Мне ветвь кипариса, — и снова
Я просыпаюсь — и ветки нет,
И я не припомню слова.

57

Свирепствует буря, злится,
Врывается шум дождя;
Где могло теперь притаиться
Испуганное дитя?

Прижавшись к оконной раме,
В своей комнатенке, одна,
Полными слез глазами
Глядит в темноту она.

58

Сырая ночь беззвездна,
Деревья скрипят на ветру.
Я, в плащ закутавшись, еду
Один в глухом бору.

И мчатся мечты предо мною,
Опережают коня, —
Как будто на крыльях воздушных
К любимой уносят меня.

Собаки лают. Привратник
Выходит во двор с фонарем.
Я, шпорами бряцая,
Врываюсь по лесенке в дом.

О, как там тепло и уютно
При ласковом свете свечей!
И я бросаюсь в объятия
Возлюбленной моей.

А ветер свистит в деревьях,
И дуб говорит седой:
«Куда ты, глупый всадник,
С твоей безумной мечтой?»

59

Звезда упала в бездну
С лучистых горних высот!
Звезду любви узнал я, —
Она уж не взойдет.

Вот с яблони цвет спадает,
И крутится листьев рой, —
Их гонят дразнящие вихри
И тешатся этой игрой.

Кружа в заливе, лебедь
Тоскливо песнь поет,
Поет все тише, тише
И тонет в глуби вод.

О, как темно и тихо!
Распалась в прах звезда,
Развеяны ветром листья,
И лебедь умолк навсегда.

60

Громадный снился мне чертог,
Дурманы чар, и света переливы,
И бурный человеческий поток,
И лабиринта темные извивы.
Все к выходу стремятся, на порог,
И всюду вопли, стоны и призывы.
И рыцари и дамы в дикой дрожи
Бегут, — и сам вослед бегу я тоже.

И вдруг один стою я, и растет
Тревога — нет толпы уж многоликой,
Один стремлюсь я дальше, все вперед,
Покоями, запутанными дико.
В ногах свинец, и душу страх гнетет,
И не издать в отчаянии крика.
И вдруг достиг я двери выходной.
Туда! — Но, боже, кто передо мной?

Она, она предстала на пути!
Уста скорбят, чело туманней ночи.
Рукой она дает мне знак уйти;
Не знаю, гнев иль милость мне пророчит,
Но грудь готова счастьем изойти —
Так сладостно ее пылают очи.
Взглянула так сурово на меня,
Любовно так — и вмиг проснулся я.

61

Холодной полночью глухой
Бродил я в лесу со своей тоской;
Деревья тряс, чтоб они не спали, —
Они головой с состраданьем качали.

62

Самоубийц хоронят
В скрещенье двух дорог;
Цветок растет там синий,
Тоски предсмертной цветок.

В скрещенье дорог стоял я,
Безмолвен и одинок.
В сиянье лунном качался
Тоски предсмертной цветок.

63

Путь мой мгла ночная метит,
Сумрак стелется вокруг
С той поры, как мне не светит
Свет очей твоих, мой друг.

Золотые, закатились
Звезды прелести живой,
Бездны темные раскрылись, —
Ночь, прими меня, я твой!

64

Мне мгла сомкнула очи,
Свинец уста сковал,
Застыв и цепenea,
В могиле я лежал.

Не помню, был ли долог
Мой мертвый сон, но вдруг
Проснулся я и слышу
Над гробом чей-то стук.

«Быть может, встанешь, Генрих?
Зажегся вечный день,
И мертвых осенила
Услады вечной сень».

Любимая, не встать мне —
Я слеп и до сих пор:
От слез неутолимых
Вконец померк мой взор.

«Я поцелуем, Генрих,
Покров сниму с очей;
Ты ангелов увидишь
В снании лучей».

Любимая, не встать мне —
Доныне кровь струей
Течет еще из сердца,
Что ранено тобой.

«Тебе я руку, Генрих,
На сердце положу,
И мигом кровь уймется,
И боль заворожу».

Любимая, не встать мне —
Висок сочится мой:
Его ведь прострелил я
В тот день, как расстался с тобой.

«Я локонами, Генрих,
Прикрою твой висок,
Чтоб кровь не шла из раны,
Чтоб ты подняться мог».

И голос был так нежен —
Лежать не стало сил:
Мне к милой захотелось,
И встать я поспешил.

И тут разверзлись раны,
И хлынула струя
Кровавая из сердца,
И — вот! — проснулся я.

65

Для старых, мрачных песен,
Дурных, тревожных снов, —
О, если бы громадный
Для них был гроб готов!

Я собираюсь что-то
Еще в него сложить;
И бочки в Гейдельберге
Он больше должен быть.

И дайте мне носилки,
Чтоб были в полный рост;
Им быть, пожалуй, надо
Длинней, чем в Майнце мост.

Двенадцать великанов
Зовите же поскорей,

Чтоб кельнского Христофора
Был каждый из них сильней.

Пусть гроб снесут они к морю,
Опустят до самого дна;
По гробу и могила
Огромной быть должна.

А знаете, на что мне
Огромный гроб такой?
Любовь я уложил бы
И горе на покой.



ОПЯТЬ НА РОДИНЕ

1

В этой жизни слишком темной
Светлый образ был со мной;
Светлый образ помутился,
Поглощен я тьмой ночной.

Трусят маленькие дети,
Если их застигнет ночь;
Дети страхи полуночи
Громкой песней гонят прочь.

Так и я, ребенок странный,
Песнь мою пою впотьмах;
Незатейливая песня,
Но зато разгонит страх.

2

Не знаю, что значит такое,
Что скорбью я смущен;
Давно не дает покоя
Мне сказка старых времен.

Прохладой сумерки веют,
И Рейна тих простор.
В вечерних лучах алеют
Вершины дальних гор.

Пад страшной высотой
Девушка дивной красы
Одеждой горит золотою,
Играет златом косы,

Златым убирает гребнем.
И песню поет она:
В ее чудесном пенье
Тревога затаена.

Пловца на лодочке малой
Дикой тоской полонит;
Забывая подводные скалы,
Он только наверх глядит.

Пловец и лодочка, знаю,
Погибнут среди зыбей;
И всякий так погибает
От песен Лорелей.

3

О сердце мое, ты печально,
Хоть весело в мае, весной;
Стою, прислонившись к липе,
На древней стене крепостной.

Внизу вода голубая
Во рву городском блестит;
Мальчишка там удит рыбу
И, сидя в челне, свистит.

Вдали, как на пестрой картинке,
Игрушечной величины
Беседки, сады и люди,
Стадо и луг видны.

Служанки белье расстелили,
Бегут проворно к реке,
И мельничные колеса
Жужжат где-то там, вдалеке.

Дорожка к старинной башне
И к будке солдата ведет;
Там малый в красном мундире
Шагает взад и вперед.

Ружьем играет на солнце,
Приклад к плечу приложил, —
О, как бы мне хотелось,
Чтоб он меня застрелил.

4

Я плачу в лесу безнадежно, —
А дрозд спорхнул с высоты
И мне поет так нежно:
«О чем тоскуешь ты?»

«Спроси, дружок, об этом
Своих же братьев, стрижей,
Хитро гнездившихся летом
У окон милой моей».

5

Сырая ночь и буря,
Беззвездны небеса;
Один среди шумящих деревьев
Молча бреду сквозь леса.

Светик далекий кажется
В охотничий домик путь;
Мне им прельщаться не надо,
Ведь скучно туда заглянуть.

Там бабушка в кожаном кресле,
Как изваянье, страшна,
Слепая, сидит без движенья
И слова не молвит она.

Там бродит, ругаясь, рыжий
Сын лесничего взад и вперед,
То яростным смехом зальется,
То в стену винтовку швырнет.

Там плачет красавица пряжа,
И лен отсырел от слез;
У ног ее с урчаньем
Жметя отцовский пес.

6

Когда мне семью моей милой
Случилось в пути повстречать,
Все были так искренно рады —
Отец, и сестренка, и мать.

Спросили, как мне живется
И как родные живут.
Сказали, что я все такой же,
И только бледен и худ.

И я расспросил — о кузинах,
О тетках, о скучной родне,
О песике, лаявшем звонко,
Который так нравился мне.

И после о ней, о замужней,
Спросил невзначай — где она?
И дружески мне сообщили:
Родить через месяц должна.

И дружески я поздравлял их,
И я передал ей привет,
И я пожелал ей здоровья
И счастья на много лет.

«А песик, — вскричала сестренка, —
Большим и злющим стал,
Его утопили в Рейне,
А то бы он всех искусал».

В малютке с возлюбленной сходство,
Я тот же смех узнаю
И те же глаза голубые,
Что жизнь загубили мою.

Мы возле рыбацкой лачуги
Сидели вечерней порой.
Уже темнело море,
Вставал туман сырой.

Вот огонек блестящий
На маяке зажгли,
И снова белый парус
Приметили мы вдали.

Мы толковали о бурях,
О том, как мореход
Меж радостью и страхом,
Меж небом и морем живет,

О юге, о севере снежном,
О зное дальних степей,
О странных, чуждых нравах
Чужих, далеких людей.

Над Гангом звон и щобет,
Гигантский лес цветет,
Пред лотосом клонит колени
Прекрасный, кроткий народ.

В Лапландии грязный народец —
Нос плоский, рост мал, жабий рот, —
Сидит у огня, варит рыбу,
И квакает, и орет.

Задумавшись, девушки смолкли.
И мы замолчали давно...
А парус пропал во мраке,
Стало совсем темно.

Красавица рыбацка,
Оставь челнок на песке,
Посиди со мной, поболтаем,
Рука в моей руке.

Прижмись головкой к сердцу,
Не бойся ласки моей;
Ведь каждый день ты с морем
Играешь судьбой своей.

И сердце мое как море,
Там бури, прилив и отлив,
В его глубинах много
Жемчужных дремлет див.

9

Луна плывет незримо
Над морем голубым.
На берегу с любимой
В молчанье мы сидим.

Рукой рука согрета,
Вокруг такая тишь.
«Что слышишь ты в шуме ветра
И отчего дрожишь?»

«Нет, то не ветер, то пенье
Русалок, моих сестер,
Их всех без сожаленья
Сгубил морской простор».

10

Сердитый ветер надел штаны,
Свои штаны водяные.
Он волны хлещет, а волны черны, —
Бегут и ревут, как шальные.

Потопом обрушился весь небосвод,
Гуляет шторм на просторе.
Вот-вот старуха-ночь зальет,
Затопит старое море.

О снасти чайка бьется крылом,
Дрожит и спрятаться хочет,
И хрипло кричит — колдовским языком
Несчастье нам пророчит,

11

Играет буря танец,
В нем свист, и рев, и вой;
Эй! Прыгает кораблик,
Веселый паяц ночной.

Вздымает гулкое море
Живые горы из вод;
Здесь пропасти чернеют,
Там белая башня растет.

Молитвы, рвота и ругань
Слышны из каюты в дверь;
Мечтаю, схватившись за мачту:
Попасть бы домой теперь!

12

Вечер пришел безмолвный,
Над морем туманы свились;
Таинственно ропщут волны,
Кто-то белый тянется ввысь.

Из волн встает Водяница,
Садится на берег со мной;
Белая грудь серебрится
За ее прозрачной фатой.

Стесняет объятия, душит
Все крепче, все больней, —
Ты слишком больно душишь,
Краса подводных фей.

«Душú тебя с силою нежной,
Обнимаю сильной рукой;
Этот вечер слишком свежий,
Хочу согреться с тобой».

Лик месяца бледнеет,
И пасмурны небеса;
Твой сумрачный взор влажнеет,
Подводных фей краса!

«Всегда он влажен и мутен,
Не сумрачней, не влажней;
Когда я вставала из глуби,
В нем застыла капля морей».

Чайки стонут, море туманно,
Глухо бьет прибой меж камней, —
Твое сердце трепещет странно,
Краса подводных фей!

«Мое сердце дико и странно,
Его трепет странен и дик,
Я люблю тебя несказанно,
Человеческий милый лик».

13

Когда выхожу я утром
И вижу твой тихий дом,
И радуюсь, милая крошка,
Приметив тебя за окном.

Читаю в глазах чернокарих
И в легком движении век:
«Ах, кто ты и что тебе надо,
Чужой и больной человек?»

Дитя, я поэт немецкий,
Известный в немецкой стране.
Назвав наших лучших поэтов,
Нельзя не сказать обо мне.

И той же болезнью я болел,
Что многие в нашем краю
Припомнив тягчайшие муки,
Нельзя не назвать и мою.

14

Сверкало зыбью золотой
В лучах заката море.
Одни мы безмолвно сидели с тобой,
Одни на пустынном просторе.

Кружились чайки, рос прилив,
И мгла сырая встала.
Ты, слез любви не утаив,
Беззвучно зарыдала.

Я слезы увидел на пальцах твоих
И пал на колени с мольбами.
Я выпил их медленно с пальцев твоих
Горячими губами.

С тех пор разрывается сердце от мук,
Душа в безысходной печали.
Мне слезы те, мой бедный друг,
Навек отравой стали.

15

На той на горе на высокой
Есть замок, на замке шниц.
Живут там три девицы,
А я люблю трех девиц.

В субботу целует Иста,
В воскресенье — Юлия,
В понедельник — Кунигунда,
И жмет к груди меня.

А во вторник был там праздник,
На горе, у моих девиц.
В возках, верхом, в каретах
Насхало много лиц.

Меня туда не позвали,
А тут-то и вышел грех,
Заметили тетки и дяди —
И подняли их на смех.

16

На дальнем горизонте,
Как сумеречный обман,
Закатный город и башни
Плывут в вечерний туман.

Играет влажный ветер
На серой быстрине;
Траурно плещут весла
Гребца на моем челне.

В последний проглянуло
Над морем солнце в крови,
И я узнал то место —
Могилу моей любви.

17

Большой, таинственный город,
Тебя приветствую вновь,
Ты в недрах своих когда-то
Мою укрывал любовь.

Скажите, ворота и башни,
Где та, что я любил?
Вы за нее в ответе,
Я вам ее поручил.

Ни в чем не повинны башни —
Не могли они сняться с мест,
Когда с сундуками, узлами
Она торопилась в отъезд.

В ворота она преспокойно
Ускользнула у всех на глазах;
Если дурочка изворотлива,
И воротам быть в дураках.

18

Я снова дорогою старой иду
По улицам знакомым.
И вот я пред домом любимой моей —
Пустым, заброшенным домом.

Как мостовые плохи здесь,
Как улицы убоги!
Дома мне на голову рухнуть грозят, —
Бегу — давай бог ноги!

19

Вошел я под свод галерей,
Где клятвы ее звучали;
Теперь выползают змеи
Оттуда, где слезы упали.

20

Тихая ночь, на улицах дрема,
В этом доме жила моя звезда;
Она ушла из этого дома,
А он стоит, как стоял всегда.

Там стоит человек, заломивший руки,
Не сводит глаз с высоты ночной;
Мне страшен лик, полный страшной муки, —
Мои черты под неверной луной.

Двойник! Ты — призрак! Иль не довольно
Ломаться в муках тех страстей?
От них давно мне было больно
На этом месте столько ночей!

Как можешь ты спать спокойно
И знать, что я живу?
Погасший гнев вернется,
Я цепи тогда разорву!

Ты помнишь, как в песне старинной
Жених, убитый врагом,
Примчался в полночь к невесте
И взял ее в темный свой дом?

Прекрасная, нежная, верь мне,
Верь, гордая, песне моей, —
Ведь я живой, я не умер,
Я всех мертвецов сильнее!

Забывлась девушка дремой,
К ней в комнату смотрит луна.
Звенит веселым вальсом
Ночная тишина.

«Взгляну я, кто сон мой тревожит,
Всю ночь покоя нет!»
Внизу, под окном, распевая,
Пилит на скрипке скелет.

«Ты мне обещала танец,
Но солгала, как всегда.
Сегодня бал на кладбище,
Пойдем плясать туда».

И девушку властная сила
Выводит на зов из ворот,
Ведет за скелетом, — он пляшет,
Идет перед ней и поет.

Поет, пилит и пляшет,
Костями стучит в тишине
И черепом мерно кивает,
Кивает бледной луне.

23

В ее портрет углубившись,
 Я смутным предался мечтам,
 И вдруг дыханье жизни
 Прошло по любимым чертам.

Улыбкой дрогнули губы,
 И странно блеснули глаза,
 Как будто на них навернулась
 Невидимая слеза.

И слезы мои покатались,
 Твои застилая черты.
 О боже! Могу ли поверить,
 Что мною потеряна ты!

24

Я Атлас злополучный! Целый мир,
 Весь мир страданий на плечи подъемлю,
 Подъемлю непосильное, и сердце
 В груди готово разорваться.

Ты сердцем гордым сам того желал!
 Желал блаженств, блаженств безмерных сердцу
 Иль непомерных гордому скорбей.
 Так вот: теперь ты скорбен.

25

Племена уходят в могилу,
 Идут, проходят года,
 И только любовь не вырвать
 Из сердца никогда.

Только раз бы тебя мне увидеть,
 Склониться к твоим ногам,
 Сказать тебе, умирая:
 «Я вас люблю, madame!»

Мне снилось: печально светила луна,
И звезды смотрели печально;
И я был там, где живет она,
В том городе был я дальнем.

И я узнал ее дом и порог,
И камни стал целовать я,
Которых касался ее каблучок
И шлейф ее длинного платья.

А долгая ночь так была холодна,
Так холодны камни эти,
И чья-то бледная тень у окна
В лунном вставала свете.

Что нужно слезе одинокой?
Она мне туманит глаза.
Одна от времен забытых
Осталась эта слеза.

Ее прозрачные сестры
Исчезли уже давно.
Так вся моя радость и горе —
Все ветром унесено.

И синие звезды исчезли,
Как предрассветная мгла,
Те звезды, чья улыбка
Мне счастьем и горем была.

И даже любовь исчезла,
Как все былые мечты.
Слеза одинокой печали,
Пора, — исчезни и ты.

Сквозит осенний месяц
Из тучи бледным лучом.
У кладбища одиноко
Стоит пасторский дом.

Мать библию читает,
Сын тупо на свечку глядит,
Зевается дочери старшей,
А младшая говорит:

«О боже, какая скука!
Не видишь здесь ничего.
Одно у нас развлечение —
Когда хоронят кого».

Читая, мать отвечает:
«Да что, лишь четвертый мертвец
К нам прибыл, с тех пор как в могилу
Зарыт у церкви отец».

Зевает старшая: «С вами
Я здесь голодать не хочу.
Я завтра же к графу отправлюсь,
К влюбленному богачу».

Хохочет сын во все горло:
«Охотники здесь у нас
Умеют золото делать,
Научат меня хоть сейчас».

В лицо изможденное сына
Швыряет библию мать:
«Так ты, нечестивец проклятый,
Разбойником хочешь стать?»

Послышался стук в окошко,
Рукою кто-то грозит:
В пасторской черной одежде
Покойник отец стоит.

Прескверная погода,
 Дождь или снег — не пойму.
 Сижу я у окошка,
 Сижу и смотрю во тьму.

Вдали огонек мерцает,
 Вдоль улицы тихо плывет,
 С фонариком сквозь непогоду
 Старушка мать бредет.

Она, наверно, купила
 Муку и яиц пяток
 И хочет испечь для дочки
 На завтра вкусный широг.

А дочка дома в кресле
 На свечи, щурясь, глядит;
 Овал лица молодого
 Позолотой кудрей обвит.

Любовь, толкуют люди,
 Жизнь отравила мне.
 И право, толкуют недаром,
 Я с ними согласен вполне.

Моя синеглазая крошка,
 Тебе говорил я давно,
 Что ты моя жизнь и счастье,
 Что сердце тобою полно.

Но только в мечтах одиноких
 Я был настойчив и смел.
 Увы! При тебе я ни разу
 Двух слов связать не сумел.

Как будто недобрые духи
 Мне рот зажимали тотчас.
 Увы! Недобрые духи,
 Как жалок я стал из-за вас!

31

Этих пальцев — лилий белых —
 Вновь коснуться поцелуем
 И прижать их к сердцу вновь,
 Исходя безмолвным плачем.

Этих глаз — фиалок ясных —
 Образ день и ночь со мною
 И томит меня: что значат
 Эти синие загадки?

32

«Неужели не сказал ты
 Ей о страсти беззаветной?
 И в глазах ее неужто
 Не прочел любви ответной?»

Неужели не увидел
 Глубь души в ее глазах ты?
 Ведь ослом как будто не был
 Прежде, друг, в таких делах ты».

33

Они любили друг друга,
 Но встреч избегали всегда.
 Они истомились любовью,
 Но их разделяла вражда.

Они разошлись, и во сне лишь
 Им видеться было дано.
 И сами они не знали,
 Что умерли оба давно.

34

О муках своих я решил рассказать,
 Вы слушади молча и стали зевать;
 Когда ж я воспел их в стихах, полных грации,
 Вы стали устраивать мне овации.

Я черта позвал, он явился в мой дом
 И, право, меня весьма изумил.
 Он вовсе не глуп, не уродлив, не хром,
 Напротив — изящен, любезен и мил.
 Мужчина, как говорится, в расцвете,
 Поездивший много, бывавший в свете,
 Он дипломат, он остер на язык,
 Он суть государства и церкви постиг.
 Он бледен, но в том виновата наука —
 Санскрит, и Гегель, и прочая скука.
 «Фуке, — он сказал, — мой любимый поэт,
 А критику, — тут он закашлялся кстати, —
 Я отдал прабабке, дражайшей Гекате,
 Мне больше и дела до критики нет».
 Он мой юридический дар отметил.
 Признался, что сам в юристы метил,
 Сказал, что моей благосклонностью он
 Весьма дорожит, — и отвесил поклон.
 Спросил: не случилось ли встретиться нам
 В испанском посольстве в минувшее лето?
 И я, приглядевшись к его чертам,
 Припомнил, что мы познакомились где-то.

Не подтрунивай над чертом, —
 Годы жизни коротки,
 И загробные мученья,
 Милый друг, не пустяки.

А долги плати исправно.
 Жизнь не так уж коротка, —
 Занимать еще придется
 Из чужого кошелька!

Три светлых царя из восточной страны
 Стучались у всяких домишек,
 Справлялись, как пройти в Вифлесп,
 У девочек всех, у мальчишек.

Ни старый, ни малый не мог рассказать,
Цари прошли все страны;
Любовным лучом золотая звезда
В пути разгоняла туманы.

Пад домом Иосифа встала звезда,
Они туда постучали;
Мычал бычок, кричало дитя,
Три светлых царя распевали.

38

Дитя, мы были дети,
Нам весело было играть,
В курятник забираться,
В солому зарывшись, лежать.

Кричали петухами.
С дороги слышал народ
«Кукареку» — и думал,
Что вправду петух поет.

Обоями ящик обили,
Что брошен был на слом,
И в нем поселились вместе,
И вышел роскошный дом.

Соседкина старая кошка
С визитом бывала у нас.
Мы кланялись, приседали,
Мы льстили ей каждый раз.

Расспрашивали о здоровье
С заботой, с приятным лицом.
Мы многим старым кошкам
Твердили то же потом.

А то, усевшись чинно,
Как двое мудрых людей,
Ворчали, что в наше время
Народ был умней и честней;

Что вера, любовь и верность
Исчезли из жизни давно,
Что кофе дорожает,
А денег достать мудрено.

Умчались детские игры,
Умчась, не вернутся вновь
Ни деньги, ни верность, ни вера,
Ни время, ни жизнь, ни любовь.

39

Я как-то грустно-беспокоен,
Я размечтался о былом:
Наш мир уютней был устроен,
И люди тише жили в нем.

А нынче с петель мир сорвался,
Везде смятенье, шум и звон!
Вверху, видать, господь скончался,
А черт — внизу скончался он.

На всем какой-то холод тленья,
Так больно и пестро глазам —
И только каплей утешенья
Любовь еще осталась нам.

40

Как из тучи светит месяц
В темносиней вышине,
Так одно воспоминанье
Где-то в сердце светит мне.

Мы на палубе сидели,
Гордо плыл нарядный бот.
Над широким, вольным Рейном
Рдел закатом небосвод.

Я у ног прекрасной дамы
Зачарованный сидел,
На щеках ее румянцем
Яркий луч зари блестел.

Волны рдели, струны пели,
Вторил арфам звонкий хор.
Шире сердце раскрывалось,
Выше синий влек простор.

Горы, замки, лес и доли
Мимо плыли, как во сне,
И в глазах ее прекрасных
Это все сияло мне.

41

Вчера мне любимая снилась,
Печальна, бледна и худа.
Глаза и щеки запали,
Былой красоты ни следа.

Она вела ребенка,
Другого несла на руках.
В походке, в лице и в движениях —
Униженность, горе и страх.

Я шел за ней через площадь,
Окликнул ее за углом,
И взгляд ее встретил, и тихо
И горько сказал ей: «Пойдем!

Ты так больна и несчастна,
Пойдем же со мною, в мой дом.
Тебя окружу я заботой,
Своим прокормлю трудом.

Детей твоих выведу в люди,
Тебя ж до последнего дня
Буду беречь и лелеять,
Ведь ты как дитя у меня.

И верь, докучать я не стану,
О любви не буду молить.
А если умрешь, па могилу
Приду я слезы лить».

Друг! Ты все одну стрекочешь
 Песню про свои напасти!
 Иль высиживать все хочешь
 Лишь птенцов давнишней страсти?

Ах! Цыплята всё скребутся,
 Скорлупа тесна цыпленку;
 Выползли, пищат, трясутся,
 Хватъ — и запер их в книжонку.

Не досадуйте напрасно,
 Если старые печали
 У меня и в новых песнях
 Всё еще не отзвучали.

Погодите, скоро эхо
 Горя моего утихнет,
 И весна счастливых песен
 В исцеленном сердце вспыхнет.

Довольно! Пора мне забыть этот вздор!
 Пора мне вернуться к рассудку!
 Довольно с тобой, как искусный актер,
 Я драму разыгрывал в шутку!

Расписаны были кулисы пестро,
 Я так декламировал страстно.
 И мантии блеск, и на шляпе перо,
 И чувства — все было прекрасно.

Но вот, хоть уж сбросил я это тряпье,
 Хоть нет театрального хламу,
 Доселе болит еще сердце мое,
 Как будто играю я драму!

И что я поддельною болью считал,
То боль оказалась живая, —
О боже! Я, раненный насмерть, играл,
Гладиатора смерть представляя!

45

Худеет царь Висвамитра,
Утратив сон и покой.
Он хочет корову Васишты
Добыть постом и войной.

О мудрый царь Висвамитра,
Какой же ты бык тупой!
Ну что ты из-за коровы
Постишься и рвешься в бой!

46

Сердце, сердце, сбрось оковы
И забудь печали гнет.
Все прекрасный май вернет,
Что прогнал декабрь суровый.

Снова будут увлеченья,
Снова будет мир хорош.
Сердце, все, к чему ты льнешь,
Все люби без исключенья.

47

Ты — как цветок весенний —
Чиста, нежна, мила;
Любуюсь я, но на сердце
Скорбная тень легла.

Скрестить мне хочется руки
С молитвой над тобой;
Боже, храни ее чистой,
И нежной, и святой.

За тебя, дитя, боюсь я
 И стараюсь сам немало,
 Чтобы ты ко мне любовью
 Никогда не воспылала.

На свои успехи в этом
 Все же я гляжу уныло
 И порой мечтаю все же:
 Если б все же ты любила!

Когда лежу я в постели
 Под кровом тьмы ночной,
 Твой нежный, кроткий образ
 Сияет предо мной.

И лишь глаза закрою,
 Дремотой унесен,
 Я вижу вновь твой образ,
 Прокравшийся в мой сон.

И даже утро не в силах
 Развеять волшебство.
 Я где-то в недрах сердца
 Весь день ношу его.

Девушка, чьи нежны губки,
 Чья улыбка так чиста,
 Милая моя малютка, —
 О тебе моя мечта.

Долог нынче зимний вечер,
 И хотел бы я скорей
 Быть с тобой, болтать с тобою
 В тихой комнатке твоей.

Я к губам своим прижал бы
Ручку белую твою
И слезами оросил бы
Ручку белую твою.

51

Пусть себе метель кружится,
Град стучит и буря злится,
Снегом пусть окно заносит —
Сердце ничего не просит;
В нем теперь заключены
Милой лик и блеск весны.

52

Тот мадонне шлет моления,
А другой — Петру и Павлу.
Я же лишь твоё прославлю,
Солнце, дивное явленье.

Дай любви, благоволения,
Грей сияньем благосклонным,
Солнце всех девушек без исключенья,
Девушка всех милей под солнцем.

53

Так бледностью не выдал я
Сердечного страданья?
Ты хочешь, чтоб гордые уста
Просили подаянья?

О, слишком горды они! Любо им
Шутить да целоваться!
С них может насмешка слететь в тот миг,
Как будет сердце рваться.

Друг, опять пришла любовь,
 Никуда тебе не деться;
 Потемнело в голове
 И светлее стало в сердце.

Друг, опять пришла любовь,
 И ты зря скрываешь это, —
 Пламя сердца увидеть
 Можно сквозь сукно жилета.

Хотел я, чтоб вместе мы были,
 Душа бы покой обрела,
 К несчастью, тебя торопили,
 Тебя ожидали дела.

Сказал я, что я тебя встретил,
 Чтоб вечно мы были вдвоем,
 Но ты лишь в ответ рассмеялась
 И сделала книксен при сем.

Любви растравляя страдания,
 Меня ты терзала опять
 И даже на прощанье
 Не позволила поцеловать.

Но ты не права, полагая,
 Что я застрелюсь в горький час.
 Ведь это со мной, дорогая,
 Не в первый случается раз.

Сапфиры у тебя глаза,
 Они так нежно светят.
 О, трижды счастлив тот, кого
 Они, любя, приветят!

А сердце — истинный алмаз,
Огни он рассыпает.
О, трижды счастлив тот, кому
Любовью он сверкает!

Рубины у тебя уста,
Прекрасней — где найдутся?
О, трижды счастлив тот, кому
Они в любви клянутся!

О, если б я счастливца знал
И с ним сам-друг остался
В лесу дремучем, — вмиг бы оп
Со счастьем распрощался!

57

Я шутил любви речами
И пленил тебя, дитя;
Но своими же сетями
Я опутан не шути.

Если ныне с полным правом
Ты, шути, уйдешь, — боюсь,
Буду схвачен я лукавым
И не в шутку застрелюсь.

58

Фрагментарность вселенной мне что-то не нравится!
Придется к ученому немцу отправиться,
Короткий расчет у него с бытием:
Системе своей ища оправдания,
Он старым шлафроком и прочим тряпьем
Починит прорехи мироздания.

59

Бесплодно голову ломал я,
Мечтал и думал — ночи и дни.
Но вдруг твои глаза увидел,
И мне подсказали решение они.

Останусь там, где глаза твои светят, —
Их взор так нежен и глубок!
Что я любить еще раз буду,
Я и подумать бы не мог.

60

Сегодня к вам съедутся гости,
Сегодня весь дом освещен.
И легкую тень я увижу
В одном из горящих окон.

А ты не заметишь, что буду
Во тьме я стоять под окном,
И где уж тебе заметить,
Что в сердце творится моем.

Любовью к тебе безнадежно
Надломлено сердце мое.
Оно обливается кровью,
Но ты ведь не видишь ее.

61

Хотел бы в единое слово
Я слить мою грусть и печаль
И бросить то слово на ветер,
Чтоб ветер унес его вдаль.

И пусть бы то слово печали
По ветру к тебе донеслось,
И пусть бы всегда и повсюду
Оно тебе в сердце липлось!

И если б усталые очи
Сомкнулись под грезой ночной,
О, пусть бы то слово печали
Звучало во сне над тобой!

Твои жемчуга и алмазы
 Нельзя ни с чьими равнять,
 Глаза твои всех прелестней, —
 Чего ж тебе больше желать?

Твоим глазам в угоду
 Я создал целую рать
 Вечно прекрасных песен, —
 Чего ж тебе больше желать?

И ты глазами своими,
 Что любят манить и терзать,
 Вконец меня погубила, —
 Чего ж тебе больше желать?

Кто впервые в жизни любит,
 Пусть несчастен, все ж он бог.
 Но уж кто вторично любит
 И несчастен, тот дурак.

Я такой дурак — влюбленный
 И, как прежде, нелюбимый.
 Солнце, звезды — все смеются,
 Я смеюсь — и умираю.

Давали советы и наставленья
 И выражали свое восхищенье,
 Говорили, чтоб только я подождал,
 Каждый протекцию мне обещал.

Но при всей их протекции, однако,
 Сдох бы от голода я, как собака,
 Если б один добряк не спас —
 Он за меня взялся тотчас.

Вот добряк! За мною он в оба;
Я не забуду его до гроба,
Жаль — не обнять мне его никак,
Потому что я сам этот добряк.

65

Этот юноша любезный
Восхищенье вызвать может;
То и дело свежих устриц
И рейнвейну мне предложит.

Он изящный фрак и брючки,
Галстук преизящный носит,
По утрам всегда заглянет,
О моем здоровье спросит;

За моей следит он славой,
Помнит все мои остроты;
Он готов на все услуги,
Делит все мои заботы;

Вчерами у знакомых,
Преисполнен вдохновенья,
Декламирует он дамам
Дивные мои творенья.

Удивительно приятно
Юношу такого встретить
В наши дни, когда нетрудно
Убыль лучших сил заметить.

66

Мне снился сон, что я господь,
Сижу на небе, правя,
И ангелы сидят кругом,
Мои поэмы славя.

Я ем конфеты, ем пирог,
И это все без денег,
Бенедиктин при этом пью,
А долгу ни на пфенниг.

Но скука мучает меня,
Не лезет чаша ко рту,
И если б не был я господь,
Так я пошел бы к черту.

Эй, длинный ангел Гавриил,
Лети, поворачивай пятки,
И милого друга Эугена ко мне
Доставь сюда без оглядки.

Его в деканской не ищи,
Ищи за рюмкой рома,
И в церкви Девы не ищи,
А у мамзели, дома.

Расправил крылья Гавриил
И на землю слетает,
За ворот хватъ, и в небо, глядь,
Эугена доставляет.

Ну, братец, я, как видишь, бог,
И вот — землею правлю.
Я говорил ведь, что себя
Я уважать заставлю.

Что день, то чудо я творю, —
Привычка, друг, господня, —
И осчастливить, например,
Хочу Берлин сегодня.

И камень должен на куски
Распасться тротуарный,
И в каждом камне пусть лежит
По устрице янтарной.

Да окропит лимонный сок
Ее живой росой,
Да растекается рейнвейн
По улицам рекою.

И как берлинцы веселы,
И все спешат на ужин;
И члены земского суда
Припали ртами к лужам.

И как поэты веселы,
Найдя жратву святую!
Поручики и фендрики
Оближут мостовую.

Поручики и фендрики
Умнее всех на свете,
И думают: не каждый день
Творятся дива эти.

67

Я вас покинул в середине июля,
И вот, в январе, я вновь среди вас.
Тогда вам дьявольски было жарко,
Теперь вы остыли, и жар погас.

Уеду, вернусь, — и вы будете снова
Ни холодны, ни теплы, как всегда.
И я пойду по вашим могилам,
А в сердце холод и пустота.

68

От милых губ отпрянуть, оторваться
От милых рук, обнявших с жаркой лаской.
О, если б на единый день остаться!
Но кучер подоспел с своей коляской.

Вот жизнь, дитя! Терзанья то и дело,
Разлуку то и дело жизнь готовит!
Зачем же сердцем ты не завладела?
Зачем твой взор меня не остановит?

В темной почтовой карете
 Всю ночь мы мчались вдвоем,
 Мы нежно льнули друг к другу,
 Шутили, смеялись тайком.

Лишь утром с изумленьем
 Заметили мы с тобой:
 Проехал с нами даром
 Амур, пассажир слепой.

Где девчонка эта, боже,
 Запропастилась опять?
 Я решился в дождь и слякоть
 Целый город обыскать.

Все гостиницы обегал,
 Совершенно сбился с ног,
 И нахальные лакеи
 Мне грубили, кто как мог.

Вдруг со смехом из окошка
 Подает она мне знак.
 Я не знал, что ты попала
 В этот важный особняк.

Из мрака дома выступают,
 Подобны виденьям ночным.
 Я, в плащ закутавшись, молча
 Иду, нетерпеньем томим.

Гудят часы на башне.
 Двенадцать! Уж, верно, давно,
 Томясь нетерпеньем счастливым,
 Подруга смотрит в окно.

А месяц, мой провожатый,
Мне светит прямо в лицо,
И весело с ним я прощаюсь,
Взбегая к ней на крыльцо:

«Спасибо, мой верный товарищ,
За то, что светил мне в пути!
Теперь я тебя отпускаю,
Теперь другим посвети!

И если где-то влюбленный
Блуждает, судьбу кляня,
Утешь его, как, бывало,
Умел ты утешить меня».

72

О, если ты станешь моей женой,
Тебе позавидуют всюду.
Ты радость и счастье узнаешь со мной,
И денег жалеть я не буду.

Ты можешь пилить меня — буду я тих,
Прикрикнешь — останусь я нежен.
Но если стихов не похвалишь моих,
Знай твердо — развод неизбежен.

73

К твоей груди белоснежной
И головою приник,
И тайно могу я подслушать,
Что в сердце твоём в этот миг.

Трубят голубые гусары,
В ворота въезжают толпой,
И завтра мою дорогую
Гусар уведет голубой.

Но это случится лишь завтра,
А нынче придешь ты ко мне,
И я в твоих объятьях
Блаженствовать буду вдвойне.

74

Трубят голубые гусары,
Прощаются с нами, трубя,
И вот я пришел, дорогая,
И розы принес для тебя.

Беда с военным народом, —
Устроили нам кутерьму!
Ты даже свое сердечко
Сдала на постой кой-кому.

75

В годы юности, бывало,
От любви душа сгорала.
Я любил, как любишь ты.
Но дрова теперь дороже,
И огонь погас. Ну что же, —
Ma foi! ¹ — в том нет беды.

Если это стало ясно,
Вытри слезы, друг прекрасный,
Не тоскуй, судьбу кляня.
Сердце жить не перестало,
Так простись с любовью старой, —
Ma foi! — обняв меня.

76

Ты действительно сердита?
Ты и впрямь ко мне остыла?
Я всему открою свету,
Как ты скверно поступила.

¹ Клянусь! (*франц.*).

Губки, полные коварства,
Где слова нашли вы злые
Для того, кто так любовно
Целовал вас в дни былые?

77

Ах, опять тот взор, что прежде
Наполнял мне душу светом,
Губы алые, как прежде,
Дышат сладостным приветом.

Голос — ласковый, как прежде,
Тот, каким он сердцу снился,
Только я не тот, что прежде,
Я в разлуке изменился.

И хоть пылки, томны, страстны
Эти трепетные руки,
Я лежу в ее объятьях
Полный желчи, полный скуки.

78

Понимал я вас превратно,
Был для вас непостижим,
А теперь уж все понятно, —
Оба мы в грязи лежим.

79

Кричат, негодуя, кастраты,
Что я не так пою.
Находят они грубоватой
И низменной песню мою.

Но вот они сами запели
На свой высокий лад,
Рассыпали чистые трели
Тончайших стеклянных рулад.

И, слушая вздохи печали,
Стенанья любовной тоски,
Девицы и дамы рыдали,
К щекам прижимая платки.

80

На бульварах Саламанки
Воздух свежий, благовонный.
Там весной, во мгле вечерней,
Я гуляю с милой донной.

Стройный стан обвив рукою
И впивая нежный лепет,
Пальцем чувствую блаженным
Гордой груди томный трепет.

Но шумят в испуге липы,
И ручей внизу бормочет,
Словно чем-то злым и грустным
Отравить мне сердце хочет.

«Ах, сеньора, чует сердце,
Исключен я буду скоро.
По бульварам Саламанки
Не бродить уж нам, сеньора».

81

Вот сосед мой дон Энрикес,
Саламанкских дам губитель.
Только стенка отделяет
От меня его обитель.

Днем гуляет он, красоток
Обжигая гордым взглядом.
Вьется ус, бряцают шпоры,
И бегут собаки рядом.

Но в прохладный час вечерний
Он сидит, мечтая, дома,
И в руках его — гитара,
И в душе его — истома.

И как хватит он по струнам,
Как задаст им, бедным, жару!
Тошно слушать этот голос,
Эту чортову гитару!

82

При первой же встрече по голосу, взглядам,
Что я тебе нравлюсь, я понял как раз;
И если бы матери не было рядом,
Поцеловались бы мы тотчас.

А завтра уеду я вновь спозаранку
И вдаль помчусь во весь опор.
И только в окошко увидя белянку,
Пошлю ей приветный, прощальный взор.

83

Солнце уже пад горами, и звонок
Стада овечьего дальний гул.
Мой светик, мой цветик, мой милый ягненок,
Еще бы раз на тебя я взглянул!

С окна не свожу пытливого взора.
«Прощай, дитя! Я с тобой расстаюсь!»
Напрасно. Не шевельнется штора.
Она еще спит, — не я ли ей снюсь?

84

В городе Галле на рынке
Два льва стоят огромных.
Ах ты, галлеская львиная спесь,
Как же тебя укротили!

В городе Галле на рынке
Стоит гигантский рыцарь.
Он держит меч, но недвижим,
От страха окаменел он.

В городе Галле на рынке
Стоит огромная кирка.
Студенчеству и землячеству
Есть место, где помолиться.

85

Вечереет. Поздним летом
Пахнет в рощах задремавших.
Золотой на небе синем
Светит месяц кротким светом.

У ручья сверчок пугливый
Заскрипел, и тень мелькнула.
Путник слышит тихий шорох,
Осторожный плеск под ивой.

Там, в ручье, лесная фея
Умывается, плескаясь,
Под луной спина и руки
Будто светятся, белея.

86

В сердце боль, устали ноги,
Ночь вокруг, земля чужая,
Вдруг блеснул мне серп двурогий,
Как привет родного края.

И в лучах его сиянья
Страхи ночи растворились,
И растаяли страданья,
И росой глаза покрылись.

Что смерть? Прохладной ночи тень.
 Что жизнь? Горячий воздух дня.
 Темнеет. Ко сну меня клонит,
 День утомил меня.

Дуб осеняет мою постель,
 В ветвях поет надо мной соловей.
 Любовью полна его песня.
 Слышна и во сне мне трель.

Где, скажи мне, та, чью прелесть
 Пел ты, в сердце уязвленный,
 Полный пламенем волшебным,
 Вдохновенный и влюбленный?

Ах, погас волшебный пламень,
 Сердце холодно и вяло.
 Эта книжка — урна с пеплом
 Той любви, что в нем пылала.

СУМЕРКИ БОГОВ

Вот май — и с ним сиянья золотые,
 И воздух шелковый, и пряный запах.
 Май обольщает белыми цветами,
 Из тысячи фиалок шлет приветы,
 Ковер цветочный и зеленый стелет,
 Росию затканый и светом солнца,
 И всех людей зовет гостеприимно,
 И глупая толпа идет на зов.
 Мужчины в летние штаны оделись,
 На новых фраках пуговицы блещут,
 А женщины — в невинно-белых платьях.
 Юнцы усы весенние всё крутят,
 У девушек высоко дышат груди;
 В карман кладут поэты городские

Бумагу, карандаш, лорнет, — и шумно
Идет к воротам пестрая толпа
И там садится на траве зеленой,
Дивится росту мощному деревьев,
Срывает разноцветные цветочки,
Внимает пению веселых птичек
И в синий небосвод, ликуя, смотрит.

Май и ко мне пришел. Он трижды стукнул
В дверь комнаты и крикнул мне: «Я — май!
Прими мой поцелуй, мечтатель бледный!»
Я, дверь оставив на запоре, крикнул:
«Зовешь напрасно ты, недобрый гость!
Я разгадал тебя, я разгадал
Устройство мира, слишком много видел
И слишком зорко; радость отошла,
И в сердце мука вечная вселилась.
Сквозь каменную я смотрю кору
В дома людские и в сердца людские,
В тех и в других — печаль, обман и ложь.
Я в лицах мысли тайные читаю —
Дурные мысли. В девичьем румянце
Дрожит — я вижу — тайный жар желаний;
На гордой юношеской голове
Пестреет — вижу я — колпак дурацкий;
И рожу вижу и пустые тени
Здесь, на земле, и не могу понять —
В больнице я иль в доме сумасшедших.
Гляжу сквозь почву древнюю земли,
Как будто сквозь кристалл, и вижу ужас,
Который зеленью веселой хочет
Напрасно май прикрыть. Я вижу мертвых,
Они внизу лежат, гроба их тесны,
Их руки сложены, глаза открыты,
Бела одежда, лица их белы,
А на губах коричневые черви.
Я вижу — сын на холм отца могильный
С любовницей присел на краткий срок;
Звучит насмешкой пенье соловья,
Цветы в лугах презрительно смеются;
Отец-мертвец шевелится в гробу,
И вздрагивает мать-земля сырая».

Земля, я знаю все твои страдания,
В твоей груди — я вижу — пламя пышет,
А кровь по тысяче струится жил.
Вот вижу я: твои открылись раны,
И буйно брызжет пламя, дым и кровь.
Вот смелые твои сыны-гиганты —
Отродье древнее — из темных недр
Идут, и красный факел каждым поднят;
И, ряд железных лестниц водрузив,
Стремятся ввысь, на штурм небесной тверди,
И гномы черные за ними лезут,
И с треском топчут золотые звезды.
Рукою дерзкой с божьего шатра
Завеса сорвана, и с воем ниц
Упали сонмы ангелов смиренных.
И, сидя на престоле, бледный бог
Рвет волосы, венец бросает прочь,
А буйная орда теснится ближе.
Гиганты красных факелов огонь
В небесное бросают царство, гномы
Бичами ангельские спины хлещут, —
Те жмутся, корчатся, боясь мучений, —
И за волосы их швыряют вниз.
И своего я ангела узнал:
Он с нежными чертами, русокудрый,
И вечная в устах его любовь,
И в голубых глазах его — блаженство.
И черным, отвратительным уродом
Уже настигнут он, мой бледный ангел.
Осклабясь, им любитесь урод,
В объятьях тело нежное сжимает —
И резкий крик звучит по всей вселенной,
Столпы трещат, земля и небо гибнут.
И древняя в права вступает ночь.

РАТКЛИФ

Бог сновидений взял меня туда,
Где ивы мне приветливо кивали
Руками длинными, зелеными, где нежен
Был умный, дружелюбный взор цветов;

Где ласково мне щебетали птицы,
Где даже лай собак я узнавал,
Где голоса и образы встречали
Меня как друга старого; однако
Все было чуждым, чудно, странно чуждым.
Увидел я опрятный сельский дом,
И сердце дрогнуло, но голова
Была спокойна; отряхнул спокойно
Я пыль дорожную с моей одежды;
Задрезжал звонок, раскрылась дверь.

Мужчин и женщин там нашел я — лица
Знакомые. На всех — заботы тихой,
Боязни тайной след. Словно смутясь
И сострадая, на меня взглянули.
Мне жутко даже стало на душе,
Как от предчувствия беды грозящей.
Я Грету старую узнал тотчас,
Взглянул пытливо, но она молчала.
Спросил: «Мария где?» — она молчала,
Но за руку взяла и повела
Рядами длинных освещенных комнат,
Роскошных, пышных, тихих как могилы, —
И, в сумрачную комнату введя
И отвернувшись, показала мне
Диван и женщину, что там сидела.
«Мария, вы?» — спросил я задрожав,
Сам удивившись твердости, с которой
Заговорил. И голосом бесцветным
Она сказала: «Люди так зовут»,
И скорбью острой был пронизан я.
Ведь этот звук, глухой, холодный, был
Когда-то нежным голосом Марии!
А женщина — неряха, в синем платье
Поношенном, с отвислыми грудями,
С тупым, стеклянным взором, с дряблой кожей
На старом обескровленном лице —
Ах, эта женщина была когда-то
Цветущей, нежной, ласковой Марией!
«В чужих краях вы были, — мне сказала
Она развязно, холодно и жутко. —
Не так истощены вы, милый друг.

Поправились и в поясице, в икрах
Заметно пополнели». И улыбкой
Подернулся сухой и бледный рот.
В смятенье я невольно произнес:
«Мне говорили, что вы замуж вышли».
«Ах да, — сказала с равнодушным смехом, —
Есть у меня обтянутое кожей
Бревно — оно зовется мужем; только
Бревно и есть бревно!» Беззвучный, гадкий
Раздался смех, и страх меня объял.
Я усомнился, не узнав невинных,
Как лепестки невинных уст Марии.
Она же быстро встала и, со стула
Взяв кашемировую шаль, надела
Ее на плечи, под руку меня
Взяла, и увела к открытой двери
И дальше — через поле, рощу, луг.

Пылая, солнца круг клонился алый
К закату и багрянцем озарял
Деревья, и цветы, и гладь реки,
Вдали струившей волны величаво.
«Смотрите — золотой, огромный глаз
В воде плывет!» — воскликнула Мария.
«Молчи, несчастная!» — сказал я, глядя
Сквозь сумерки на сказочную ткань.
Вставали тени в полевых туманах,
Свивались влажно-белыми руками;
Фиалки переглядывались нежно;
Сплетались страстно лилии стеблями;
Пылали розы жаром сладострастья;
Гвоздик дыханье словно пламенело;
Тонули все цветы в благоуханьях,
Рыдали все блаженными слезами,
И пели все: «Любовь! Любовь! Любовь!»
И бабочки вились, и золотые
Жуки жужжали хором, словно эльфы;
Шептал вечерний ветер, шелестели
Дубы, и таял в песне соловей.
И этот шепот, шорох, пенье — вдруг
Нарушил жестяной, холодный голос
Увядшей женщины возле меня:

«Я знаю, по ночам вас тянет в замок,
Тот длинный призрак — добрый простофиля,
На что угодно он согласие даст.
Тот, в синем, — это ангел, ну, а красный,
Меч обнаживший, тот — ваш лютой враг».
Еще бессвязней и чудней звучали
Ее слова, и, наконец, устав,
Присела на дерповую скамью
Со мною рядом, под ветвями дуба.

Там мы сидели вместе, тихо, грустно,
Глядели друг на друга все печальней;
И шорох дуба был как смертный стон,
И пенье соловья полно страданья.
Но красный свет пробился сквозь листву,
Марии бледное лицо зарделось,
И пламя вырвалось из тусклых глаз.
И прежний, сладкий голос прозвучал:

«Как ты узнал, что я была несчастна?
Я все прочла в твоих безумных песнях».

Душа моя оледенела. Страшно
Мне стало от безумья моего,
Проникшего в грядущее; померк
Рассудок мой; я в ужасе проснулся.

ДОННА КЛАРА

В сад, ночной прохлады полный,
Дочь алькальда молча сходит.
В замке шум веселый пира,
Слышен трубный гул из окон.

«Как наскучили мне танцы,
Лести приторной восторги,
Эти рыцари, что Клару
Пышно сравнивают с солнцем!

Все померкло, чуть предстал он
В лунном свете предо мною —

Тот, чьей лютне я внимала
В полночь темную с балкона.

Как стоял он, горд и строен,
Как смотрел блестящим взором,
Благородно бледен ликом,
Светел, как святой Георгий!»

Так мечтала донна Клара,
Опустив глаза безмолвно.
Вдруг очнулась — перед нею
Тот прекрасный незнакомец.

Сладко ей бродить с любимым,
Сладко слушать пылкий шепот!
Ласков ветер шаловливый,
Точно в сказке, рдеют розы.

Точно в сказке, рдеют розы,
Дышат пламенем любовным.
«Что с тобой, моя подруга?
Как твои пылают щеки!»

«Комары кусают, милый!
Ночью нет от них покоя,
Комаров я ненавижу,
Как евреев длинноносых».

«Что нам комары, еврей!» —
Улыбаясь, рыцарь молвит.
Опадает цвет миндальный,
Будто льется дождь цветочный,

Будто льется дождь цветочный,
Ароматом полон воздух.
«Но скажи, моя подруга,
Хочешь быть мосей до гроба?»

«Я твоя навеки, милый,
В том клянусь я сыном божьим,
Претерпевшим от коварства
Кровоопийц-евреев злобных».

«Что нам божий сын, еврей!» —
Улыбаясь, рыцарь молвит.
Дремлют лилии, белея
В волнах света золотого.

В волнах света золотого
Грезят, глядя вверх на звезды.
«Но скажи, моя подруга,
Твой правдив обет пред богом?»

«Милый, нет во мне обмана,
Как в моем роду высоком
Нет ни крови низких мавров,
Ни еврейской грязной крови».

«Брось ты мавров и евреев!» —
Улыбаясь, рыцарь молвит
И уводит дочь алькальда
В сумрак лиственного грота.

Так опутал он подругу
Сетью сладостной, любовной,
Кратки речи, долги ласки,
И сердцам от счастья больно.

Неумолчным страстным гимном
Соловей их клятвам вторит.
Пляшут факельную пляску
Светляки в траве высокой.

Но стихают в гроте звуки,
Дремлет сад, и лишь порою
Слышен мудрых миртов шепот
Или вздох смущенной розы.

Вдруг из замка загремели
Барабаны и валторны,
И в смятенье донна Клара,
Пробудясь, вскочила с ложа.

«Я должна идти, любимый,
Но теперь открой мне, кто ты?
Назови свое мне имя,
Ты скрывал его так долго!»

И встает с улыбкой рыцарь,
И целует пальцы донны,
И целует лоб и губы,
И такое молвит слово:

«Я, сеньора, ваш любовник,
А отец мой — муж ученый,
Знаменитый мудрый рабби
Израэль из Сарагоссы».

АЛЬМАНЗОР

I

Вековой собор в Кордове.
Ровно тысяча и триста
В нем стоит колонн огромных,
Подпирая купол дивный.

И колонны, купол, стены —
Всё, от верха и до низа,
Надписями из корана,
Арабесками покрыто.

Строили собор когда-то
Мавританские владыки,
Но времен круговращенье
Многое переменило.

Где, бывало, с минарета
Слышался призыв к молитве,
Раздается христианский
Колокол меланхолический.

Где слова пророка были
В хоре правоверных слышны,
Ныне вздорным чудом мессы
Удивляет попик лысый.

Перед рядом пестрых кукол
Прихожане гнутся низко,
Глухих свеч повсюду много,
Много звона, много дыма.

И Альманзор бен-Абдулла
Подошел к колоннам ближе,
Созерцает их безмолвно
И потом бормочет тихо:

«О колонны, вы когда-то
Славою Аллаха были.
А теперь служить должны вы
Христианам ненавистным!

Вы привыкли к повой доле,
Под ярмом вы терпеливы;
Но ведь только слабый может
Успокоиться так быстро».

И Альманзор бен-Абдулла
Весело челом склонился
К разукрашенной купели,
Храма этого святыне.

II

Быстро выйдя из собора,
На лихом коне он скачет,
Пряди влажные взлетают,
И трепещут перья шляпы.

По дороге в Альколею
Вдоль Гвадалквивира прямо,
Там, где блый цвет миндальный,
Где душистый померанец,

Едет там веселый рыцарь
С песней, свистом, смехом сладким.
Этим песням вторят птицы,
Вторит и реки журчанье.

В альколейском замке встречи
Ждет он с Кларой де Альварес
(На войну отец уехал,
И она свободе рада).

И Альманзор издалека
Слышит трубы и литавры,
Видит он: сквозь тень деревьев
Льется свет огней из замка.

В альколейском замке танцы:
Там двенадцать дам прекрасных,
Рыцарей двенадцать тоже,
Но искусней всех — Альманзор.

Словно счастьем окрыленный,
Он по всей порхает зале,
Он слова сладчайшей лести
Каждой даме расточает.

Руки нежной Изабеллы
Поцелует — и отпрянет,
И садится пред Эльвирой,
Весело в лицо ей глядя.

Улыбнется Леоноре:
«Как я вам сегодня нравлюсь?»
И кресты ей золотые
На плаще своем покажет.

В скромности своей сердечной
Признается каждой даме —
В вечер тридцать раз клянется
Честным словом христианским.

III

В альколейском замке старом
Не поют и не пируют:
Рыцарей и дам не видно,
И огни уже потухли.

Донна Клара и Альманзор
Поздно в зале остаются;
Их уныло озаряет
Свет последней лампы тусклой.

Села в кресло донна Клара,
На скамейку рыцарь тут же;
Головой своей усталой
Милых он колен коснулся.

Масло розы из флакона
Дама льет с сердечной грустью
На Альманзоровы кудри.
Он вздохнул и взор потупил.

Поцелуем уст нежнейших
Дама льнет с сердечной грустью
К тем кудрям, густым и темным.
Он вздохнул и лоб нахмурил.

Слез поток из глаз блаженных
Дама льет с сердечной грустью
На Альманзоровы кудри.
Он сурово стиснул губы.

Грезит рыцарь: вновь стоит он —
Очи долу, влажны кудри —
В том же вековом соборе,
Слыша много странных звуков.

Исполинские колонны
Шепчут, громко негодуя,
Больше не хотят смиряться
И дрожат, готовы рухнуть.

Вот низверглись с громом диким,
С треском рушится и купол;
Причт и паства побледнели,
У богов Христовых — смута.

НА БОГОМОЛЬЕ В КЕВЛАР

I

Мать у окна стояла.
В постели сын лежал.
«Процессия подходит.
Вильгельм, ты бы лучше встал!»

«Нет, мать, я очень болен,
Смотреть не хватит сил.
Я думал о Гретхен умершей
И сердце повредил».

«Вставай, вот книга и четки,
Мы в Кевлар поспешим,
Там сжалится божья мать
Над сердцем твоим больным».

Хоругви церковные веют.
Церковный хор поет.
Из Кельна, вдоль по Рейну,
Процессия идет.

Поддерживая сына,
Пошла и мать за толпой.
Запели оба в хоре:
«Мария, господь с тобой!»

II

Сегодня мать божья
Надела лучший наряд.
Сегодня ей много дела:
Больные к ней спешат.

Приходят все с дарами,
Кого томит недуг:
Со слепками восковыми,
Со слепками ног и рук.

Принес восковую руку —
И вот рука зажила.
Принес восковую ногу —
И боль в ноге прошла.

Кто в Кевлар шел, хромая, —
Теперь плясун лихой;
Играет теперь на скрипке,
Кто двинуть не мог рукой.

Взяла восковую свечку
И сердце слепила мать.
«Отдай пречистой деве —
И больше не будешь страдать».

Со стоном берет он сердце,
Подходит едва-едва,
Слезы из глаз струятся,
Струятся из сердца слова:

«Тебе, преблагословенной,
Пречистой деве, тебе,
Тебе, царице небесной,
Скажу о своей судьбе.

Из города я Кельна,
Где с матушкой жил моей,
Из города, где сотни
Часовен и церквей.

Жила с нами рядом Гретхен,
Но вот схоронили ее.
Прими восковое сердце
И вылечи сердце мое!

Сердечные вылечи раны, —
Я буду всей душой
Молиться и петь усердно:
«Мария, господь с тобой!»

III

Больной и мать больного
Заснули дома вдвоем,
А мать божья ночью
Неслышно входит в их дом.

Склоняется к больному,
И руку свою кладет
На сердце его неслышно,
И прочь с улыбкой идет.

А мать во сне это видит,
И больше видит она...
Но громко собаки лают
И будят ее ото сна.

Лежит ее сын недвижим:
В нем жизни больше нет;
На бледных щеках играет,
Алея, утренний свет.

И мать сложила руки
Со скорбью и тоской
И набожно запела:
«Мария, господь с тобой!»



ИЗ «ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ГАРЦУ»

ПРОЛОГ

Сюртуки, чулки из шелка,
С тонким кружевом манжеты,
Речи льстивые, объятья —
Если б сердце вам при этом!

Если б сердце в грудь вложить вам,
В сердце чувство трепетало б, —
Ах, до смерти мне противна
Ложь любовных ваших жалоб!

Я хочу подняться в горы,
Где живут простые люди,
Где свободно ветер веет
И легко усталой груди.

Я хочу подняться в горы,
К елям шумным и могучим,
Где поют ручьи и птицы
И несутся гордо тучи.

До свидания, паркеты,
Гладкие мужчины, дамы,
Я хочу подняться в горы,
Чтоб смеяться там над вами.

ГОРНАЯ ИДИЛЛИЯ

I

На горе стоит избушка,
В ней шахтер живет седой,
Шумны темные там ели,
Светел месяц золотой.

У окна резное кресло,
Чудо-кресло, не скамья,
Кто сидит в нем, тот счастливец,
И счастливец этот — я!

На скамеечке малютка
У моих уселась ног;
Глазки — звезды голубые,
Ротик — аленький цветок.

Глазки-звездочки раскрыты
Широко, как небосвод,
И лукаво к пухлым губкам
Свой лилейный пальчик жмет.

«Нет, не бойся, мать не видит:
Села с прялкою к окну,
А отец взял в руки цитру
И поет про старину».

И малютка продолжает
Тихо в уши мне шептать;
Много тайн за это время
Довелось мне услышать.

«С той поры как нету тетки,
Не приходится уж нам
Ездить в Гослар на гулянье.
Вот чудесно было там!

Здесь, на этом горном склоне,
Так тоскливо жить одним,
А зимою мы под снегом,
Как схоронены, сидим.

И притом же я трусиха,
Как дитя, впадаю в страх,
Только вспомню злобных духов,
Промышляющих в горах».

Слов своих сама пугаясь,
Прерывает вдруг рассказ
И обеими руками
Прикрывает звезды глаз.

Все шумнее шелест ели,
Громче треск веретена,
И в звенящих струнах цитры
Оживает старина.

«Не страшись, моя малютка,
Злые духи скрылись прочь,
Божьи ангелы на страже
Над тобою день и ночь!»

II

Ель протягивает пальцы
И стучится под окном,
Месяц, бледный соглядатай,
Льет сиянье в тихий дом.

Мать с отцом храпят негромко
В ближней спальне за стеной,
Мы же время коротаем
За блаженной болтовней.

«Будто часто ты молился?
Нет, меня не проведешь, —
Неужели от молитвы
На губах такая дрожь?»

Эта дрожь, такая злая,
Страх наводит на меня,
Но в глазах твоих сиянье
Благодатного огня.

Сомневаюсь, чтоб ты верил,
Как священник нас учил,
Чтобы ты отца и сына
И святого духа чтил».

«Милый друг, еще ребенком,
У родимой на руках,
Верил я, что правит миром
Бог-отец на небсах.

Тот, кто дивно создал землю,
Человека сотворил,
Кто звездам, луне и солнцу
Их пути определил.

А когда я вырос, крошка,
Много больше я узнал
И, постигнув человека,
В сына верить тоже стал,

В сына божьего, что людям
Дал любовь и чистоту
И, как водится, в паграду
Пригвожден был ко кресту.

Я теперь созрел, начитан,
Видел многие края
И в святого духа верю
Всей душой своєю я.

Сотворил чудес он много
И еще творить готов;
Он разрушил замки гордых,
Сокрушил ярмо рабов.

Раны лечит, обновляет
Право древней старины:
Все мы, люди, от рожденья
Благородны и равны.

Гонит он туманы злые
И рассеивает гнет,
Что вкушать любовь и радость
День и ночь нам не дает.

Сотни рыцарей отважных,
В броне панцырей и лат,
Служат духу всеблагому,
Волю высшую творят.

Гордо веют их знамена,
И мечи блестят у них, —
Ты хотела бы, малютка,
Видеть рыцарей таких?

Так гляди ж смелей мне в очи,
Поцелуй меня! Взгляни!
Я и сам такой же рыцарь,
Рыцарь духа, как они!»

III

За зеленой хвоей ели
Месяц тихо прячет лик,
В нашей комнате мерцает
Догорающий ночник.

Только звезды голубые
Светят ярче в поздний час,
И пылает алый ротик,
И она ведет рассказ:

«Эти крошки-домовые
Поедают нашу снедь,
Накануне полон ящик,
Поутру — пустая клеть.»

Эти крошки слижут ночью
Наши сливки с молока,
А остатки выпьет кошка
Из открытого горшка.

Да и кошка наша — ведьма:
Ночью вылезет на двор
И гуляет в дождь и вьюгу
По развалинам средь гор.

Там стоял когда-то замок,
В пышных залах яркий свет,
Дамы, рыцари и свита
Танцевали менуэт.

Но однажды злая фея
Нашептала злобных слов,
И теперь среди развалин
Гнезда филинов и сов.

Впрочем, тетка говорила:
Стоит только слово знать
И его в урочном месте
И в урочный час сказать, —

И опять из тех развалин
Стены гордые взойдут,
Дамы, рыцари и свита
Танцевать опять начнут;

Тот, кто скажет слово, станет
Обладателем всего,
Звуки трубные прославят
Светлость юную его.

Так цветут волшебной сказкой
Алых губок лепестки,
И сверкают в глазках-звездах
Голубые огоньки.

Нижет кудри мне на пальцы
И дает им имена.
И смеется, и целует,
И смолкает вдруг она.

И с таким приветом тихим
Смотрит комната на нас;
Этот стол и шкаф как будто
Я уж видел много раз.

Мирно маятник болтает,
Струны цитры на стене
Еле слышно зазвенели,
И сижу я как во сне.

«Вот урочный час и место,
Вот когда пора сказать.
Ты, малютка, удивишься,
Как я слово мог узнать.

Лишь скажу — и ночь поблекнет,
Не дождавшись до утра,
Зашумят ручьи и ели,
Вздрыгнет старая гора.

Из ущелья понесутся
Звуки, полные чудес,
Запестреет, как весною,
Из цветов веселый лес.

Листья, странные как в сказке,
Небывалые цветы
Полны чар благоуханья
И пьянящей пестроты.

Розы, красные как пламя,
Загорятся здесь и там,
И колонны белых лилий
Вознесутся к небесам.

Звезды, крупные как солнце,
Запылают над землей,
В чаши лилий исполинских
Свет вливая голубой.

Мы с тобой, моя малютка,
Всех изменимся сильнее;
Окружат нас шелк и бархат,
Вспыхнет золото огней.

Ты принцессой станешь гордой,
Замком сделается дом, —
Дамы, рыцари и свита
Пляшут весело кругом.

Все мое — и ты и замок —
В этом сказочном краю,
Славят трубы и литавры
Светлость юную мою!»

ПАСТУШОК

Пастушок — король над стадом,
Холм зеленый — гордый трон,
А над головою солнце —
Лучезарней всех корон.

В красных крестиках барашки
Нежно ластятся к ногам,
А телята — кавалеры —
Гордо бродят по лугам.

Средь козлят придворной труппы
Каждый — чудо, не актер,
А коровьи колокольцы,
Флейты птиц — оркестр и хор.

Он поет, играет нежно;
Тих и нежен дальний гул
Водопадов, стройных елей, —
И король слегка вздремнул.

В это время государством
Управляет верный пес,
Чье сердитое рычанье
Ветер по полю разнес.

А король сквозь сон бормочет:
«Что за бремя эта власть!
Хорошо бы к королеве
Поскорей домой попасть!»

Головой прилечь державной
К ней на грудь хотел бы я!
В нежном взоре королевы —
Вся монархия моя!»

НА БРОКЕНЕ

Все светлее на востоке,
Тлеет солнце, разгораясь.
И кругом поплыли горы,
Над туманами качаясь.

Мне надеть бы скороходы,
Чтобы с ветром поравняться
И над этими горами
К дому милой резво мчаться,

Тихо полог отодвинуть
В изголовье у голубки,
Целовать тихонько лобик
И рубиновые губки.

И в ушко ее чуть слышно
Молвить: «Пусть тебе приснится
Сон, что мы друг друга любим
И что нам не разлучиться».

ИЛЬЗА

Зовусь я принцессой Ильзой
И в Ильзенштейне живу;
Пойдем со мной в мой замок
К блаженству наяву.

Я лоб тебе омою
Прозрачною волной,
Ты боль свою забудешь,
Унылый друг больной.

В объятьях рук моих белых,
На белой груди моей
Ты будешь лежать и грезить
О сказках прошлых дней.

Обниму тебя, зацелую,
Как мной зацелован был
Мой император Генрих,
Что вечным сном почил.

Не встать из мертвых мертвым,
И только живые живут;
А я цветка прекрасней,
И сердце бьется — вот тут.

Вот тут смеется сердце,
Звенит дворец средь огней,
Танцуют с принцессами принцы,
Ликует толпа пажей.

Шуршат атласные шлейфы,
И шпоры звенят у ног,
И карлики бьют в литавры,
И свищут, и трубят в рог.

Усни, как спал мой Генрих,
В объятьях нежных рук;
Ему я прикрыла уши,
Когда грянул трубный звук.



СЕВЕРНОЕ МОРЕ

ЦИКЛ ПЕРВЫЙ

1

КОРОНОВАНИЕ

Песни, милые вы мои песни!
Вставайте, вставайте! К оружию!
Вставайте, в трубы трубите!
И поднимите на щите
Молодую девушку,
Которая моим сердцем
Владеет отныне как царица.

Слава тебе, молодая царица!

У высокого солнца
Возьму я лучистого золота
И сплету диадему
Для гордой твоей головы.
От лазурного шелка небес,
Где сверкают почные алмазы,
Оторву я кусок
И накину его, как порфиру,
На царственные плечи твои.
Я свиту твою составлю
Из чопорно разодетых сонетов,
Надменных терцин и любезнейших стансов.
К тебе в скороходы поступит мое остроумье,
Дворцовым шутком фантазия станет моя,

Герольдом с веселой слезой на гербе
Пусть будет мой юмор.
А сам я, царица,
Паду пред тобой на колени
И молча на бархатной красной подушке
Тебе поднесу
Частицу рассудка,
Оставленную мне из сострадания
Той, которая царила до тебя.

2

СУМЕРКИ

На пустышном берегу моря,
Печально задумавшись, сидел я в одиночестве.
Солнце садилось и бросало на воду
Пылающие красные полосы,
И белые дальние волны,
Гонимые приливом,
Пенились и пели всё ближе и ближе —
Необычный шорох, шепот и свист,
Смех и бормотанье, журчанье и вздохи,
И среди них тихая колыбельная песня, —
Мне казалось, я слышу забытые сказания,
Старые чудесные сказки,
Которые я еще мальчишкой
Слышал от соседских детей,
Когда мы летним вечером
Сидели на каменных ступеньках
И от тихих рассказов загорались
Маленькие чуткие сердца
И глаза, разумно-пытливые.
А взрослые девушки
Сидели напротив, у окна,
Увитого душистыми цветами,
Их розовые лица
Улыбались, озаренные луной.

3

СОЛНЕЧНЫЙ ЗАКАТ

Пылающее солнце опускается
В широко раскинувшееся

Серебристо-серое море,
Следом плывет
Розовеющий воздух, а наверху
Из-за осенне мрачной облачной завесы
Печальная и смертельно бледная
Рвется вперед луна,
И за ней, как искорки,
В тумане мерцают звезды.

Когда-то на небе вместе
Сияли супруги,
Луна-богиня и солнце-бог,
А подле них копошились звезды,
Малые невинные дети.

Но злые языки их рассорили,
И рассталась враждебно
Высокая сияющая чета.

И теперь один, в одиноком величье,
Бог-солнце ходит там наверху,
Его великолепие
Восхваляют в молитвах и гимнах
Гордые, закаленные счастьем люди.

А ночью
По небу бродит луна,
Бедная мать
Со своими сиротками-звездами;
Она сияет в безмолвной тоске,
И влюбленные девушки и нежные поэты
Посвящают ей слезы и песни.

Нежная луна! Она как женщина,
И все еще любит прекрасного супруга,
И под вечер, дрожа и бледнея,
Глядит она из легких облаков,
И, скорбная, следит за уходящим,
И боится, и хочет крикнуть ему: «Вернись,
Вернись, дети соскучились по тебе!»
Но упрямый солнечный бог
От взгляда богини вспыхнет,
И загорается он румянцем двойным

От гнева и горя
И, неумолимый, торопится вниз,
В свою влажную и холодную постель вдовца.

* * *

Злые, шипящие языки
Так приносят горе и гибель
Даже великим богам,
И несчастные боги там, наверху,
Странствуют, вечно страдая,
По бесконечным дорогам,
И не могут они умереть,
И тащат с собой
Свое лучезарное горе.

Но я человек,
Я мелкая сошка, я, к счастью, смертен,
И нечего мне роптать.

4

НОЧЬ НА БЕРЕГУ

Беззвездна и холодна ночь,
Волнуется море.
А над морем лежит на брюхе
Неуклюжий северный ветер,
И украдкой, срывающимся глуховатым голосом,
Как внезапно размякший брюзга,
Он болтает с водой,
Он рассказывает нелепые истории,
Страшные сказки о великанах
И древние саги Норвегии;
И то он громко хохочет и воет,
То поет заклинания Эдды
И старинные руны,
Сумрачно своенравные и властно колдующие,
И белые дети моря
Весело подпрыгивают и радуются,
Упоенно раззадоренные.

В это время по плоскому берегу,
По волноомытому песку,
Шагает чужеземец, сердце которого
Мятежнее ветра и волн.
Куда он ни ступит —
Блещут искры и хрустят раковины,
А он, закутавшись в свой серый плащ,
Быстро идет сквозь ветреную ночь
На нежно мерцающий
Мацящий огонек
Одинокой избы рыбака.

Отец и братья ушли в море,
И одна-одинешенька
Осталась дома дочь рыбака,
Прекрасная дочь рыбака.
Сидит она у очага
И слушает бормотанье воды в котле,
Полное радостно-вещих предчувствий,
И бросает в огонь хрустящий хворост,
И дует на пламя,
И вспыхивающие огни
Озаряют волшебнo-ласковым светом
Ее цветущее лицо,
И нежные белые плечи,
Робко выглядывающие
Из-под грубой серой рубахи,
И маленькую заботливую ручку,
Поправляющую нижнюю юбочку
На стройных бедрах.

Но вдруг распахнулась дверь,
В дом входит ночной пришелец,
Влюбленными глазами
Он глядит на прекрасную девушку,
Стоящую перед ним
Подобно испуганной лилии,
И сбрасывает плащ на пол,
И смеется, и говорит:
«Дитя, ты видишь, я держу слово
И прихожу, и со мной приходит

Старое время, когда боги с небес
Опускались к дочерям человеческим,
Обнимали дочерей человеческих,
И они зачинали
Скиптроносных царей
И героев, изумлявших мир.
Но, дитя, удивляться не следует долго
Моему божеству.
Я прошу: завари-ка мне чаю, дай рому,
Потому что на улице холодно,
А в холодные ночи
Мерзнем и мы, бессмертные боги,
И нам легко схватить божественный насморк
И бессмертный кашель».

5

ПОСЕЙДОН

Солнечные лучи играли
Над морем, катящим волны.
Далеко на рейде блестел корабль,
Готовый увести меня на родину.
Но ждали доброго попутного ветра;
И я спокойно сидел на белом песке
На пустом берегу.
Я читал песнь об Одиссее,
Старую, вечно молодую песнь.
С ее морешумящих страниц
Ко мне поднималось, ликуя,
Дыханье богов,
И светозарная весна человечества,
И цветущее небо Эллады.

Благородное сердце мое
Шло в скитаньях за сыном Лаэрта,
Вместе с ним оно приходило
К гостеприимному очагу,
Где ткали царицы пурпур.
Оно было с ним, когда он лгал и когда он спасался

Из пещер великанов и объятий нимф,
Оно шло за ним в киммерийскую ночь,
Шло в бурю, терпело кораблекрушение,
И горькие беды вышло вместе с ним.

Вздыхнув, я воскликнул: «Ты зол, Посейдон,
Ужасен твой гнев,
И сам я боюсь и не знаю,
Вернусь ли домой».

Только я вымолвил слово,
Вспенилось море,
На белых волнах поднялась
Обвитая камышом голова бога морей,
И он, усмехаясь, сказал:

«Ты не робей, виршеплет,
Я не намерен тревожить
Твой бедный кораблик
И слишком жестокой качкой тебя не заставлю
За жизнь свою опасаться.
Ведь ты, виршеплет, меня не гневишь,
Не тронул ты ни единой башни
В священном граде Приама,
Не опалил ни единой ресницы
Сыну моему Полифему,
Никогда советами тебя не спасала
Богиня мудрости Афина-Паллада».

Так сказал Посейдон
И опять погрузился в море,
И грубой боцманской шутке
Рассмеялись под водой
Амфитрита, толстая торговка рыбой,
И глухие дочери Нерея.

6

ПРИЗНАНИЕ

В сумраке начинался вечер,
Неистовой шумел прилив,
Я сидел у моря и следил
За белыми плясками волн.

А душа моя трепетала, как море.
Глубокая мной овладела тоска
По тебе, светлый лик.
Ты везде озаряешь меня,
Везде окликаешь меня,
Ты везде, ты везде —
В завывании ветра, в колыпании моря
И в моих собственных рыданиях.

Тростинкой написал я на песке:
«Агнесса, я люблю тебя!»
Но злые волны залили
Нежное признание
И смыли его.

Разламывающийся тростник, рассыпающийся
песок,
Растекающиеся волны, я больше не верю вам!
Темнеет небо, разгорается мое сердце.
И я вырываю сильной рукой из норвежских
лесов

Самую высокую ель,
Окунаю ее
В горло пылающей Этны, и этим,
Огнем напоенным, огромным пером
Я пишу на темном небосводе:
«Агнесса, я люблю тебя!»

Каждую ночь будут пламенеть
Там, наверху, огненные письма,
И поколения внуков и правнуков
Будут радоваться, читая небесные слова:
«Агнесса, я люблю тебя!»

7

НОЧЬЮ В КАЮТЕ

У моря есть свой жемчуг,
У неба есть свои звезды,
Но у сердца, моего сердца,
У сердца есть любовь.

Огромны и море и небо,
Но сердце мое — еще больше,
И лучше, чем жемчуг и звезды,
Сияет и светит любовь.

Иди ко мне, малютка,
Прижмись к огромному сердцу,
Мое сердце, и море, и небо
Одной любовью полны.

* * *

К голубому небосводу,
Где поблескивают звезды,
Я хочу припасть устами,
И расплакаться, и плакать.

Эти звезды — это очи
Девушки моей любимой,
Их мерцание — улыбка
С голубого небосвода.

К голубому небосводу
И к очам моей любимой
Я тяну смиренно руки,
И прошу, и умоляю.

Милый взор! Ну, сделай милость,
Сердце бедное порадуй —
Дай мне смерть, дай обрести мне
И тебя и твоё небо.

* * *

Падая из глаз небесных,
Искры полночь озаряют,
И душа моя все шире,
Все огромней, все безмерней.

О, пускай из глаз небесных
В душу мне струятся слезы,
Чтобы этими слезами
Переполнилась душа.

* * *

Убаюканный волнами
И мечтами золотыми,
Тихо я лежу в каюте,
В темном уголке, на койке.

Вижу через люк открытый,
Как вверху сияют звезды —
Милые, родные очи
Девушки моей любимой.

Милые, родные очи,
Надо мной они не дремлют,
И мерцают, и мигают
С голубого небосвода.

С голубого небосвода
Не свожу я глаз часами,
Счастлив я, но очи милой
Скрыла пелена тумана.

* * *

О дощатый борт корабля,
На который, замечтавшись, я голову склонил,
Разбиваются волны, дикие волны.
Они шумят, и бормочут,
И таинственно шепчут мне на ухо:
«Ты глухой малый,
Руки короткие, а небо далеко,
И звезды крепко прибиты к нему
Золотыми гвоздями.
Страданья напрасны, вздохи напрасны,
Всего бы лучше тебе заснуть».

* * *

Приснилась мне далекая равнина,
Покрытая пушистым белым снегом;
И я лежал, под снегом погребенный,
И крепко спал холодным, смертным сном.

Но сверху, с неба темного, смотрели
Вниз, на мою могилу, звезды-очи.
Твои глаза! В них отблеск торжества,
Они спокойны, но полны любовью.

8

БУРЯ

Безумствует буря!
Бичует волны!
И волны, озлобленные, неистовые,
Лезут упрямо вверх, и, точно живые,
Качаются белые горы воды.
Кораблик с трудом
Влезает на них,
Чтобы внезапно сорваться
В черную бездну моря.

О море!
Мать красоты, рожденной из пены,
Праматерь любви, пощади меня!
Уже кружит, почуяв мертвое тело,
Как привидение белая чайка,
И клюв уже точит о мачту,
И жаждет добраться до сердца,
Которое дочь твою славит,
Которое внук твой, шалун,
Избрал игрушкой своей.

Напрасны моления и просьбы!
Мой крик умирает в грохочущей буре,
В ревущих ветрах.
Клокочет и воет, свистит и трещит,
Как в сумасшедшем доме звуков.
И вняты мне среди них
Призывные звуки арфы,
Ее рыдания.
Томят они душу, рвут они душу,
Но голос я узнаю.

Далеко, у шотландских скал,
Встал над бунтующим морем
Маленький серый замок.
Там стоит у стрельчатого окна
Прекрасная больная женщина.
Нежна как призрак и бледна как мрамор,
Она поет, играя на арфе,
И ветер треплет ее длинные волосы
И разносит сумрачную песню
Над огромным клокочущим морем.

9

ШТИЛЬ

Полный штиль! Сияет солнце,
На воду лучи бросая,
И корабль в алмазных блестках
Оставляет след зеленый.

У штурвала старый боцман
Мирно спит, на брюхе лежа,
Возле мачты чинит парус
Перемазавшийся юнга.

На щеках, сквозь грязь, румянец
Проступил, от страха губы
Вздрагивают, и тоскливо
Смотрят вниз глаза большие.

Капитан над ним бушует,
Бесится, бранится: «Жулик,
Жулик, ты вчера селедку
У меня украл из бочки!»

Полный штиль! Со дна морского
Умная всплывает рыбка,
Греет голову на солнце,
Весело хвостом играет.

Но серебряная чайка
Камнем падает на рыбку
И, держа добычу в клюве,
Исчезает в синеве.

МОРСКОЕ ВИДЕНИЕ

А я лежал у самого борта
И мечтательными глазами смотрел
Вниз, в зеркально прозрачную воду.
Мой взор уходил все глубже и глубже,
На самое дно морское.
Сначала как бы в тумане,
Потом отчетливее и ярче
Поднимались башни, и купола церквей,
И, наконец, светлый, как солнце, огромный город,
Старый голландский город,
Богатый и многолюдный.
Степенные мужи, одетые в черное,
С белыми брыжами и почетными цепями,
С длинными шпагами и вытянутыми лицами,
Пробиваются сквозь шумную рыночную толпу
К парадной лестнице ратуши,
Где каменные статуи императоров
Стоят на страже со скипетром и мечом.
А неподалеку, по длинной улице,
Мимо зеркальных окон
И пирамидально подстриженных лип,
Шелестя шелками, гуляют девушки
В узких корсажах; черные шапочки
И выбивающиеся из-под них золотые волосы
Обрамляют цветущие лица.
Пестрые франты в испанских костюмах
Важно плывут, отдавая поклоны.
Пожилые дамы,
В самых скромных коричневых платьях,
Молитвенник держат и четки
И семят, торопясь,
К большому собору,
Подгоняемые колокольным звоном
И строгим гулом органа.

Меня самого колокольный звон
Томит и приводит в ужас!
Безмерное горе, глубокая грусть
Подкрадываются к сердцу,

К моему едва зажившему сердцу, —
Мне кажется, нежные губы
Целуют старые раны,
И льется сызнова кровь —
Горячие красные капли,
Которые медленно падают
На старый дом, там, внизу,
В глубоком подводном городе,
На старый, пустой и печальный
Дом с черепичной крышей,
Где у маленького окошка,
Подперев голову рукой,
Сидит девушка,
Бедное, заброшенное дитя.
Я знаю тебя, бедное, заброшенное дитя!

Так глубоко, так глубоко в море
Спряталась ты от меня,
Капризный ребенок.
И не можешь подняться наверх,
И, чужая, с чужими людьми
Остаешься навеки.
А я с удрученным сердцем
Ищу тебя везде,
Всегда ищу тебя.
Ты, вечно любимая,
Ты, давно потерянная,
Ты, наконец-то мной обретенная, —
Я нашел тебя и снова вижу
Прекрасное лицо,
Умные, преданные глаза
И родную улыбку.
Я не в силах расстаться с тобой
И теперь я иду к тебе,
Раскрываю тебе объятия
И бросаюсь к тебе на грудь.
Но капитан успеваает
Во-время схватить меня за ногу,
Он отгаскивает меня от борта
И, усмехнувшись, кричит:
«Да что вы, спятили, доктор?»

ОЧИЩЕНИЕ

Остаешься в морской глубине,
 Безумная мечта.
 Ты уже немало ночей
 Терзала мне сердце ложным счастьем
 И теперь, как морское виденье,
 Мне грозись среди белого дня.
 Остаешься там, в глубине, навеки,
 И я брошу туда заодно
 Все страдания мои и грехи,
 И дурацкий колпак с бубенцами,
 От которых звенело у меня в голове,
 И змеиную скользкую кожу
 Лицемерья,
 Мне так долго терзавшего душу,
 Больную душу,
 Бога забывшую, ангелов забывшую,
 Злосчастную душу.
 О-го, о-го-го! Крепчает ветер.
 Поднять паруса! Они заплескались
и вздулись.
 По гибельной гладкой зыби
 Несется корабль, —
 На свободе ликует душа.

МИР

Высоко в небе стояло солнце,
 Окруженное белыми облаками.
 На море было тихо,
 И я, размышляя, лежал у штурвала.
 Я размышлял, и — наполовину наяву,
 Наполовину во сне — я видел Христа,
 Спасителя мира.
 В легких белых одеждах,
 Огромный, он шел
 По земле и воде;
 Голова его уходила в небо,

А руки благословляли
Земли и воды;
Сердцем в его груди
Было солнце,
Красное, пылающее солнце,
И это красное, пылающее солнце-сердце
Лило вниз благодатные лучи
И нежный, ласковый свет,
Озаряя и согревая
Земли и воды.

Плыл торжественный звон,
И, казалось, лебеди в упряжи из роз
Тянули скользящий корабль,
Тянули к зеленому берегу,
Где в высоковозносящемся городе
Живут люди.

О, чудо покоя! Какой тихий город!
Не слышно глухого шума
Говорливых тяжелых ремесел,
И по тихо звенящим улицам
Бродят люди, одетые в белое,
С пальмовыми ветками в руках,
И, когда встречаются двое,
Глядят с сочувствием друг на друга,
И, трепеща от любви и сладкого
самоотречения,

Целуют друг друга,
И глядят вверх
На солнечное сердце спасителя,
Миротворно и радостно льющее вниз
Красную кровь,
И, трижды блаженные, восклицают:
«Хвала Иисусу Христу!»

О, если б такое ты выдумать мог,
Чего бы ты не дал за это,
Мой милый!
Ты, немощный плотью и духом
И сильный одной лишь верой,
Не мудрствуя, ты считаешь троицу
И по утрам лобызаешь крест,

И mopca, и ручку высокой твоей патронессы.
Святость твоя возвышает тебя. Сперва —
надворный советник,

Потом советник юстиции
И, наконец, правительственный советник
В богобоязненном городе,
Где песок, и где вера цветет,
И терпеливые воды священной Шпрее
Моют души и чай разбавляют.

О, если б такое ты выдумать мог,
Мой милый!
Ты занял бы лучшее место на рынке;
Глаза твои, сладкие и мигающие,
Являли бы только покорность и благодать;
И высокопоставленная особа,
Восхищенная и ублаженная,
Молясь, опускалась бы вместе с тобой на колени,
В ее глазах, излучающих счастье,
Ты читал бы к жалованью прибавку
В сотню талеров прусских
И, руки складывая, бормотал бы:
«Хвала Иисусу Христу!»

ЦИКЛ ВТОРОЙ

1

ПРИВЕТСТВИЕ МОРИЮ

Таласса! Таласса!
Приветствую тебя, вечное море!
Приветствую от чистого сердца
Десять тысяч раз,
Как некогда приветствовали
Десять тысяч сердец,
Невзгодотомимых, отчизновлекомых,
Прославленных греческих сердец.

Бушевали волны,
Бушевали, шумели,
Солнце спешило пролить
Веселые розовые лучи,

Стая испуганных чаек
Улетала, громко крича,
Ржали кони, стучали мечи,
И неслось, как победный клич:
Таласса! Таласса!

Приветствую тебя, вечное море!
Как язык моей родины, шелестит морская
вода,

Мои детские сны опять поднимаешь ты
На своих горбатых волнах,
И старая память мне рассказывает
Обо всех любимых игрушках,
Обо всех святочных подарках,
Обо всех коралловых деревьях,
Золотых рыбках, жемчугах и пестрых
ракушках,

Которые ты хранишь в тайниках
Внизу, в прозрачном хрустальном доме.

О, как я скучал в чужой холодной стране!
Увядшим цветком
В жестянке ботаника
Сердце лежало в груди.
Мне кажется, целую зиму больной
Пролежал я в темной больничной палате,
И вот я вышел оттуда,
И свет ослепляет меня,
И солнце весну изумрудную будит,
Деревья в цвету шумят надо мной,
Живые цветы глядят на меня
Своими яркими душистыми глазами,
Кругом всё жужжит и хохочет, дурманит
и дышит,

И птицы в небе поют голубом:
Таласса! Таласса!

Отважное и в отступлении сердце!
Часто, слишком часто
Теснили тебя дикие женщины севера.
Их большие победоносные глаза
Стреляли огнедышащими стрелами;
Кривыми саблями слов

Они рассекали мне грудь;
Клинопись их посланий
Была по моему бедному мозгу, —
Напрасно прикрывался я щитом, —
Стрелы свистели, удары звенели.
Дикие женщины севера
Прижали меня к морю, —
И, свободно вздохнув, я приветствую море,
Любимое, спасительное море,
Таласса! Таласса!

2

ГРОЗА

Над морем нависла гроза,
И сквозь черную стену туч,
Мгновенно вспыхивая и мгновенно исчезая,
Блещет изломанная молния,
Словно грозная шутка Крониона.
Над пустынным волнующимся морем
Далеко раскатывается гром,
И скачут белые кони — валы,
Рожденные от самого Борея
Прекрасными кобылицами Эрихтона;
И робкие чайки кружат,
Как над Стиксом тени умерших,
Хароном гонимые от полночной лады.

Бедный, забавный кораблик!
Он пляшет прескверный танец,
Эол шлет ему лучших своих оркестраптов.
Под их дикую музыку волны ведут хоролов.
Один из них дует, другой свистит,
А третий играет на гулких басах.
И стоит за штурвалом, качаясь, моряк
И глаз не сводит с компаса —
Дрожащей души корабля,
А руки тянет молитвенно к небу:
Спаси меня, Кастор, отважный герой,
И ты защити, кулачный боец Полидевк!

ПОСЛЕ КОРАБЛЕКРУШЕНИЯ

Надежда и любовь! Разбито все,
 И я, как мертвец,
 Со злобой выброшенный волнами,
 Лежу на берегу,
 На голом, пустом берегу.
 Предо мной — бесконечная водная пустыня,
 Позади меня — горе и беда,
 А надо мной — плывут облака,
 Серые, безликие дочери воздуха;
 Они черпают воду из моря
 Ведрами туманов,
 Тащат ее с трудом, и тащат,
 И опять выливают в море.
 Унылое, скучное занятие,
 Бессмысленное, как жизнь моя.

Волны рокочут, чайки вскрикивают,
 Меня обступают старые воспоминания,
 Забытые грезы, померкшие лики
 Мучительно близкими стали опять.

Живет на севере женщина,
 Прекрасная женщина, прекрасная,
 как парца.

Стан стройней кипариса
 Обвили белые сладострастные ткани;
 Темные волны кудрей,
 Подобно блаженной ночи,
 Струясь с увенчанной косами головы,
 Ласково обрамляют
 Прекрасное бледное лицо;
 И на прекрасном бледном лице
 Властно горят огромные глаза,
 Как черное солнце.

О черное солнце, как часто,
 Как чудесно ты поило меня
 Диким огнем вдохновенья,
 А я, опьяненный, стоял, шатаюсь, —

И кроткая, голубиная улыбка
Пробегала по надменным, гордым губам,
И надменные, гордые губы
Шептали слова слаще лунного света
И нежнее душистой розы;
И душа моя в небо взлетала
И парила выше орлов!

Молчите, волны и чайки!
Прошло это все — любовь и надежда,
Надежда и счастье, — лежу на земле я,
Человек, потерпевший крушение,
И горячим лицом прижимаюсь
К сырому песку.

4

ЗАКАТ СОЛНЦА

Прекрасное солнце
Спокойно опустилось в море.
Волнующиеся воды уже окрасила
Темная ночь.
Только вечерняя заря
Еще догорает золотыми огнями,
И шумящие силы прилива
Гонят к берегу белые волны,
А они весело бегут,
Как стадо тонкорунных овец,
Которое пастушок, распевая песенку,
Вечером гонит домой.

«Как прекрасно солнце!» —
Нарушив молчанье, сказал мне приятель,
Бродивший со мною у моря,
И полушутя, полусерьезно
Уверять меня стал он, что солнце —
Это прелестная женщина, против воли
выданная замуж
За старого бога морей;
Целый день по высокому небу
Она бродит, одетая в пурпур,

И алмазы сверкают на ней,
И все ее любят, и все почитают,
Все твари земные,
И все земные твари радуются
Свету и теплу ее лучей;
Но вечером
Нужно несчастной возвращаться
В свой влажный дом, в бессильные объятья
Седого супруга.

«Поверь мне, — добавил приятель мой,
Смеясь, и вздыхая, и снова смеясь, —
Это ведь самая нежная чета.
Когда они не спят, они бранятся
Так, что наверху пенится море,
И слышит моряк в шуме бьющихся волн,
Как ругает жену старик:
«Ты вселенская потаскушка,
Лучами блудящая.
Ты пылаешь целые дни для других,
А со мной по ночам ты как лед, ты устала!»
После головомойки такой
Солнце, конечно, рыдать начинает.
Гордое, проклиная жребий свой,
И клянет его, и клянет, покамест
Бог морей, отчаявшись, не выскочит из постели
И не выплывет на поверхность моря,
Чтобы свежего воздуха глотнуть.

Я сам его видел минувшей ночью.
Он высунулся из воды по пояс,
На нем была желтая фланелевая кофта
И белолилейный ночной колпак,
А лицо у него совсем увядшее».

5

ПЕСНЯ ОКЕАНИД

К вечеру море становится бледным,
И один, со своей одинокой душой,
Сидит на пустом берегу человек;
Он устремляет мертвый холодный взгляд
К мертвому, холодному небосводу,

Он глядит на огромное клокочущее море,
И над огромным клокочущим морем
Под парусами плывут его вздохи
И печально приходят обратно к нему.
Запертым оказалось сердце,
Где они приютиться хотели, —
И он так громко рыдает, что белые чайки
Покидают в страхе песчаные гнезда
И стаями кружат над ним;
А он им бросает насмешливые слова:

«Черноногие птицы,
На белых крыльях летящие через море,
Кривыми клювами пьющие морскую воду
И жрущие тухлое мясо тюленей,
Как ваша еда, горька ваша жизнь!
А я, счастливец, ем только сладости,
Отведал я сладкие запахи розы,
Соловьиной невесты, вскормленной лунным
светом,

Отведал я сладкие булочки
Со сладкими взбитыми сливками,
И самое сладкое я отведал —
Сладость любви и взаимности сладость.

Она меня любит, она меня любит,
прекрасная дева!
Сейчас она дома, сидит на балконе,
И в сумерках смотрит вниз на дорогу,
И ждет, и тоскует по мне — в самом деле!
Но нет никого, и, вздыхая,
Она выходит печальная в сад,
И бродит, дыша ароматом при свете луны,
И долго цветам говорит,
Как я, ее милый, любим
И как я достоин любви — в самом деле!
И после, в постели, во сне, в мечтах
Пред ней возникает мой лик драгоценный,
И даже утром за завтраком
На лоснящемся бутерброде
Она видит мое смеющееся лицо
И съедает его от любви — в самом деле!»

Хвастает он и хвастает,
А чайки громко кричат,
И хихикают, и смеются над ним.
Выплывают сумеречные туманы,
Желтая, как осенние листья, луна
Беспокойно глядит из-за фиолетовых облаков.
Шумя, поднимаются морские волны,
И из глубины шумящего моря,
Печальная, как лепет ветерка,
Доносится песня океанид,
Прекрасных, милосердных морских дев...
И слышен внятный ласковый голос
Среброногой супруги Пелея;
Вздыхают они и поют:

«Глупец, ты глупец, ты хвастливый глупец,
Тебя измучило горе,
Жестоко разбиты твои надежды —
Любимые дочери сердца,
И сердце твое, как Ниобея,
Окаменело от скорби!
Темно у тебя в голове,
И молнии безумья сверкают во мраке,
И хвастаешь ты от боли.
Глупец, ты глупец, ты хвастливый глупец,
Упрямый, как твой далекий предок,
Бесстрашный титан, который огонь
Украл у богов и отдал людям.
Прикован к скале, терзаемый коршуном,
Олимпу грозил он, грозил и стонал,
И мы его слышали в море глубоком
И песней спешили утешить его.
Глупец, ты глупец, ты хвастливый глупец,
Ведь ты же еще слабей,
И было бы лучше тебе почитать богов
И тяжесть страданья нести терпеливо,
Нести терпеливо и долго, так долго,
Пока не утратит терпенья Атлас
И мир тяжелый с плеч не стряхнет
В вечную почь».

Такую песню пели океаниды,
Прекрасные милосердные морские девы;

Когда их заглушили шумящие волны,
Месяц спрятался в облака,
Разверзлась пропасть ночи.
А я еще долго сидел в темноте и рыдал.

6

БОГИ ГРЕЦИИ

Полная луна! В твоих лучах,
Как жидкое золото, поблескивает море,
Как дневной свет, помраченный колдовством,
Ложатся они на далекое побережье,
И в беззвездном светлосинем небе
Плывут белые облака —
Огромные изваяния богов
Из прозрачного мрамора.

Нет, неправда. Это вовсе не облака.
Это сами они, это боги Эллады,
Которые прежде радостно правили миром,
Теперь же, забытые, мертвые,
Как страшные тени плывут
В полуночном небе.

Удивленный и ослепленный чудом,
Смотрю я на воздушный Пантеон,
На торжественные, молчаливые, страшные
Движущиеся фигуры великанов.
Вот он, Кросион, повелитель неба!
Голова его бела как снег,
Поседели славные кудри, Олимп сотрясавшие!
В руке у него — потухшая молния,
На лице — печаль и тоска,
Но еще видна былая гордость.
Бывали лучшие времена, о Зевес,
И отлично тебя развлекали
Мальчики, нимфы и гекатомбы;
Но ведь и боги правят не вечно,
Молодые оттесняют старых,
Как ты когда-то оттеснил старика отца
И своих родичей — титанов,

Юпитер-Отцеубийца!
Я узнал и тебя, гордая Юнопа!
Несмотря на весь твой ревнивый страх,
Другая скипетром овладела,
И на небе ты уж теперь не царица.
Большие глаза твои помутнели,
И силы не стало в лилейных руках.
Никогда уже месть твоя не достигнет
Ни от бога зачавшую деву,
Ни чудотворящего божьего сына.
Я узнал и тебя, Афина-Паллада!
Ни щит, ни мудрость твоя не смогли
Отсрочить гибель богов.
Я узнал и тебя, Афродита, —
Прежде золотая, ныне серебряная.
Хоть на тебе еще пояс прелестный,
Мне страшно глядеть на твою красоту.
Когда б осчастливить желало меня,
как многих героев,
Твое благодатное тело, — от ужаса умер бы я.
Богиней умерших явилась ты мне,
Венера Либитина!
Уже на тебя с любовью
Не смотрит ужасный Арес.
Юноша Феб-Аполлон
Грустит. Молчит его лира,
Звучавшая сладостно на пирах богов.
Еще печальней Гефест.
И впрямь, никогда хромоногий
Уже не заменит Гебу
И хлопотливо гостям не подаст
Любезный им нектар. Давно отзвучал
Неукротимый божественный смех.

Я никогда не любил вас, боги,
Потому что не люблю я греков,
И даже римляне мне ненавистны.
Но жалость святая и боль состраданья
Наполнили сердце,
Когда я увидел вас там, наверху,
Забывшие боги,
Ночные померкшие тени,

Ветром гонимый легкий туман.
Когда я вспоминаю, как трусливы и лживы
Вас победившие боги —
Власть захватившие ныне, унылые боги,
Злорадные боги в смиренных овечьих
шкурах, —

Я сдержать не могу угрюмую злобу,
Я готов разрушить новые храмы
И бороться за вас, за старых богов,
И за ваши добрые амбросиальные права.
Перед вашими алтарями,
Восстановленными и окутанными дымом жертв,
Я сам готов упасть на колени
И молитвенно руки сложить.

Старые боги, вы всегда,
В битвы людские вступая,
Были с теми, кто побеждал,
Но человек великодушнее вас,
И если теперь сражаются боги,
Я на стороне побежденных богов.

* * *

Я говорил, — а наверху постепенно атели
Бледные лики облаков,
Они глядели на меня печально,
Как умирающие, — и вдруг исчезли.
Луна скрылась тотчас же
За темной грядой туч.
Высоко поднялось море,
И в небе победоносно зажглись
Вечные звезды.

7

ВОПРОСЫ

У моря, у ночного пустынного моря
Стоит юноша
С сердцем, полным тоски, с головой,
полной сомнений,
И угрюмо вопрошает волны.

«О, разрешите загадку жизни,
Старую трудную загадку,
Над которой уже многие ломали головы —
Головы в иероглифических колпаках,
Головы в тюрбанах и черных беретах,
Головы в париках и всякие другие
Бедные, обливающиеся потом людские головы.
Скажите, что такое человек?
Откуда он пришел? Куда он идет?
Кто там живет, наверху, на золотых звездах?»

Волны бормочут, как всегда они бормотали,
Волнуется ветер, плывут облака,
Равнодушно сияют холодные звезды,
И дурак ждет, когда же ему ответят.

8

ФЕНИКС

С запада к нам прилетает птица,
Она летит на восток,
К себе на цветущую родину,
Где растут и благоухают пряности,
Шумят пальмы и веют прохладой колодцы.
Волшебная птица летит и поет:

«Она любит его! Она любит его!
Она носит его в своем маленьком сердце,
Она тайно лелеет его
И об этом не знает сама.
Но во сне он встает перед ней,
И она его просит, и плачет, и руки целует ему,
И твердит его имя,
И, проснувшись от крика, шелохнуться боится,
И, себе удивляясь, глаза протирает.
Она любит его! Она любит его!»

* * *

На палубе, к мачте спиной прислонясь,
Я стоял и слушал пение птицы.
Как черно-зеленые кони с серебряными гривами,
Катились курчавые белые волны,

Как вереница лебедей, проплыли мимо
Развернутые паруса гельголандцев —
Кочевников Северного моря!
Надо мной в бесконечной синеве
Трепетали белые облака
И сияло вечное солнце —
Роза небес, пылающая пламенем,
Которое радостно отражается в море.
И небо, и море, и мое собственное сердце
Повторяли, как эхо:
«Она любит его! Она любит его!»

9

В ГАВАНИ

Счастлив моряк, достигший гавани,
Оставивший позади море и бури
И ныне мирно сидящий в тепле,
В винном погребе бременской ратуши.

Как все же уютно и мило
В стакане вина отражается мир!
И как лучезарно вливается микрокосм
В томимое жаждой сердце.
Все я вижу в стакане:
Историю древних и новых народов,
Турок и греков, Ганса и Гегеля,
Лимонные рощи и вахтпарады,
Берлин и Шильду, Тунис и Гамбург,
И, главное, вижу лицо моей милой,
Ангельский лик в золотом рейнвейне.

О, как хороша, как хороша ты, любимая!
Ты прекрасна, как роза,
Но не роза Ширази,
Возлюбленная соловья, воспетая Гафизом,
Но не роза Сарона,
Священнопурпурная, восхваленная пророком,
Ты — как роза винного погреба в Бремене,
Это роза из роз,
Чем старше она, тем пышнее,

Ее аромат небесный меня восхищает,
Меня вдохновляет, меня опьяняет, —
Не схвати меня за волосы хозяин
Винного погреба в Бремене,
Полетел бы я кувырком.

Славный малый! Сидели мы рядом
И пили как братья,
Рассуждали о самых высоких материях,
И вздыхали, и обнимали друг друга, —
Он возвратил меня к вере в любовь,
Я пил за здоровье злейших моих врагов,
Я всех ничтожных поэтов простил,
Как простят когда-нибудь меня самого,
Я плакал от умиления, — и, наконец,
Предо мною разверзлись райские врата,
Где двенадцать апостолов, двенадцать
огромных бочек,
Проповедуют молча, но вполне понятно
Для всех народов.

Вот настоящие люди!
На вид невзрачные, в дубовых камзолах,
Внутри они прекраснее и светлее,
Чем самые гордые левиты храма,
Чем царедворцы и телохранители Ирода,
Одетые в пурпур и украшенные золотом.
Ведь я же всегда говорил:
Не среди заурядных людей,
А в самом избранном обществе
Пребывает небесный владыка.

Аллилуйя! Как нежно меня обвевают
Вефильские пальмы,
Как ароматны мирты Хеврона,
Как шумит Иордан, колеблясь от радости,
И моя бессмертная душа колеблется,
И я колеблюсь, и меня, колеблясь,
По лестнице поднимает к дневному свету
Добрый хозяин винного погреба в Бремене.

О добрый хозяин винного погреба в Бремепе,
Ты видишь, на крышах домов сидят
И поют пьяные ангелы,
Солнце, пылающее там, наверху,
Это красный от пьянства нос,
Нос мирового духа,
И вокруг красного носа мирового духа
Вертится весь перепившийся мир.

10
ЭПИЛОГ

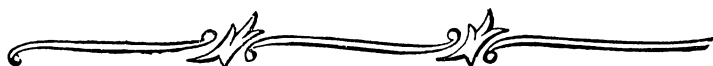
Как в поле колосья пшеницы,
Растут, наливаясь, в душе человека
Его мысли.

А нежные мысли любви
Цветут между ними, как веселые
Алые и голубые цветы.

Алые и голубые цветы!
Хмурый косарь не видит в вас проку,
Глумясь, молотит вас цеп деревянный,
И даже бездомный паломник,
Который, взглянув на вас, веселеет, —
Покачав головой,
Назовет вас красным бурьяном.

Но деревенская девушка,
Сплетающая венок,
Вас любит и собирает,
Чтобы вами убрать чудесные кудри,
И, нарядная, спешит туда, где танцуют,
Где флейты и скрипки поют про любовь,
Или торопится к тихому буку,
Где голос милого ей милее,
Чем флейты и скрипки.

**ДОПОЛНЕНИЯ
К «КНИГЕ ПЕСЕН»**



К «СТРАДАНИЯМ ЮНОСТИ»

ПЕСНИ

1

ЛЮБОВНЫЙ ПРИВЕТ

Красотой и чистотой
Ты блистаешь неземной,
Быть всю жизнь твоим слугой —
Нет мне радости иной.

Кроток взор лучистый твой,
Словно месяц в час ночной;
Алых щечек пышный зной —
Розы раннею весной.

И жемчужной белизной
Блещет ротик дорогой!
Но алмаз чистейший твой —
Он сокрыт в душе живой.

Я любовью святой
Воспылал с минуты той,
Как увиделся с тобой,
Чудо-дева, ангел мой.

2

ЛЮБОВНАЯ ЖАЛОБА

Одинок, в укромной келье,
Я печаль таю от всех;

Мне неведомо веселье,
Я бегу людских утех.

В одиночестве покоя
Слезы катятся в тиши;
Но умеришь ли слезою
Жар пылающей души!

Отрок резвый, я, бывало,
Отдавал игре досуг,
Сердце горести не знало,
И смеялась жизнь вокруг.

Ибо мир был пестрым садом,
И блуждал я там один,
Обводя любовным взглядом
Розы, ландыш и жасмин.

Волны кроткие свободно
По лугам катил родник;
А теперь на глади водной
Чей-то бледный вижу лик.

Стал я бледен в день, как с нею
Повстречался страстный взор;
Тайной болью я болею,
Дивно, дивно мне с тех пор.

В сердце райские святыни
Я лелеял много дней,
Но они взлетели ныне
К звездной родине своей.

Взор окутан мглой туманной,
Тени встали впереди,
И какой-то голос странный
Тайно жив в моей груди.

Болью странной, незнакомой
Я объят, во власти чар,
И безжалостной истомой
Жжет, палит меня пожар.

Но тому, что я сгораю,
Что кипит немолчно кровь,
Что, скорбя, я умираю, —
Ты виной тому, любовь!

3

ТОМЛЕНИЕ

Куда ни посмотришь — под липой, в тени,
С подружкой паренек;
А я-то — господь, спаси, сохрани! —
Один как перст, одиночек.

Увижу таких вот счастливых двоих —
И тоской сжимается грудь:
И я ведь любимой моей жених,
Да только не близкий к ней путь.

Терпел я разлуку как только мог,
Но больше не в силах ждать.
Я вырежу трость, увяжу узелок,
Отправлюсь по свету блуждать.

Пройдет в пути и день и другой,
И город увижу я вдруг;
Стоит он в устье, над рекой,
Три грозных башни вокруг.

Вот тут-то конец тревоге моей,
Настанут светлые дни;
Вот тут-то бродить мне с подружкой, с ней,
Под липами, в тени.

4

БЕЛЫЙ ЦВЕТОК

В саду отцовском укрыт в тени
Унылый, бледный цветок;
Минули снежные зимние дни —
Все так же бледен цветок.
Глядит он и весной
Невестою больной.

Мне шепчет бледный цветочек вслед:
«Сорви меня, милый брат!»
И я цветку отвечаю: «Нет.
Не ты приковал мой взгляд;
Меня гнетет тоска
Без алого цветка».

И молвит бледный цветочек: «Что ж,
И смерть недалеко;
До самой смерти не найдешь
Ты алого цветка.
Меня сорви, о друг,
Ведь в нас один недуг».

Так шепчет бледный цветок, и я
Срываю робко его.
И разом светлеет душа моя,
Рассеялось колдовство.
На обреченного страдать
Нисходит благодать.

5

ЧАЯНИЕ

В высоте, где звезды светят,
Нас приветно радость встретит,
Здесь, внизу, ей места нет.

В жизнь тепло вдохнут впервые
Смерти руки ледяные;
Только ночь рождает свет.

РОМАНЫ

1

ОБЕТ

Одинок, в лесной часовне,
Перед образом пречистой
Распростерся бледный отрок,
Преисполненный смиренья.

«О мадонна! Дай мне вечно
Быть коленопреклоненным,
Не гони меня обратно —
В мир холодный и греховный.

О мадонна! Лучезарны
Эти солнечные пряди,
И цветут улыбкой кроткой
Розы уст твоих священных.

О мадонна! Эти очи
Святят людям, словно звезды;
Их сиянье правит ходом
Заблудившегося судна.

О мадонна! Не колеблясь,
Нес я бремя испытаний,
Лишь любви священной веря,
Лишь твоим огнем пылая.

О мадонна! Ты, источник
Всех чудес, внемли мне ныне,
Дай мне знак благоволенья,
Только легкий знак подай мне!»

И дивное чудо мгновенно свершилось,
Лесная часовня исчезла, сокрылась,
И отрок в смущении: разом, вдруг
Преобразилось все вокруг.

В чертоге пышном пред ним мадонна;
Сияния нет, но лицо благосклонно:
Чудесною девушкой стала она,
Улыбка по-детски чиста и ясна.

Глядит на него и по-детски смеется,
И с прядью светлых волос расстается,
И словно с неба звучит голосок:
«Вот высшей награды земной залог!»

И — порука в светлом чуде! —
Многоцветно засверкали

В небе полосы, и люди
Это радугой назвали.

Слышны ангельские хоры,
Шелест крыльев белоснежных;
И полны небес просторы
Благозвучьем гимнов нежных.

И, гармонии внимая,
Он постиг свое томленье:
Где-то там страна иная —
Мирта вечного цветенья!

2

СЕРЕНАДА МАВРА

В сердце дремлющей Зюлеймы
Пусть слеза моя прольется,
И тогда оно к Абдулле
Страстью трепетной забьется.

Слуха дремлющей Зюлеймы
Вздохи пусть мои коснутся,
И в своих мечтах и грезах
Пусть она Абдуллу вспомнит.

Ручку дремлющей Зюлеймы
Ороси, поток пурпурный, —
Пусть окрасится Абдуллы
Кровью, алою и бурной.

Ах, страданье молчаливо,
И язык его туманен —
Только слезы, вздохи, кровь,
Кровь того, кто насмерть ранен!

**СОНЕТЫ
И ДРУГИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ**

1

ВЕНОК СОНЕТОВ А.-В. ШЛЕГЕЛЮ

I

Гнуснейший червь — сомнения укоры,
Гнуснейший яд — в свои не верить силы:
Я их познал, был на краю могилы, —
Росток, лишенный дружеской опоры.

И ты к нему склонил с участием взоры.
И вокруг тебя росток обвился хилый;
И если он воспрянет, легкокрылый,
То ты — пособник, благодный и скорый.

И, может быть, со временем аллеи
Украсит он в саду чудесной феи,
Той, что тебя избранием почтила.

Про этот сад мне нянька говорила:
И там для слуха все — очарованье,
И песнь цветов, и веток лепетанье.

II

Ты своему не верил достоянью:
Хоть рейнская тебя манила сага;
Ты смело рвал цветы в долине Таго
И Темзу облагал чудесной данью.

Служила Сена славе и стяжанью,
Суровый Тибр твои умножил блага;
Ты знал и Ганг, влекла тебя отвага
К святыне Браммы дерзостною дланью.

О ненасытный, есть всему граница,
Пришла пора богатством насладиться;
Так не копи, а расточай отныне.

Сокровищами, добытыми с юга
И с севера, ты осчастливишь друга,
Ученика, наследника святыни.

2

ГОФРАТУ ГЕОРГУ С. В ГЕТТИНГЕНЕ

Осанка величаво-благородна,
Но кроткое хранишь ты выраженье,
Глаза горят, все мышцы в напряженье,
Но речь течет спокойно и свободно.

Твой голос нам вещает о пародной
Истории, о мудром устремленье
Правительств, о развитии и дробленье
Германии, о связи стран природной.

Таким тебя я в мыслях сохранил!
В наш век самовлюбленного уродства
Отраден вид такого благородства.

И то, о чем со мной ты говорил
Наедине, отечески сердечно,
В моей душе храниться будет вечно.

3

Ж.-Б. Р.

Открыта грудь для дружеского слова,
Разверзлось сердце, рухнула преграда;
Опять со мной волшебная услада,
Я родину как будто вижу снова.

Катятся волны Рейна голубого,
В них замков отражается громада,
И никнут долу гроздья винограда,
Созревшего и солнцем налитого.

К тебе, к тебе, что предан мне доньше
И льнет ко мне доньше так, как льнет
Зеленый плющ к источенной руине!

К тебе, к тебе — отдаться тихим думам
Под песнь твою, и пусть в кустах поет
Малиновка и Рейн катится с шумом.

ФРЕСКО-СОНЕТ ХРИСТИАНУ 3.

Мир для меня был пыткой сплошною
 В застенке, где ногами вверх висело
 Мое вконец истерзанное тело,
 Зажатое колодою стальною.

Из губ запекшихся шла кровь струею,
 И я вопил — в мозгу моем кипело;
 И девушка, что мимо шла, умело,
 Уколом в сердце, кончила со мною.

И вот глядит, как дрожью сводит члены,
 Как на губах вскипают клочья пены,
 Как высунут язык, тугой и липкий;

И слушает, как кровь из рапы хлещет,
 Как сердце, в муке, все еще трепещет, —
 И так стоит, с холодною улыбкой.

НОЧЬ НА ДРАХЕНФЕЛЬЗЕ

Фрицу ф. Б.

В полночный час до замка мы добрались,
 И развели костер у цитадели,
 Уселись тесным кругом и запели,
 И в песне той победы вспоминались.

В честь родины вином мы упивались,
 И призрак мы на башне подсмотрели;
 В потемках латы рыцарей блестели,
 И тени женские вокруг метались.

Стонали камни, дики и суровы,
 И ухали неистовые совы,
 И ветер яростный в бойницах бился.

Так вот, мой друг! Я был на Драхенфельзе
 И ночь провел там, но продрог донельзя
 И с насморком и кашлем возвратился.

ФРИЦУ ШТ. В АЛЬБОМ

Раздолье злу, а доброму — препоны,
 Не мирт в цене, а ствол осины тощей,
 Что по ветру листву свою полощет,
 Не жар в цене, а треск неугомонный.

И тщетно ты возделываешь склоны
 Парнасские, растишь цветы и рощи;
 Коль не поймешь, что дело много проще,
 Везде и всюду ждут тебя уроны.

Готовясь в бой, точи, приятель, зубы,
 Труби вовсю в критические трубы,
 Глади кругом внимательно и зорко.

Пиши не для потомства, а для черни.
 Побольше треска! — и избежнешь терний,
 И будет обожать тебя галерка.

ФРАНЦУ ф. Ц.

На север я мчусь, за звездой золотой;
 Прости, обо мне вспоминай порой!
 Не расторгая с лирой уз,
 Храни с ней сладостный союз!
 Храни в груди, как заветный клад,
 То, чем родной язык богат.
 И, к северным мрачным подплыв берегам,
 Внемли прибрежным морским голосам;
 Услышишь далекий, далекий звон,
 Парящий поверх величавых волн.
 И, может статься, уловишь ты вдруг
 Знакомого голоса дальний звук.
 Тогда и ты ударь по струнам,
 И слух мой улади ты сам:
 Скажи, как сложилась судьба твоя
 И живы ли милые друзья;
 И также о той поведай, певец,
 Что столько юных пленила сердец
 И столько огня заронила в них,

Цветущая роза у вод голубых!
О родине также поведай мне —
Цветет ли верность в моей стране,
И жив ли немецкий старый бог,
И так же ль народ в благочестье строг.
Пусть сладостно песня твоя прозвучит,
Пусть ветер ее по волнам домчит
Ко мне, побережьем северных вод, —
И радостью сердце певца всколыхнет.

8

УРОК

Пчелке твердила мать:
«К свечке нельзя летать!»
Только ее урок
Юной пчеле не впрок.

Носится вокруг огня,
Гулко жужжа, звеня;
Мать ей кричит вослед:
«Пчелка, опасен свет!»

Кровь, молодая кровь...
Вновь бы кружить и вновь;
Ярок свечи огонь, —
«Пчелка, крылом не тронь!»

Вспыхнул огня язык,
Пчелка сгорела вмиг, —
Это тебе урок:
Бойся любви, сынок!

9

СОН И ЖИЗНЬ

Пылало сердце, звенела весна,
Печальный, угрюмый, бродил я без сна.
И в теплую полночь случайно забрел
К расцветшей розе, в таинственный дол.

И к ней подошел я в безмолвной тоске —
Катилась тихо слеза по щеке, —

И я заглянул в раскрытый цветок,
Там что-то светилось, мерцал огонек.

И ласковый сон, шаловливо дразня,
Близ розы тотчас убаюкал меня.
И юную девушку я увидал, —
Вкруг девушки розовый флер трепетал.

И что-то чудесное, все в золотом,
Она мне дала и ввела меня в дом.
А дом золотой, разукрашенный зал,
Там странный и юркий народец плясал.

Двенадцать нарядных танцоров гуськом
В размерешом танце вертелись кругом.
Чуть кончится танец — начнется другой,
И столько же длится, и точно такой.

А музыка пела, все пела одно:
«Нам только на миг блаженство дано.
И жизнь твоя — сон, и счастье — сон,
И этот миг — во сне твоём сон».

Но сон мой растаял, почувяв зарю.
Раскрыл я глаза и на розу смотрю,
И что ж — погасла искорка вдруг,
И в розе сидит холодный паук.

10

К НЕЙ

Цветы с окраской алою и бледной,
Из крови ран возникшие для света,
Собрал я в вязь единого букета
И приношу красе твоей победной.

Прими же песнь, что чистым сердцем спета;
Да не пребудет жизнь моя бесследной!
Я знак любви тебе оставил бедный, —
Когда умру, не забывай поэта!

Но не скорби, о мертвом вспоминая:
И в самой боли счастлив был мой жребий —
Тебя носил я в сердце, дорогая.

И высшему дано свершиться чуду:
Бесплотный дух, любить тебя на небе
И твой покой хранить я свято буду.

К «ЛИРИЧЕСКОМУ ИНТЕРМЕЦЦО»

1

К устам моим устами
Прильни, подруга, тесней!
Меня руками, ногами
И телом гибким обвей.

* * *

Так с силою неземною
Охвачен, обвит, пленен
Прекраснейшей в мире змею
Блаженнейший Лаокоон.

2

Не верю я в небо,
Ни в новый, ни в ветхий завет.
Я только в глаза твои верю,
В них мой небесный свет.

Не верю я в господу бога,
Ни в ветхий, ни в новый завет.
Я в сердце твое лишь верю,
Иного бога нет.

Не верю я в духа злого,
В геенну и муки ее.
Я только в глаза твои верю,
В злое сердце твое.

3

Звезды, с неба протяните
Золотые к милой нити;
Бледный, горестный поэт
Верен ей и шлет привет.

4

Кто память у сердца отнимет
О том, как была хороша
Ты в дни, когда были моими
И тело твое и душа?

О, если б и впредь твое тело
Лежало в объятьях моих!
А душу зарыть можешь смело,
Нам хватит моей на двоих.

Тебе я души половину
Отдам, когда будем вдвоем,
И тело с душой воедино
Мы, крепко обнявшись, сольем.

5

Узы дружбы, пыл сердечный,
Философский камень вечный —
Я их славил, как и вы,
Но сыскать не мог, увы!

**К ЦИКЛУ
«О П Я Т Ь Н А Р О Д Н Е»**

1

В облаках лежит луна
Исполинским померанцем;
Золотая полоса
В сером море блещет глящем.

Я один на берегу,
Где прибоя плеск седого,
Слышу много нежных слов,
Нежных слов со дна морского.

Слишком долго длится ночь,
Быть безмолвным сердцу трудно.
Никсы! Вас зову помочь
Пляской дружной, песней чудной.

К вам прильну я головой,
Вашим буду я всецело,
Нежьте до смерти меня,
Выцелуйте жизнь из тела.

2

В серый плащ укрылись боги,
Спят, ленивцы, непробудно
И храпят, и дела нет им,
Что швыряет буря судно.

А ведь, правда, будет буря, —
Вот скорлупке нашей горе!
Не взнуздаешь этот ветер,
Не удержишь это море!

Ну и пусть рычит и воеет,
Пусть ревет хоть всю дорогу.
Завернусь я в плащ мой верный
И усну, подобно богу.

3

«Позвольте, барышня, к Вам на грудь
 Мне, музы больному сыну,
 Склониться тихо и там уснуть
 На Вашей груди лебединой!» —
 «Как это, сударь, Вы посмели
 Сказать так в обществе, в самом деле?»

4

Равнодушие и вялость
 У тебя давно в чести,
 А любовь моя пыталась
 По горам тебя вести.

Гладкий путь тебе был нужен,
 И ведь ты его нашла:
 Видел я — под ручку с мужем
 Ты беременная шла.

5

Ты губы, целуя, ранила мне,
 Так ты их целуй опять,
 И если к ночи не кончишь вполне, —
 Не к спеху, я буду ждать.
 Тебе дана еще целая ночь,
 Любимая, можешь ласкать.
 Так много можно за целую ночь
 Блаженствовать и целовать.

6

Когда ты раскрыла объятия — о боги! —
 Душа моя к небу рванулась, ликуя.
 Ее отпустив без особой тревоги,
 Тем временем пил я нектар поцелуя.

7

Лгут уста, но ложь понятна,
И лобзанья как дурман!
Ах, обманывать приятно,
Слаще — веровать в обман!

Пусть ты в руки не даешься,
Знаю я, чего добыюсь;
Верю, если ты клянешься,
Сам, поверив, поклянусь.

8

Я был рад умерить малость
Страсть греховную свою,
Но когда не удавалось,
Я был счастлив, как в раю.

9

Меня ты, крошка, не конфузь
Поклонами на променаде;

Вот дома, там я не боюсь, —
С тобой мы там поладим.

10

Ты красива, ты богата,
Ты хозяйственна притом.
В лучшем виде хлев и погреб,
В лучшем виде двор и дом.

Сад подчищен и подстрижен,
Всюду польза и доход.
Прошлогодня солома
У тебя в постель идет.

Но увы, ни губ, ни сердца
Все ты к делу не приткнешь,
И кровати половина
Пропадает ни за грош.

К «ПУТЕШЕСТВИЮ ПО ГАРЦУ»

Грезы старые, проснитесь!
Вздогни, сердце, растворись!
Песни счастья, слезы грусти
Дивным строем полились.

Я хочу пройти меж елей,
Где ключом шумит вода,
Бродят гордые олени,
Раздается песнь дрозда.

Я хочу подняться в горы,
На отвесные скалы,
Где развалины седые
Спят в тенях рассветной мглы.

Тихо сяду, вспоминая
О красе былых времен,
О былой и громкой славе
Отошедших в мрак племен.

Поросла травую площадь
Там, где в бой вступал храбрец,
Добывавший на турнире
Победителя венец.

Плющ обвился вокруг балкона
Там, где первая из дам
Повергала нежным взором
Победителя к ногам.

Ах! Обоих победивших
Смерть с лица земли смела,
Рыцарь с острою косою
Всех нас выбьет из седла.

Эта качка, кружение и тряска
Невыносимы.
Напрасно ищу я глазами
Немецкий берег. Увы! Одна лишь вода,
Повсюду вода, бушующая вода.

Как зимней ночью путник тоскует
По теплой приветливой чашке чаю,
Тоскует сердце мое по тебе,
Моя немецкая родина.
Пусть вечно плодит твоя добрая почва
Безумцев, гусаров, плохие стихи
И пустыньские трактатики,
Пусть вечно зебры твои
Питаются розами вместо чертополоха,
Пусть вечно твои родовитые обезьяны
Рядятся в шелка, раздуваясь от спеси,
И сами себе пусть кажутся лучше
Всех остальных терпеливых скотов.
Пусть вечно твои улитки
Думают, что останутся бессмертными,
Если будут двигаться медленно,
Пусть большинством голосов решают они,
Считать ли сырных червей за сыр.
Пусть обсуждают вечно,
Как благородства прибавить египетским овцам,
Чтобы улучшить их шерсть
И стричь, как стригут остальных,
Всех без различья.
Пусть вечно глупость и произвол
Тебя затопят, Германия.

Я все равно по тебе тоскую,
По крайней мере ты — твердая почва.

ТРАГЕДИИ



АЛЬМАНЗОР

Не думайте, что слишком фантастична
Та песнь, что предлагаю вам с приветом!
В ней эпос есть, она и драматична,
И лирика цветет в ней нежным цветом;
Романтика по форме здесь пластична,
А в целом все воссоздано поэтом.
С Христом ислам боролся, Север с Югом,
Пришла любовь, и с ней конец недугам.

Внутренние покои старого, опустелого мавританского замка.
В боковые окна падают лучи заходящего солнца.

А л ь м а н з о р, один.

А л ь м а н з о р

Все тот же он, любимый старый зал,
Ковер давно знакомый, пестротканый,
Следы отцов священные хранящий!
Но червь гнездится в шелковых цветах,
Как будто он с испанцами в союзе.
Все тот же он, ксении старинных ряд,
Жилища гордых гордая опора!
Как часто мальчиком я к ним склонялся!
О, если б наши Гомелы, Гансулы,
Абенсераги, Сегров род надменный
Такою же надеждой были трону,
Опорою в Альхамбре лучезарной!
Все так же стены старые стоят,
Блестящие, расписанные стены,
Что путникам усталым кров давали!

Хранят они свое гостеприимство,
Но гости их — лишь филины да совы.

(Подходит к окну.)

Молчание! Лишь ты мне внемлешь, солнце,
Последний луч участливо ты плешь мне
И озаряешь в сумерках мой путь!
Услышь мой признательности зов:
Беги и ты на берег мавританский,
К приветливым Аравии полям. —
О, бойся Фердинанда, слуг его,
Что поклялись враждою вечной свету;
О, бойся гордой допны Изабеллы,
Что мнит блистать в лучах своих брильянтов,
Одна средь всех, когда наступит ночь;
Оставь и ты Испании пределы,
Другое солнце в ней уж закатилось,
Родная, златоверхая Гренада!

(Отходит от окна.)

На сердце тяжело, словно придавил
Усталую, измученную грудь
Пылающий в лучах закатных шар.
Как пепел тело хрупкое мое;
Земля дрожит и из-под ног уходит.
Мне так уютно здесь и вместе страшно!
Тот ветерок, что освежил лицо,
Принес с собой привет забытых дней.
И в колыпании теней воздушных
Я узнаю, как прежде, сказки детства;
Они зовут, кивают мне с улыбкой
Приветливой, как бы дивясь тому,
Что старый друг так робок и так чужд им.
Вот милый образ матери покойной —
Она глядит в тревоге и слезах
И манит, манит белою рукою.
Вот и отец — сидит он на подушках,
Зеленых, бархатных, и тихо дремлет.

(Останавливается в задумчивости.)

Совсем стемнело. Видно, как в глубине проходит кто-то
с факелом в руках.

Но что за тень мелькнула там, вдали?
Иль призрак то, безумием рожденный?
Мне кажется, прошел старик Гассан?
Быть может, сам Гассан лежит в гробу,
И только дух его блуждает в замке,
Который он при жизни сторожил?
Я слышу шорох, шум глухой все ближе.
Как будто из могил восстали предки
Мне протянуть с приветом кости рук,
Облобызать холодными губами. —
Они идут, — сулит мне смерть привет ваш...

Несколько мавров бросаются к нему с обнаженными саблями.

Первый мавр

Да, смерть твоя близка!

А л ь м а н з о р (*обнажает меч*)

Так помоги,

Блестящий мой, чудесный амулет,
И защити от этих злобных духов!

Второй мавр

Как, незнакомец, в замок ты проник?

А л ь м а н з о р

Вопрос я возвращаю. Замок — мой,
Мой управитель...

(*указывает на меч*)

это подтвердит

На вашей шкуре красными рубцами.

Первый мавр

Э! Вступит с ним паш управитель в спор;
Не деревянный у него язык,
Заговорит он языком из стали.

Сражаются.

Эге! Твой управитель горячится
И рассыпает огненные искры.

А л ь м а н з о р

Молчи! В твоей крови он их потушит!

Т р е т и й м а в р

Конец игре! Сдавайся поскорей!

Г а с с а н (с факелом в левой руке, с саблею в правой, стремительно бросается к ним)

Ого! А старика-то позабыли?
Ведь я живу одной кровавой мезтью,
Он — мой по праву, я убью его.

(Сражается с обессиленным Альманзором, но в тот миг, когда хочет сразить его, различает при свете факела лицо Альманзора и, пораженный, бросается к его ногам.)

Аллах! Аллах! Альманзор бен-Абдулла!

А л ь м а н з о р

Да, это я, а ты — старик Гассан.
Встань, преданный слуга родного дома.
Нас ослепил тяжелый мрак ночной;
Отцовский дом могилой мог мне стать
И колыбель младенческая — гробом.

П е р в ы й м а в р

Берет и плащ надел ты, как испанец,
А наши сабли всем испанцам рады.

Г а с с а н (медленно поднимается и говорит строгим голосом)

Альманзор бен-Абдулла! Отвечай мне:
Зачем надел испанское ты платье?
Кто вздумал берберийского коня
В покров змеиный, пестрый обрядить?
Сбрось ядовитый облик, сын Абдуллы,
Топчи змею ногами, гордый конь!

А л ь м а н з о р (улыбаясь)

Все тот же ты, усердный мой Гассан,
Как встарь, наряда держишься и цвета.
Покров змеиный — мне от змей защита;
Ведь и ягненок робкий защищен,
Когда он в волчью шкуру облечется.

Я — мусульманин, несмотря на платье,
А свой тюрбан ношу с собою в сердце.

Г а с с а н

Хвала Аллаху! Милостив Аллах!
Ложитесь, братья, я на страже стану,
Помолодел опять старик Гассан.

Мавры уходят.

А л ь м а н з о р

Кто те, кого сейчас назвал ты «братья»?

Г а с с а н

Последние из тех, кто сохранил
Аллаху верность в нашей стороне.
Ах! Мало их, и с каждым днем все меньше,
И с каждым днем растет число неверных.

А л ь м а н з о р

Как низко пала ты, моя Гренада!

Г а с с а н

И как не пасть, коль враг двойной тревожит:
Внутри — раздоры, а извне — коварство.
Проклятье ночи той, что сочела
В один союз коварство и корысть!
Проклятье ночи той, когда решилась
В объятьях жарких гибель всей Гренады!
Проклятье ночи той, когда супругом
Стал Фердинанд кастильской Изабелле!
Коль их чета костер вражды зажжет,
То пламенем охвачен будет дом.
Не от копья отважного леонца
И не от гордой пики арагонской,
Не от меча дворян кастильских, нет, —
Лишь по своей вине Гренада пала!
Когда родитель душит в колыбели
Своих детей невинных, беззащитных,
И сын преступно подымает руку
На голову священную отца,
И всходит брат чрез труп родного брата

По ступеням кровавым на престол,
И сильные, забыв свой долг, бесчестно
Под знаменем скрываются враждебным, —
Тогда бегут, прикрыв стыдливо лица,
Те ангелы, что охраняли входы,
И с торжеством враги вступают в город.

А л ь м а н з о р

Мне памятен тот злополучный день;
Я у ворот стоял, когда внезапно
На вороном коне примчался всадник,
Со взором мутным, диким, чуть дыша,
Спросил отца; потом взбежал наверх
И пал отцу в раскрытые объятия.
Тут я узнал, что то был добрый Али...

Г а с с а н *(с горечью)*

Да, добрый Али!

А л ь м а н з о р

«Али, с чем пришел ты?» —
Спросил отец мой. Хлынули потоком
Из Али глаз мутнее крови слезы,
И он сказал, рыдая, что в Гренаду
Дон Фердинанд и донна Изабелла
При звуках труб торжественно вступили,
Что Боабдил на блюде золоченом
Ноднес ключи им, преклонив колени,
И на стенах Альхамбры водружен
Кастильский стяг и с ним Мендосы крест.

Г а с с а н *(прикрывая глаза)*

Аллах! Одной лишь милости прошу!
Дай мне забыть ужасную картину!

А л ь м а н з о р

Мне помнится еще, как эта весть
Громовая сковала языки.
Отец стоял педвижим, нем и бледен,
Безжизненные руки опустив;
Колени затряслись. Потом упал он.
Тут поднялся унылый женский вой.

Г а с с а н

Дай мне забыть ужасную картину!

А л ь м а н з о р

Меня привлек в объятия добрый Али,
Прикрыл рукою влажные глаза,
Чтоб от такого зрелища избавить,
Увел меня и поднял на коня.

Г а с с а н *(горько улыбаясь)*

И в замок свой увез тебя потом,
Где встретила тебя твоя Зюлейма,
Улыбкой нежной слезы осушила,
Иль поцелуем даже.

А л ь м а н з о р

Злой Гассан!

Не забывай, что я ребенком был.
Ошибся ты, Зюлеймы милой взоры
Не осушили слез моих тогда.
Из замка Али вырвавшись тайком,
Я в тот же день вернулся в дом к отцу.
Он на полу лежал и бился в муках;
В лохмотьях — платье, в пепле — голова,
И борода всклокочена седая,
И мать моя лежала тут же, плача,
И с ней рабыни, в черных покрывалах.
Смолкало все порой, но вот со словом
«Гренада!» — вырывался чей-то вздох,
И вопли вновь неслись с двойною силой.

Г а с с а н *(плача)*

Да не иссякнет слез источник вечный!

А л ь м а н з о р

Не сокрушайся так. Подходит больше
К тебе упорство львиное твое,
С каким предстал ты взорам изумленным,
Оружием звеня блестящим, в зале.
Мне не забыть, как ты сказал отцу:
«Я больше не слуга тебе, Абдулла,
Аллах меня к служенью призывает».

Ты твердою стопой покинул замок,
И с той поры тебя уж я не видел.

Г а с с а н

Примкнул тогда я к доблестным борцам,
Которые на высях гор холодных
Укрыли пылкие свои сердца.
И как хранят вершины гор свой снег,
Так мы хранили жар в своей груди;
И как они стоят непоколебимо,
Так были мы непоколебимы в вере;
И как порой с утесов тех обломки
Свергаются и рушат все в долине,
Так мы порой свергались вниз с высот
И сокрушали силу христиан;
И вот тогда предсмертный хрип неверных,
И дальний звон колоколов печальный,
И скорбные напевы их — звучали
В ушах у нас восторгом сладострастья.

По раз, недавно, тем же нам ответил
Граф Аквилар с дружиною своею,
Нас на последний танец пригласив.
Под звуки труб пронзительно-победных,
Под грохот оглушающий орудий,
При взмахах шпаг кастильских легкокрылых,
Под свист веселый пуль над головами
Переселилось в небо много мавров,
Осталась горсть одна на месте танца.

А как, Альманзор, ты с твоей семьею?
Недавно мы с друзьями были здесь,
По залы опустели, и на нас
Уныло стены скорбные глядели,
И мрачный замок нам сулил печаль.

А л ь м а н з о р

Не требуй песен скорбных, пусть в могиле
Спят мертвецы и все мои страданья.
Ты помнишь, как на вороном коне
Примчался Али с горестною вестью, —
Несчастье без свиты не приходит!

Одна другой печальней доходили
К нам вести из Гренады; и как путник
Бросается стремглав лицом к земле,
Когда самум навстречу жаркий дует,
Так мы бросались в горести на землю,
Чтобы тлетворной вести не услышать.
Узнали мы, что и жрецы отпали —
Альфакулы и с ними Моравиты.

Г а с с а н

Коль нужно где продать за деньги веру,
То первые в делах таких попы.

А л ь м а н з о р

Нам говорили, что Хименес мрачный
Посередине площади, в Гренаде, —
Я не могу, язык немеет, — бросил
Коран священный на огонь костра.

Г а с с а н

Вступленье это. Там, где книги жгут,
Там и людей потом в огонь бросают.

А л ь м а н з о р

Дошло до нас известье, всех ужасней,

(запинаясь)

Что добрый Али принял христианство.

Пауза.

Тут мой отец не проронил слезинки,
Ни звука жалобы не произнес,
Ни волоска из головы не вырвал.
Лишь судорожно жилы натянулись,
И вырвался внезапно из груди
Безумный смех с пронзительною силой.
Когда же я, в слезах, к нему склонился,
Схватил кинжал он, бешенством охвачен,
«Змеиное отродье», — закричал
И заколоть хотел меня, — но тут же
Вкруг уст сомкнулась складка кроткой грусти.
«Ребенок неповинен», — он промолвил
И медленно побрел в свои покои.

Там он сидел без пищи и питья
Три долгих дня. Когда же появился,
То был неузнаваем. Стал спокойн
И приказал рабам, собрав добро,
Навьючить все на мулов и телеги;
А женщинам велел вино и хлеб
На дальнюю дорогу заготовить.
И сам понес, из рук не выпуская,
Сокровище всех драгоценней — свиток
Законов Магометовых святых —
Тот самый древний и святой пергамент,
В Испанию отцами привезенный.
Так мы страну покинули родную
И двинулись спеша, но и колеблясь,
Как будто бы невидимые руки
И нежный голос нас влекли назад,
А волчий вой нас гнал вперед все время.
Как матери прощальный поцелуй,
Впивали мы чудесный аромат
Испанских миртов и лимонных рощ;
Уныло вслед деревья шелестели,
И веял ветер сладостно и скорбно,
И птички грустно реяли вокруг нас
И свой привет прощальный щебетали.

Г а с с а н

У вас в руках надежный посох был
Для путников — завет отцовской веры.

А л ь м а н з о р

Прибыв в тот край, где Тарика скала,
Мы быстро переправились в Марокко,
Куда бежали лучшие из нас.
Но лишь пристали к берегу, зачала
И в гроб легла, убита горем, мать.

Г а с с а н

Да, должен был увянуть цвет лилейный,
Так грубо пересажен на чужбину.

А л ь м а н з о р

И облеклись мы в траурное платье

И двинулись, примкнувши к караванам,
Что держат путь в священный город Мекку.
И в Йемене, в стране своих отцов,
Сомкнул Абдулла горестные очи,
Чтобы потом в отчизне пробудиться,
Где нет Хименеса и Изабеллы.

Г а с с а н

И не нашел в Аравии ты места,
Где мог отца оплакивать кончину?

А л ь м а н з о р

О, если б знал ты муки беспокойства,
Когда огонь незримый нас сжедает!
Прижать уста к родной земле испанской...

Г а с с а н

А кстати и к устам своей Зюлеймы.

А л ь м а н з о р (*сурово*)

Слуга отца — не господин над сыном;
Оставь свои обидные попреки.
Да, сознаюсь, Зюлеймы жажду я,
Как утренней росы — песок пустыни.
Сегодня же иду я в замок Али.

Г а с с а н

Нет, не ходи! И, как чумы, беги
Тех мест, где новой веры семена.
Там сладостно-пленительною речью
Исторгнут сердце из твоей груди,
Чтоб заменить его потом змеей.
Там станут лить на голову тебе
Свинец по капле, чтобы бедный мозг
Не мог от дикой боли отдохнуть.
Там имя прежнее твое подменят
И новое дадут, чтобы твой ангел,
Когда тебя по имени окликнет,
Остался без ответа. Не ходи,
Обманутый ребенок, в замок Али,
Альманзора признают — ты погиб!

А л ь м а н з о р

Спокоен будь; никто меня не знает.
В лице моем следы былого горя,
Мой взор слезами скорби омрачен,
Походкой я подобен бледной тень,
И голос мой надтреснут, как и сердце, —
Кто ж прежнего Альманзора признает?
Да, да, Гассан, люблю я Али дочь!
Еще хоть раз прелестную увидеть!
Мне только раз любовью опьянеть
При виде стана нежного ее,
В ее глаза душою погрузиться
И аромат вдохнуть ее дыхания, —
И я вернусь в Аравию, в пустыню,
И снова сяду на скале отвесной,
Где некогда Меджнун вздыхал о Лейле!
А потому спокоен будь, старик.
Никем не узнанный, в плаще испанском,
Я незаметно замок обойду;
Союзницей моею будет ночь.

Г а с с а н

Коварна ночь; под черным покрывалом
Она таит кошмары, змей и гадов
И тайно их к ногам твоим подбросит.
Не верь и спутнику ее, что в небе
Средь туч блистает в трепете любовном
И так коварно льет свой свет дрожащий
На призрачные тени вдоль дороги.
Не верь ее лукавому отродью,
Тем золотым звездам, что так приветно
Мигают нам, так нежно разгораясь,
И все же, словно тысячами пальцев,
Насмешливо указывают сверху.
Нет, не ходи! Сидят у входа в замок
И ждут тебя три женщины, все в черном,
Чтоб задушить тебя в своих объятьях,
Из сердца поцелуем выпить кровь.

А л ь м а н з о р

Останови вращающийся жернов,
Напор потока грудью удержи

И прегради дорогу водопаду,
Но только не удерживай меня!
Туда влекут меня миллионы нитей,
Причудливо в мозгу переплетенных
И в жилах сердца моего. — Гассан,
Спокойно спи! Мой спутник — старый меч.

Г а с с а н

А светочем да будет вера предков!

Замок Али. Освещенный покой с большою дверью посредине.
Слышна музыка танцев. Д о н Э н р и к е лежит у ног З ю л е й м ы.

Д о н Э н р и к е (*напыщенно*)

Я опьянен чудесным ароматом,
Теряюсь я, волнением объятый!
Молитвенно колени я склоняю,
В тебе святую деву обожаю!
Ты королева в небесах лучистых,
Не смею я коснуться рук пречистых.
Пусть суждены нам узы Гименея —
У ног твоих лежу, благоговея!

Музыка умолкла. Дон Диего прокрался во время этого обьяснения и открыл обе половинки двери. Виден великолепный, переполненный людьми танцевальный зал. Танцующие пары останавливаются и смотрят приветливо на дона Энрике и Зюлейму. Несколько голосов восклицают: «Да здравствует прекрасная чета!»

Трубные звуки. Дон Энрике встает. Дон Диего крадется прочь.
Двери остаются открытыми.

З ю л е й м а (*сурово*)

Пойдемте в залу.

Д о н Э н р и к е (*подает ей руку,
смущенно*)

Мой слуга, сеньора,
Виной тому.

З ю л е й м а

Пойдемте, хорошо.

А л и и Р ы ц а р ь встречаются с ними в дверях.

А л и

Нет, Кларара, нет, позволь мне разлучить вас.
Тебя проводит дон Родриго в зал.

Дверь затворяется.
Зюлейма в сопровождении Рыцаря уходит.

Д о н Э н р и к е

Я удивляюсь...

А л и (*серьезным тоном*)

Вспомните, сеньор,
Что у меня от вас хранится тайна,
Которую я обещал до свадьбы
Открыть вам.

Д о н Э н р и к е (*с любопытством
и лъстиво*)

Ах, ведь я уже и так
Обязан многим вам...

А л и

Вы — мне? Ничем!
Зависело от Клары лишь одной
Согласием ответить.

Д о н Э н р и к е

Нет, ваш голос
Родительский решил ее судьбу.

А л и

Имел причины я, чтоб отказать вам
В ее руке, но права не имел.
Узнайте: донне Кларе не отец я.

Д о н Э н р и к е (*смущенно*)

Вы не отец?

А л и (*улыбается*)

Сеньор, не беспокойтесь,
Соблюдены законы в завещанье,

Ее своей я дочерью признал.
Теперь вы видите, что только Клара
Располагать могла своей рукой.
Заметьте, что никто не знает тайны,
И даже Клара.

Д о н Э н р и к е

Я дивлюсь, сеньор...

А л и

Вам, жениху, я тайну открываю,
Но вы должны молчание хранить, —
Перед невестой даже, чтоб ее
Не огорчить такой тяжелой вестью
И сохранить ее покой душевный.

Д о н Э н р и к е *(подает ему руку)*

Клянусь вам честью, что молчать я буду.

А л и

Я не всегда Гонсальво назывался.

Д о н Э н р и к е

Не менее прекрасно было имя
И прежнее: вас звали добрый Али.

А л и

Да, добрым Али звали все меня!
Но правильнее было бы назвать
Счастливым. Али был когда-то счастлив
В любви и дружбе. Друга мне послал,
Редчайшее сокровище, господь.
Он дал жену мне, кроткую жену, —
Нет, грех именовать ее женою —
Я ангела в объятия заключил;
И радости отца познал я тоже.
Мне мальчика супруга подарила;
Сама же начала бледнеть и вянуть,
И умерла. Меня утешил друг.
И так как в то же время у него
Дочь родилась, то добрая супруга

Взяла осиротевшее дитя,
Взрастила и лелеяла, как мать.
Когда ж его я снова в замок взял,
То каждый раз, когда глядел на сына,
Опять я чувствовал былую скорбь
И горевал о матери. От друга
Не скрылось это. Как-то он сказал:
«Не думаешь ли, Али, что пора нам
Их обручить как жениха с невестой,
Чтоб закрепить прочнее узы дружбы?»
Я обнял друга, громко зарыдав,
И в тот же час мы вместе порешили,
Что друга дочь возьму я в замок,
Приставлю к ней кормилицу и буду
Воспитывать, чтоб сыну своему
Достойную супругу приготовить,
И что мой сын воспитываться будет
У друга, с тем чтоб из него он сделал
Достойного для дочери супруга.
Так и сбылось.

Д о н Э н р и к е

Горю от любопытства.

А л и

Они росли, встречались, и любовь
Их сблизила, — но грянула гроза.
Вы помните, как гром ударил с неба
И поразил альхамбрские твердыни
И как дома знатнейшие Гренады
Восприняли религию креста.
Вы знаете, что няня-христианка
Сумела сердце кроткое Зюлеймы
Привлечь к Христу и что Зюлейма вскоре
Спасителя признала перед всеми
И, восприняв крещенья благодать,
Как христианка, Кларой нареклась.
Я тот же путь избрал, влеченью сердца
Последовав и дочери примеру.
Не сомневался я, что старый друг
Рассудит и поступит точно так же.

Но горе мне! Слепой слуга ислама,
Он принял эту весть с холодным гневом
И отвечал, что ненавидит он
Врагов Аллаха как своих врагов,
Что не желает видеть никогда
Он дочери-отступницы в лицо,
Что он страну змеиную покинет
И что питомца, сына моего,
Он в жертву принесет Аллаха гневу,
Чтоб искупить родителя вину.
Безумец слово страшное сдержал.
Я в замок поспешил к нему, но тщетно:
Он скрылся вместе со своей добычей.
Мне сына больше не пришлось увидеть;
Купцы, прибыв недавно из Марокко,
Сказали мне, что нет его в живых.

Д о н Э н р и к е *(с притворным
состраданьем)*

Ужасно, право! Страшно я взволнован!
О, сердце кровью облилось! Но вы
Ему не захотели отомстить?
Ведь все-таки осталась дочь злодея
У вас в руках! Как поступили вы?

А л л *(гордо)*

Сеньор, я поступил как христианин.

(Уходит.)

Д о н Э н р и к е *(один)*

Сказать о том Диего? Да, скажу.
Пусть видит, что не знает он всего.
Он дураком меня считает. Пусть!
Теперь посмотрим, кто из нас умней.

Вновь начинается музыка танцев.

Я слишком долго ждать заставил донну.

(Уходит.)

Ночь. Замок Али. Окна освещены. Веселая танцевальная музыка.
А л ь м а н з о р стоит в задумчивости. Музыка умолкает.

А л ь м а н з о р

Да, музыка прекрасная. Но грустно,
Что стоит только зазвенеть цимбалам, —
И сердце жалат сотни скорпионов;
При мягких и протяжных звуках скрипок
Вонзается мне в сердце острый меч;
Заслышу я победных труб раскаты —
И тело все охватывает дрожь;
Когда ж, гремя, литавры загрохочут,
Мне молоты раскалывают мозг.
Что общего меж мной и этим домом?

(Указывает на замок и на грудь.)

Веселье там и звуки арф певучих,
Здесь — только боль с ее зменным жалом.
Там — светлый день и лампы золотые,
Здесь — ночь с ее раздумьем тяжким, черным.
Там — милая, прекрасная Зюлейма.

(Задумывается, потом показывает на грудь.)

Есть общее — Зюлейма также здесь.
Душа Зюлеймы — в этом тесном доме,
В пурпуро-красных комнатках, и с сердцем
Играет в мяч или бренчит на струнах
Моей певучей грусти, как на арфе,
И свитою мои ей служат вздохи, —
И бодрствует на страже у ворот,
Как черный евнух, черное унынье.

(Указывает на замок.)

А та, что в светлом зале наверху
Расхаживает в царственном наряде
И шлет привет головкою кудрявой
Обманнику в шелках, что к ней склонился, —
Она лишь тень бесплотная Зюлеймы,
Лишь кукла со стеклянными глазами
На восковом, безжизненном лице,
Которая под действием пружин
Пустую грудь поднимет и опустит.

Трубные звуки.

Увы! Подходит шелковый обманщик
И приглашает куклу танцевать...
Стеклянные глаза любезно блещут!
На милом восковом лице улыбка!
Пружинная приподнялася грудь!
Обманщик грубо трогает руками
Искусственную, хрупкую игрушку...

Шумная музыка.

Он нагло обхватил ее, влечет
С собой в толпу неистовых танцоров!
Стой! Стой! Вы, демоны моих страданий,
Отторгните обманщика от милой!
Разите, громы сердца моего!
Обруштесь на злодея, стены замка,
И раздробите голову ему!

Пауза. Музыка тише.

Попрежнему недвижны эти стены;
О плиты их моя разбилась ярость.
Вы сложены так крепко, прочно, стены,
Но слабая у вас, плохая память!
Альманзор я, и был любимец Али,
Сидел я часто на его коленях,
И говорил мне Али: «Милый сын», —
И гладил ласково по голове, —
И вот, как нищий, я стою у входа.

Музыка смолкла. В замке слышен смутный говор и смех.

(Стучит в дверь.)

Откройте дверь! Ночлега просит странник!

Двери замка отворяются. Появляется Педрильо с подсвечником;
он останавливается в дверях.

П е д р и л ь о

Клянусь Пилатом, вы стучите крепко:
На бал вы опоздали, кончен он.

А л ь м а н з о р

Я не на бал. Нуждаюсь я в приюте;
Устал с дороги дальней; ночь темна.

П е д р и л ь о

Клянусь пророка бороною, то есть
Клянусь Елизаветою святою...
Не принимают больше здесь. Но близко
Отсюда дом — гостиницей зовется.

А л ь м а н з о р

Здесь не живет уж, значит, добрый Али,
Коль странникам отказывают в кровде?

П е д р и л ь о

Клянуса Яго де... де Компостелла!
Приходит дон Гонсальво в сильный гнев,
Когда его по-старому зовут.
Одна Зюлейма...

(хлопает себя по лбу)

то есть донна Клара,
Так смеет звать его. И Али часто
Ей по ошибке говорит «Зюлейма».
И я теперь уж больше не Гамама, —
Педрильо я. Так назывался в детстве
Апостол Петр, а старая кухарка
Теперь уж не Габаба — Петронелла,
Так звали в древности жену Петра;
А старое гостеприимство — вздор,
Языческий обычай устаревший,
И не по нраву добрым христианам.
Спокойной ночи. Посвечу гостям,
Иные очень далеко живут.

Возвращается в замок и захлопывает двери. В замке движение.

А л ь м а н з о р *(один)*

Вернись, о странник, здесь уж не живут
Ни добрый Али, ни гостеприимство;
Вернись, о мусульманин, вера предков
Покинула давно уж этот дом;
Вернись, Альманзор, старую любовь
С презрением отвергли, надругались
Над жалобным ее предсмертным стоном.
Все изменилось — имена и люди,
И ненавистью нареклась любовь.

Выходят, слышу, гости дорогие,
И я смиренно уступаю путь.

(Уходит.)

Двери замка раскрываются; суতোлка и смутный говор. Слуги с факелами впереди.

Г о л о с А л и

Нет, нет, сеньор, нельзя, не допущу.

Д р у г о й г о л о с

Но эта ночь так хороша, светла,
Невдалеке и лошади, и мулы,
И мягкие носилки нежным дамам.

Т р е т и й г о л о с *(успокаивающе)*

Ведь здесь совсем недалеко, сеньора:
Для ваших ножек путь не так велик..

Дамы, рыцари, слуги с факелами, музыканты и прочие выходят из замка. Каждую из дам сопровождает рыцарь.

П е р в ы й р ы ц а р ь

Вы поняли намек его, сеньора?

Д а м а *(улыбаясь)*

О, как вы злы сегодня, дон Антонио.

Проходят.

Д р у г а я д а м а *(горячо)*

Нет, слишком все же вычурно шитье,
И что-то мавританское в покрое.

Р ы ц а р ь *(с деланой
серьезностью)*

А что же бедной девушке поделать
С таким запасом мавританских платьев!

Д а м а

На что же маскарады, злой насмешник?

Проходят.

Двое рыцарей идут под руку.

П е р в ы й

Заметно недоволен был старик,
Когда предстал слуга, скрестивши руки,
И доложил о неладах на кухне.

В т о р о й *(насмешливо)*

Нет, это что! Как закусил он губы,
Когда дон Карлос стал хвалить свинину
И на пророка в шутку нападать
За то, что это блюдо запретил он.

П е р в ы й *(добродушно)*

Сболтнул кутила старый, видно сдуру,
Вино с жарким рассудок помutilo.

В т о р о й *(хитро подмигивая,
в сторону)*

Нередко дурь живет в ладу со злостью.

Проходят.

Два других рыцаря подходят, разговаривая.

П е р в ы й р ы ц а р ь *(осторожно
озираясь)*

Из мавро-христиан лишь мы с тобою
У Али были, и когда дон Карлос...

В т о р о й р ы ц а р ь

Да, дрогнули черты его от боли,
На нас взглянул он — как узнать, кто друг?

Медленно проходят.

Музыканты идут, настраивая инструменты.

М о л о д о й с к р и п а ч

Струна опять сегодня порвалась.

С т а р и к

Да, да, а в голове-то не порвется;
В мозгу ты не натягиваешь струн —
И глухие вопросы задаешь.

Молодой скрипач (*льстиво*)

В последний раз! Ведь ум-то у тебя
Тончайший — словно волосок смычка;
Ведь ты у нас бесспорно самый умный,
Ты среди нас как контрабас среди

скрипок, —

Зато же и сердит, как контрабас.
Скажи мне, почему сорвался с места
И нас испуганно остановил
Хозяин наш, когда играть мы стали
Веселый мавританский танец — самбру,
И почему он приказал сыграть
Взамен его испанское фанданго?

Старик (*с самодовольной
хитростью*)

Эге! Я знаю, только не скажу:
Политикой попахивает тут.

Проходят.

Из замка доносится голос дон Эприке.

Дон Эприке

Мне факельщика одного довольно,
Осел Диего будет мне светить.

(*Нежно.*)

Ведь для меня две звездочки зажгутся
Приветливые — очи донны Клары!

Смутный говор. Двери закрываются. Появляются дон Эприке
и дон Диего; последний в одежде слуги, с факелом.

Дон Диего

Теперь мы можем поменяться ролью,
Теперь уж вы — слуга мой и осел.

Дон Эприке (*берет факел*)

Старался я как мог. Не придирайтесь.

Дон Диего (*величественно*)

По чести, вы другим мне показались,
Совсем другим, когда знакомство с вами
Я свел в тюрьме Пуэнте дель Саурро.

Д о н Э н р и к е *(успокаивающе)*

Не гневайтесь, я верный ваш питомец.

Д о н Д и е г о

Нет, мой питомец должен поистине
Располагать к себе сеньор богатых.
Сравнили вы со звездочками очи, —
Такую прелесть вам сравнить бы с солнцем!
Внимательней поэтов изучайте
И смажьте хорошенько свой язык,
Ведь он у вас совсем прилип к гортани,
Когда вы молча с Кларою сидели.

Д о н Э н р и к е *(тая)*

Я восхищался белоснежной ручкой!

Д о н Д и е г о *(громко смеется)*

Коль блеск перстней брильянтовых
прельстил вас,
Сковал язык и ослепил глаза,
Готов простить я ваше онеменье.

(Медленно, с иронией.)

Ее рука вас приведет в восторг,
Когда старик ее позолотит.
Я разделю тогда восторг ваш с вами,
Из золота восторг, блестящий, звонкий!
И вам я предоставлю любоваться
Игрою сладкой пальцев белоснежных,
И пышною упругостью фигуры,
И голубыми жилками под кожей!

Д о н Э н р и к е *(обидчиво)*

Без шуток! Добиваюсь я богатства,
Но, признаюсь, и красотой пленен.

Д о н Д и е г о

Избави бог разрыть копну навоза!
Разрой ее — так амброй не запахнет.
Люби не изнутри, а лишь снаружи!
В делах любви плохой союзник чувство,

Полезней слово, мимика, подвижность.
А если не помогут и они,
Помогут наруганные щеки,
Искусственные икры из Мадрида,
Тугой корсет и накладная грудь —
Оружье из портновских арсеналов;
А если нет, то уж помогут, верпо,
Ножи, отмычки...

(Смотрит на него с холодной улыбкой.)

Помните, сеньор,
Подделанные мною документы —
Старинный шрифт и бледные чернила —
Те, будто бы потерянные, письма,
В которых дон Гонсальво прочитал...

(Смеется.)

Лишь мне, сеньор, обязаны вы честью
Считаться принцем; будьте же разумны
И говорите так, как я учил;
Толкуйте о религии, морали,
Следы кнута показывайте чаще
Тюремного; зовите их рубцами,
Которые получены в борьбе
За дело правды; к мужеству взывайте,
А главное, бородку завивайте.

Д о н Э н р и к е

Сеньор, я преклоняюсь перед вами,
Но не возьму я в толк, каким манером
Попа втянуть вам в дело удалось?

Д о н Д и е г о

И у попов есть ремесло на свете,
Но у святых отцов — святые цели:
Им нужно золото для чаш церковных
И вина разные, чтоб их наполнить.
Заметили, как передернул я?
Я ловко сдал, вам нужно козырнуть
По даме — сердцем, а по королю,
По старику, конечно уж, — крестом,
И ваши карты выиграли; завтра
Я принесу вам свадебный привет.

Д о н Э н р и к е (набожно
смотрит в небо)

Отец всевышний мой! Благодарю!

Д о н Д и е г о

Да, он всевышний, он в Сан-Сальвадоре
На виселице вздернут высоко.

Уходят.

А л ь м а н з о р выходит.

А л ь м а н з о р

Рассеялись нетопыри и совы —
Вся стая пестрая. Их хриплый крик
Мой слух наполнил жутким содроганьем,
Дыхание мое остановил.

И ты, Зюлейма, в этой черной стае,
Средь воронья? Ты, белая голубка!
Червями роза дивная покрыта?
Неужто ты во власти чар, Зюлейма?
Альманзора тоскующего образ
В душе твоей рассеялся бесследно?
И о любви его воспомнанье
В груди не возникает с нежным вздохом?

Там, наверху, блестят любви посланцы.
Я тысячи к ним посылал приветов,
И сладостно моя сочилась кровь
Из тысячи любовных ран сердечных.
И ни один посланец не доставил
Моей любимой от меня привета!
Стыдитесь же, неверные посланцы,
Вы так умно мигаете нам сверху
И хвалитесь, что судьбы вам подвластны!
Моих вы не доставили приветов,
А голуби приносят неизменно
Слова любви от пастухов пустыни!

Давно уж улеглась в постели челядь,
Заботливо погашены огни,
И лишь единственный горит в окне;
Оно знакомо мне: там спит Зюлейма.
Под ним, что ночь, стоял я дивным летом,

Играл на лютне, и моя подруга
С улыбкой выходила на балкон.

(Вынимает лютню.)

Вот лютня старая. Ее напевы
Еще звучат в душе; я испытаю,
Подействует ли власть старинных чар.

(Играет и поет.)

Блещут звезды голубые,
Озаряя землю светом,
И цветочки полевые
Смотрят с ласковым приветом.

Месяц с неба вниз глядится,
В воды темные потока,
И любовью он томится,
Погружаясь в них глубоко.

Голубки воркуют жарко
В душном зное ночи юга,
И, поблескивая ярко,
К светлячку летит подруга.

Зетерочек налетает,
Шелестит, резвясь, листвою,
Поцелуи посылает,
Грезой зыблется ночьюю.

Ждут цветы, поток струится,
Вот звезда с небес скатилась,
Все смеется, веселится,
Все любовью озарилось.

Г о л о с З ю л е й м ы *(из замка)*

Не сон ли то, меня окутав лаской,
Забытые созвучья воскресил?
Не дух ли зла, чтоб обольстить меня,
Поет ту песню голосом любимым?
Не мертвый ли Альяманзор здесь блуждает
И призраком является в ночи?

А л ь м а н з о р

Нет, то не сон тебя чарует грезой,

Не злобный дух готовит обольщение
И не Альманзор мертвый здесь блуждает —
Нет, это сам Альманзор, сын Абдуллы.
Он возвратился и хранит, как прежде,
В живой груди любовь к тебе живую.

Зюлейма со свечою выходит на балкон.

З ю л е й м а

Привет тебе, Альманзор бен-Абдулла,
Привет тебе, восставший из могилы!
Была нам весть печальная: погреб
Альманзор — и глаза Зюлеймы стали
Источниками слез неосушимых.

А л ь м а н з о р

О звезды светлые, глаза-фалки!
Вы и тогда мне верными остались,
Когда душа Зюлеймы изменила.

З ю л е й м а

Глаза — души светящиеся окна,
И слезы — кровь прозрачная души.

А л ь м а н з о р

Коль кровь сочилась из души слезам,
Когда отца и мать похоронил я,
То истечет душа и вовсе кровью
Здесь, над могилою любви Зюлеймы.

З ю л е й м а

О горькие слова, и горше — весть!
Вы тяжко грудь терзаете мою,
Душа Зюлеймы истекает кровью.

(Плачет.)

А л ь м а н з о р

О нет, не плачь! Не плачь! Смолой кипящей
На сердце слезы падают твои.
Тебя уж я не огорчу отныне!
В тебе святыню сердцем буду чтить,
Вблизи которой нет кровавой мести

И острие ломается кинжала;
Вблизи которой голубь и газель
Защищены от стрел, несущих гибель;
Вблизи которой хищник беспощадный
Благоговейно скрещивает руки.
Ты для меня священная Кааба:
Тебя лобзал я жаркими устами,
Священный камень Мекки лобызая, —
Ты и сладка и холодна, как он!

З ю л е й м а

Когда во мне ты чтишь свою святыню,
То обломи кинжал своих речей;
Держи в колчане яростные стрелы,
Которые пронзают больно сердце,
И руки не сжимай, как на молитве,
Чтоб тем верней похитить мой покой.
Я ранена и так ужасной вестью
О гибели Абдуллы и Фатимы;
Обоих я любила, как родных,
И дочерью Зюлейму оба звали!
О, расскажи, как умерла Фатима!

А л ь м а н з о р

Безмолвно мать покоилась на ложе,
Я слева плакал, преклонив колени;
Стоял Абдулла справа, недвижим;
И ангел смерти с пальмовою ветвью
Уже витал над ложем наяву.
Я не хотел со смертью примириться
И в страхе руку матери схватил.
Но, как песок в часах течет все тише,
Так замедлялся жизни пульс в руке.
В лице ее сменялись непрестанно
Боль и улыбка, и когда я тихо
Склонился к ней, промолвила она,
Вздохнув глубоко: «Поцелуй Зюлейму...»
При этом слове застонал Абдулла,
Как стонет насмерть пораженный зверь.
Умолкла мать и лишь в руке холодной
Мою держала руку в знак обста.

З ю л е й м а

О мать моя, Фатима, до конца
Любила ты несчастное дитя!
Но ненависть Абдулла сохранил,
Сходя в свой темный и глубокий дом.

А л ь м а н з о р

Он не унес ее с собой. Хотя
При случае, когда он слышал имя
«Зюлейма» или «Али», то в груди
Рождалась буря, собирались тучи
Вокруг чела, глаза его сверкали,
И он проклятья дико извергал.
Но как-то раз, волнением разбитый,
Отец упал и погрузился в сон.
Я ожидал, пока отец проснется.
Я поразился! Он ресницы поднял,
И отразились у него во взоре
Не гнев, а только нежность и участие;
Веселая улыбка заиграла
Вкруг уст его взамен безумной скорби;
И вместо прежних яростных проклятий
Он тихим, кротким голосом сказал:
«Так хочет мать, я изменить не в силах,
А потому сядь на корабль, мой сын,
И возвратись в Испанию, поди
В дом Али, разыщи мою Зюлейму
И ей скажи...»

Но бледный ангел смерти
Пресек своим пылающим мечом
Абдуллы жизнь, а с ней и речь Абдуллы.

Пауза.

Я схоронил его, но положил
Лицом не к Мекке, как велит коран;
Я положил покойника лицом
К Гренаде — так, как он хотел при жизни.
Там он лежит с раскрытыми глазами
И смотрит вслед мне.

(Медленно оборачивается.)

О отец покойный,

Ты видел, как я брел в песках пустыни,
Ты видел, как я плыл к земле испанской,
Ты видел, как спешил я к замку Али,
И видишь здесь меня. Я здесь, с Зюлеймой.
Открой мне, дух Абдуллы, что сказать?

Появляется Т е н ь в черном плаще.

Т е н ь

Ты ей скажи: «Сойди, сойди, Зюлейма,
Покинь покои мраморные замка
И на коня с Альманзором садись.
В стране, где тени пальм дают прохладу,
Где от земли струятся ароматы
И с песнею пастух пасет овец,
Там есть шатер роскошный полотняный,
Там есть газели с умными глазами,
И кроткие верблюды с длинной шеей,
И девушки там черные в венках
Стоят у разукрашенной палатки
И ждут свою царицу. О Зюлейма,
Туда, туда с Альманзором беги!»

Сад перед замком Али, весь в цветах, освещенный утренним солнцем.
З ю л е й м а распростерлась с молитвою перед распятием. Она
медленно встает.

З ю л е й м а

И все же грудь заботой стеснена!
Трепещет сердце. Или это радость,
Что жив, кого оплакивала я?
Не радость, нет: ее не совместить
С моей священной клятвою, с обетом,
Который я духовнику дала.
Альманзор возвратился. Но когда
Отец узнает, разразится гнев
Над сыном смертного врага. Обиды
Он не забыл. Еще гнездятся в сердце
Те демоны, что ярость возбуждают,
Когда Абдуллы имя слышит он.
В чем виноват Абдулла? Мой родитель

Всегда так кроток. Замечала я:
Он по ночам по замку часто бродит
И все зовет: «Абдулла, выходи
Со мной сразиться, кровь за кровь». —
Альманзор!

Не попадайся на глаза, беги!
Вражда отцов приносит детям смерть.
Я на тебя накину покрывало,
Чтоб взор отца не встретился с тобой.
Тебе грозит опасность, и проснулись
Те чувства, что меня так волновали,
Когда играли мы, жених с невестой,
И ты на ветви яблони взобрался,
А я тебя просила со слезами,
Чтоб ты спустился с страшной высоты.

(Задумавшись)

«Альманзор мертв», — сказали злые люди,
Поверило злой вести злое сердце,
И стала я невестою другого!
Тебя любить я буду так, как брата, —
Будь братом мне, мой дорогой Альманзор!

Потупляет взор и со вздохом произносит: «Альманзор». А л ь м а н з о р между тем появился незаметно; он приближается к Зюлейме, кладет ей руки на плечи и, улыбаясь, произносит со вздохом, как и она: «Зюлейма».

З ю л е й м а (испуганно оглядывается и долго смотрит на него)

Ты сильно изменился, мой Альманзор.
Ты стал мужчиной взрослым, но привычки
Ребяческой донине не оставил.
Попрежнему пугаешь ты меня,
Когда я разговор веду с цветамп.

А л ь м а н з о р (с веселой улыбкой)

Какой цветок, скажи мне, дорогая,
«Альманзором» зовется? Это имя
Подходит только к мрачному цветку!

З ю л е й м а

Скажи сначала, друг унылый, хмурый,
Какая тень являлась к нам в ночи?

А л ь м а н з о р

То старый друг, он и тебе знаком,
То был старик Гассан, который ходит,
Как верный пес, за мною по пятам.
Оставь, мой милый друг, свою суровость
И сбрось покров, что омрачает взор твой.
Как мотылек личинку отряхает
И расправляет радужные крылья,
Так и земля покров стряхнула черный,
В который мрак ночной ее укутал.
Склопясь к ней, ее целует солнце,
В лесу зеленом песня раздастся,
Ручей шумит и рассыпает жемчуг,
Роса блестит в цветах слезами счастья,
Как будто свет дневной — волшебный жезл,
Что, пробудив цветы и песни, даже
В душе Альманзора рассеял мрак.

З ю л е й м а

Не верь цветам, что ласково кивают,
Не верь и песням, что звучат так нежно:
Они тебя к погибели зовут.

А л ь м а н з о р

Не отступлю и смерти не боюсь.
Так хорошо мне, так отрадно здесь!
Проснувшись золотые грезы детства!
Вот сад, где было сладко мне играть,
Я узнаю цветы, что мне кивали,
И чиж поет, как прежде, по утрам, —
Но где же мирт, скажи мне, дорогая?
Где он стоял, там ныне кипарисы.

З ю л е й м а

Погиб тот мирт, и на его могиле
В саду посажен кипарис печальный.

А л ь м а н з о р

Еще стоит беседка из жасминов,
Где мы с тобой рассказывали сказки
Про Лейлы страсть и Меджнуна безумье,

Про их любовь взаимную и смерть.
И фиговое дерево стоит,
Его плоды дарила ты за сказки;
И виноград, как прежде, здесь, и дыни, —
Мы освежались ими, наболтавшись;
Но где гранат, скажи мне, дорогая?
На нем сидел когда-то соловей
И изливался страстью к красной розе.

З ю л е й м а

С той розы ветер лепестки сорвал,
И соловей с чудесной песней умер,
И топором срубили стройный ствол
Цветущего, прекрасного граната.

А л ь м а н з о р

Здесь хорошо! Так твердо я стою
На этой почве, будто к ней прикован;
Я неподвижен в этом нежном круге,
Которым обвела меня ты, фея;
Здесь всеет ароматами бальзама,
Здесь говорят цветы, поют деревья,
Знакомые картины воскресают.

(Увидя распятого, изумленно.)

Но что за чуждый образ там, скажи?
Он смотрит кротко так и так печально,
И горькая слеза катится в чашу
Покоя и блаженства моего.

З ю л е й м а

Тебе неведом лик святой, Альманзор?
В блаженных снах тебе он не являлся?
Ты на путях своих его не встретил?
Опомнись поскорей, мой брат заблудший!

А л ь м а н з о р

Да, этот образ на пути я встретил
В тот день, когда в Испанию вернулся.
Там, по дороге к Хересу, стоит
Роскошная, чудесная мечеть.
И там, где с башни муэдзин зывал:
«Аллах — единый бог, и Магомет —

Пророк его!» — там колокольный звон
Услышал я, густой, протяжный, гулкий.
Из врат ко мне, как темная река,
Неслись могучие органа звуки,
Взлетая ввысь и бурно клопоча,
Как будто бы смола в котле волшебном.
И, как руками длинными, меня
Те звуки в дом насильно увлекли,
И грудь мою обвили, словно змеи,
И больно в сердце жалили меня,
Как будто Кафф давил меня собою
И клюв Симурга сердце мне терзал.
И в доме том, как похоронный гимн,
Звучало пенье странных незнакомцев,
На вид суровых, с бритой головою,
В цветных одеждах; отроки, то в белом,
То в красном платье, вторили им звонко,
Порою в колокольчики звонили
И ладаном кадили благовонным.
И тысячи свечей сиянье лили
На этот блеск, на эту позолоту.
Куда бы взор очей ни проникал,
Повсюду, в каждой нише, он встречался
С тем образом, что вижу здесь опять,
Но бледен был и полон тяжкой скорби
Страдальца лик, глядевший с тех картин.
То сыпался на тело град ударов,
То падал он под бременем креста,
То на него с презрением плевали
Или венчали тернием чело,
То распинали на кресте и острым
Копьем пронзали ребра — кровь и кровь
Лилась повсюду. Видел я еще
Печальную жену, она в руках
Держала тело мертвое страдальца,
Поблекшее, нагое, в страшных ранах, —
Тут голос я пронзительный услышал:
«Се кровь его», — и, оглянувшись, вижу...

(Содрогаясь.)

Из чаши пьет какой-то человек.

Пауза.

З ю л е й м а

Ты в храм любви вступил тогда, Альманзор,
Но слепотою омрачились очи.
Ты не нашел в нем светлого приволья,
Что красит так языческие храмы,
И чужд ему тот будничнй уют,
Что свойственен мечетям мусульманским.
Иной приют, суровее и чище,
Любовь себе в сем мире избрала.
Ребенок взрослым делается там,
И взрослые становятся как дети;
Богатство обретает в нем бедняк,
И в нищете богач блаженство видит;
В нем радость претворяется в печаль,
Уныние сменяется восторгом.
Сама любовь на землю к нам сошла,
Как скорбный образ нищего ребенка.
Ей ложем ясли тесные служили,
Солома изголовьем ей была;
Опа была гонима, словно лань,
Ученостью и глупостью людскою.
И продана была любовь за деньги,
И презрели, и распяли ее, —
Но от ее семи предсмертных вздохов
Раскрылись семь замков железных, — их
Сам сатана привесил к райской двери, —
И точно семь отверстых ран любви,
И семь небес отверзлись чередою
И приняли и праведных и грешных.
Ты зрел любовь, как хладный труп
в объятьях
Жены печальной на святой картине.
О, верь, весь род людской согреться может
Близ этого безжизненного тела;
Из крови той выросли цветы, чудесней,
Чем все цветы в садах у аль-Рашида;
О, верь, что из очей жены печальной
Струится сладкий розовый елей,
Душистее, чем все Ширази розы.
И ты вкусишь, Альманзор бен-Абдулла,
От вечной плоти и от вечной крови,

Ты с ангелами в трапезе участник,
Ты причастишься и вина и хлеба,
И для тебя открыт чертог блаженства,
И от могучих козней сатаны
Твоя защита — Иисус Христос,
Коль вкусишь ты от «хлеба и вина».

А л ь м а н з о р

Ты слово дивное произнесла,
Оно творит миры, миры объемлет,
И это слово дивное — «любовь»!
Ликуя, вторят ангелы тебе,
И небеса созвучным эхом вторят.
Ты слово молвила — и облака
Сомкнулись, словно купол над собором,
И вязы зашумели, как орган,
И песни птиц — как тихая молитва,
И от земли струится благовонье,
И луг в цветах стал божьим алтарем.
И вся земля — как храм любви единой.

З ю л е й м а

Великая Голгофа — вся земля,
Любовь царит, но истекает кровью.

А л ь м а н з о р

О, не вплетай в венец надгробный мирт,
Любви не облакай покровом черным.
Любви ты жрица на земле, Зюлейма.
Сама любовь живет в груди твоей,
Из светлых окон глаз твоих глядит;
От нежных уст любви дыханьем веет:
На вас, пурпурно-розовые губы,
На вас любовь воздвигла царский трон,
Вы для души моей приют отрадный.
Что молвила Фатима, умирая? —
«Мой поцелуй отдай моей Зюлейме».

Они долго и скорбно смотрят друг на друга.
Торжественно обмениваются поцелуем.

З ю л е й м а

То был предсмертный поцелуй Фатимы,
Прими же поцелуй живой Христа.

А л ь м а н з о р

Любви впитал я дивный аромат
Из чаши уст рубиновых твоих.
Я прикоснулся к пламенной струе,
Мне сладостный бальзам наполнил жилы
И сердце освежил и опалил.

(Обнимает ее.)

Нет, не покину я тебя, Зюлейма!
Пусть золотой чертог Аллах раскроет
И гурии манят меня очами,
Я буду тверд, останусь я с тобою
И крепче стан твой нежный обниму.
Отныне только небеса Зюлеймы —
Альманзора приют, Зюлеймы бог —
Альманзора господь, Зюлеймы крест —
Альманзору защита, твой Христос —
Альманзора спаситель, и молиться
Я буду там, где молится Зюлейма.
В волнах любви я плаваю блаженно,
И звуки дивных арф мой нежат слух.
Деревья водят странный хоровод,
И ангелы в меня лучами мечут
И осыпают пылью от цветов.
Отверзлись небеса в сиянье славы,
И я несусь на крыльях золотых
К блаженству вечному...

Издали доносятся колокольный перезвон и церковное пение.

З ю л е й м а *(в испуге отворачивается)*

Иисус-Мария!

А л ь м а н з о р

Кто разодрал покровы золотые,
Что мне соткали радостные грезы?
Любимая, ты побледнела вдруг,

И стала роза лилии белее, —
Скажи, не смерть ли увидала ты,
Которая нас разлучить явилась?

З ю л е й м а

Смерть не разлучит, смерть соединит нас,
И только жизнь разлукой нам грозит.
Ты слышишь колокольный звон, Альманзор?
Вещает он:

(прикрывает лицо)

«Зюлейма в брак вступает,
Но не Альманзор мужем будет ей».

Пауза.

А л ь м а н з о р

Так, значит, самый страшный яд влила
Ты в сердце мне, царица страшных змей!
Его пары мертвят цветов дыханье,
Окрасилась вода фонтана в кровь,
И падают отравленные птицы.
Ты вовлекла меня напевом лъстивым
В застенки тот, что церковью зовется,
И пригвоздила к своему кресту.
Ты в колокол звонишь теперь усердно,
Игрой органа заглушить ты хочешь
Раскаянье мое, мольбы к Аллаху!
Меня ты, злая фея, заманила
В жемчужную коляску с голубками
И к облакам взнесла меня высоко,
Чтобы оттуда вниз внезапно сбросить.
Я падаю, я смех твой слышу громкий
И вижу, что волшебная коляска
Вся в пламени и превратилась в гроб,
Что голубки в драконов обратились,
Что правишь ты змеиными вожжами, —
И я лечу, проклятья изрыгая,
Все ниже, ниже — прямо в бездну ада,
И дьяволы бледнеют от испуга,
Проклятиям моим безумным внемля.
Прочь! Прочь отсюда! Знаю я проклятье

Ужасней всех, сам Эблис побледнеет,
И солнце вспять в испуге обратится,
И мертвецы поднимутся из гроба,
И станут камнем зверь и человек.

(Убегает.)

Зюлейма, которая стояла неподвижно, с закрытым руками лицом, падает ниц перед распятием. Слышно церковное пение; проходит процессия монахов с хоругвями и иконами.

Лес.

Х о р

Испания — большой прекрасный сад,
В нем дивные деревья распустились,
Плоды, цветы; но мавров города
Цвели пышнее в их великолепье,
Когда своею мощною рукою
Их посадил в земле испанской Тарик.
Возвысилась держава их, росла,
И расцвела в величье громких дел,
И светом славы вскоре превзошла
Отчизны древней доблести и блеск.
Когда бежал последний Омаяд
От трапезы ужасной Абассида,
Который завалил, смеясь, столы
Кровавыми телами Омаядов;
Когда затем в Испанию он спасся,
Собрав всех мавров, верность сохранивших
Последней ветви царственного дома, —
Вражда возникла ярая меж ними
И братьями по вере на Востоке;
Нить порвалась, что от земли испанской
Шла по морю, до самого Дамаска,
Кончаясь там, где был калифов трон;
И в раззолоченных дворцах Кордовы
Повеял дух и чище и живей,
Чем тот, что был в гаремах на Востоке.
И письма на стенах заменились
Картинами, где в светлом сочетанье
И звери и цветы являлись взору;

Где тамбурин с цимбалами бренчали,
Там раздались напевы под гитару
И зазвучали страстные романсы;
И где владыки мрачный, строгий взор
На ложе звал рабыню, там жена
Явилась с поднятою головою
И нежною рукой смирила грубость
Обычаев суровых мавританских.
И расцвело прекрасное в прекрасном.
Искусство, знанье, слава и любовь
Взросли тогда, лелеемые пышно
Абдерахманов царственной рукой.
Из Византии стали прибывать
Ученые и привозили свитки;
И мудрость их дала плодов избыток;
Тогда в Кордову начали стекаться
Из разных стран толпой ученики,
Чтоб наблюдать течение светил
И разрешать загадки нашей жизни.
Кордова пала, и на смену ей
В величии Гренада вознеслась.
Еще поется в песнях до сих пор
О рыцарях Гренады благородных,
О чести их, об их великодушье,
О том, как билось у красавиц сердце,
Когда те рыцари вступали в бой.
Но наступил иной, кровавый бой,
И пала светозарная Гренада,
И победитель, чести бранной чуждый,
Коварно слову изменил, которым
Свободу веры маврам обещал,
И побежденным предоставил выбор
Испанию для Африки покинуть
Иль веру христианскую принять.
Крестился Али. Он не захотел
Вернуться снова в дикую страну.
Его влекли искусство, красота,
Наука, здесь расцветшие так пышно.
Он о судьбе заботился Зюлеймы,
Которая могла увянуть вскоре
В покоях тесных душного гарема.
Его влекла любовь к отчизне милой,

К Испании прекрасной и цветущей.
Но более всего его влекло
Чудесное виденье, дивный сон,
В котором вихрь и буря, стонет ветер,
Звенит оружие и несется клич:
«Кирога и Риего!» — клич безумный, —
Струится кровь ручьями, и темницы
И замки угнетателей — в дыму
И в пламени, и восстает в дыму
И в пламени глагол святой, извечный,
Сиянье благодати излучая.

(Удаляется.)

*А л ь м а н з о р (появляется
в задумчивости. Холодно и вяло)*

В старинных сказках — замки золотые,
Под звуки арф красавицы танцуют,
Блестят одежды праздничные слуг,
Благоухают розы и жасмины.
Но стоит слово вымолвить одно,
И вмиг исчезнет все очарованье,
Останутся развалины в пыли
И карканье болотных птиц в трясине.
Вот так и я сейчас единым словом
Цветущий мир расколдовал в мгновение.
Недвижим он, и холоден, и вял,
Подобно телу мертвого владыки,
Чьи щеки покрывает слой румян,
В чьи руки вложен скипетр величавый,
Но губы вянут блеклой желтизной —
Забыли их, как щеки, нарумянить,
И мыши нагло возятся у носа,
Над скипетром владыки издеваясь...
Не наша ль кровь слепит порой нам очи,
И розовым сияньем озаряет,
И красит так чудесно листья розы,
Ланиты дев, и облака над нами,
И прочий вздор, что нас в восторг приводит?
Но вот я снял волшебные очки —
И скверный мир я вижу пред собой!
Фальшивят птицы, и кричат деревья,

Как древние старухи; не лучи
Льет солнце с неба, а бросает тени;
Бесстыжие фиалки — как блудницы;
Тюльпаны, и гвоздики, и левкой
Наряд воскресный пестрый снимали
И облеклись в заштопанные платья.
Во мне самом заметна перемена, —
Девичий нрав, и тот не так изменчив!
Я превратился в высохший скелет;
Мои слова — порыв холодный ветра,
Что дребезжит по ребрам обнаженным.
Бесследно сгинул, выселился ум
Из головы, и в черепе моем
Паук спокойно тянет паутину.
И плачу я лишь внутренне: во сне
Глаза мои украдены, взамен
Мне вставили пылающие угли.

Ты, ангел, о котором говорила
Мне няня встарь, что будто счет ведешь ты
Слезам, которые ронял Альманзор,
Ты отдохнешь теперь. Тяжел был труд,
Твой каждодневный труд, мой бедный счетчик, —
Не просчитался ль ты? И как ты мог
Запомнить наизусть такие числа?
Ты утомился, да и я устал.
Устало сердце биться непрерывно.
Мы отдохнем.

(Ложится под каштановым деревом.)

Я очень утомлен,
Я очень болен, болен, даже хуже!
Ведь наша жизнь болезней всех страшней;
Нас исцелит одна лишь смерть. Она —
Последнее, но верное лекарство,
И под рукой всегда, и дешева.

(Вынимает кинжал.)

Лекарство из металла, ты глядишь
С сомнением. Поможешь ли ты мне?

Г а с с а н *(подходит незаметно)*

Аллах тебе поможет!

А л ь м а н з о р (не замечая его,
обращается к кинжалу)

Что бормочешь?
Ужель нуждаешься ты в остром слове,
Чтобы пронзить измученное сердце?

Г а с с а н

Все благо, что Аллах творит.

А л ь м а н з о р (продолжает обра-
щаться к кинжалу)

Ха, ха!
Кинжал пустился, кажется, в мораль!
Своим молчаньем больше скажешь ты,
Чем моралист своею болтовнею.

Г а с с а н (со вздохом)

Альманзор, говори, что ты задумал?

А л ь м а н з о р (увидев Гассана)

А! Это ты, двуногий умник, ты!
С глазами ты и с бородой Гассана?
Ты — сам Гассан? Вот это хорошо.
С тобою мы расстанемся. Прощай!
Я ухожу.

(Показывает кинжал.)

Вот этот узкий мостик
Ведет из края скорби в край блаженства.
Пускай при входе в этот край стоит
С мечом в руках гигант, как уголь, черный,
Он только трусам страшен, а отважный
Пройдет спокойно мимо, в край блаженства.
Да, там блаженство истинное, или —
Что все равно — там истинный покой.
Не слышно там докучного жужжанья,
И даже мухи не щекочут носа,
И яркий свет очей там не слепит;
Неведомы там зной, мороз, и голод,
И жажда; что всего важней — там спишь
День напролет, и ночью тоже спишь.

Г а с с а н

Нет, сын Абдуллы, только малодушный
Страданию противиться не в силах,
И он, бледнея, в ужасе бежит,
Оставив поле битвы; встань, Альманзор!

Альманзор (*поднимает каштан
с земли*)

По чьей вине упал каштан на землю?

Г а с с а н

Червяк волокна тайно подточил,
И вихрем паземь сбросило каштан.

А л ь м а н з о р

Как удержаться может человек,
Столь хрупкий плод, когда ему червяк...

(*показывает на сердце*)

И самый злой червяк — подточит силы,
И вихрь отчаянья его колеблет?

Г а с с а н

Альманзор, встань скорей! Презренный червь
Пусть ползает и корчится во прахе, —
Орел взлетает ввысь, навстречу солнцу.

А л ь м а н з о р

Обрежь орлу могучих два крыла,
И он, как червь, падет во прах на землю.
Отчаянье меня лишило крыльев,
Тех крыльев золотых, что в раннем детстве
Меня возносили к небу высоко.

Г а с с а н

Когда бы мне тебя сравнили с камнем,
Я этому охотно бы поверил.
Но не Альманзор ты, глядящий тупо
Раскрытыми, застывшими глазами,
Как брата твоего позорит враг,
Как нагло и надменно он смеется
Над лучшими, знатнейшими из нас,

Как разоряет их и на чужбину,
Беспомощных, бичами гонит прочь, —
Будь ты Альманзор, ты бы услышал
Стенанье жен и старцев беззащитных,
И наглый смех врагов, и вопли жертв
В зловещем, дымном пламени костров.

А л ь м а н з о р

Альманзор я. Я вижу этих псов!
Они собратьям в бороду плюют
И попирают их затем ногой.
Я слышу женщины несчастной плач:
Она в посту отведала жаркого
И жарится теперь во славу божью.
Вот девушку прекрасную связали —
Ее влюбленный пламень обнимает
И огненными лижет языками;
Она кричит, и рвется, вся зардевшись,
От пламенных поклонников, и плачет,
Несчастливая! И в яростное пламя
Роняет жемчуг светлых слез своих.
Но мне до этого какое дело?
Все сердце исколола мне судьба,
И нет в нем места для уколов новых.
К пчелиным жалам равнодушен тот,
Кто, окровавленный, лежит на плахе.
Альманзор я, поверь, и грудь открыта
Моя, как прежде, для чужих страданий;
Но в эту грудь сквозь узкие врата
Уж слишком много тяжких мук проникло,
И грудь полна...

(С тихой робостью.)

А кой-какие гости
И в мозг проникли в поисках приюта.

Г а с с а н

Вставай скорей! Не то скажу я слово,
Которое тебя встряхнет и кровь
Наполнит новым жаром...

(Наклоняясь к нему.)

Знай, Зюлейма
В объятиях испанца ночью будет.

*А л ь м а н з о р (судорожно
вскакивает)*

На голову обрушилось мне солнце
И бедный мозг расплющило, и гости,
Что там гнездились, выползли на свет
И надо мной кружат нетопырями,
Жужжат, и выются, и туманят мысли
Дыханием смертельным, ядовитым!

(Хватается за голову.)

О, горе мне! Колдунья сорвала
Мой череп и забросила его
В тот зал, где свадьба, где испанский пес
Целует с лаем милую мою
И языком прищелкивает. Ужас!

(Бросается к ногам Гассана.)

Приди на помощь голове моей,
В крови, без рук она, — кто пса задушит? —
Гассан! Гассан! отдай свои мне руки!

Г а с с а н

Да, руки я отдам тебе, Алмаздор,
И руки всех друзей отдам я также.
Испанского мы уничтожим пса,
Что захватил сокровище твое.
Вставай! Твоей Зюлейма будет скоро.

Алмаздор встает.

Подслушав ваш вчерашний разговор,
Бежать я вам советовал, но тщетно;
Отчаянно не стоит предаваться.
Я всех друзей своих сюда созвал;
По знаку моему они ворвутся
В дом Али как непрощенные гости;
Невесту схватишь ты и отведешь
На пристань, где корабль готов к отплытию;
Любовь Зюлеймы быстро возвратится.

А л ь м а н з о р

Любовь! Любовь! Ха, ха! Пустое слово,
Которое, зевнув, промолвил ангел,
Спросонья он потом опять зевнул,
И тысячи глушцов, и стар и млад,
Разинув рты, кричат: «Любовь! Любовь!»
Нет, нет! Я больше не зефир влюбленный,
Целующий девические щеки;
Я вихрь, что ей взметает волоса
И увлекает яростно с собой.
Нет, больше я не тонкий аромат,
Что девушке щекочет обонянье;
Я ядовитый пар, который жжет
И ей дурманит голову и сердце.
И не ягненок кроткий я отныне,
Что ласково к ногам пастушки жметя;
Я тигр, который в яростном прыжке
Все тело разрывает на куски;
Теперь я тела требую Зюлеймы,
Я только зверь счастливый, только зверь;
И, в опьяненье чувства, я забуду,
Что кроткие над нами небеса.

(Стремительно хватает Гассана за руку.)

Останусь я с тобой, Гассан! Средь моря
Пустынного мы оснуем державу.
И данником испанец будет гордый;
Его богатства будут нам добычей.
На палубе мы рядом будем биться
И черепа испанские дробить —
Собак поганых за борт! Судно — наше!
Ну, а теперь, чтоб отдохнуть от битвы,
К Зюлейме я в каюту поспешу,
Сожму ее в объятиях коварных
И поцелуями сотру с груди
Кровавый след. Противится она?
К ногам моим, рабыня! Пресмыкайся,
Ничтожество! Удел твой — охлаждать
Кровавый пыл бойца! К ногам, рабыня,
Покорна будь и остуди мой жар!

Оба поспешно уходят.

Зал в замке Али. Рыцари и дамы сидят в праздничных нарядах за столом. Алп. Дон Эрикке. Зюлейма. Аббат. Музыканты. Слуги разносят кушанья.

Рыцарь (встает, с бокалом в руке)

Я царственное имя возглашу:
За здравие Кастильской Изабеллы!

(Пьет.)

Часть гостей
За здравие Кастильской Изабеллы!
Звон бокалов и трубные звуки.

Аббат

Еще я имя назову: Хименес!
Да здравствует! Я возглашаю тост.

Часть гостей
Да здравствует Хименес из Толедо!
Звон бокалов и трубные звуки.

Второй рыцарь

Я предлагаю самый лучший тост:
Да здравствуют невеста и жених!

(Пьет.)

Все

Да здравствуют невеста и жених!
Звон бокалов и трубные звуки.
Зюлейма и Эрикке кланяются.

Дон Эрикке

Благодарю.

Второй рыцарь

А что ж молчит невеста?

Дон Эрикке

Да, донна Клара мало говорит,
Но ведь сегодня и немного нужно:
Лишь «да» пред алтарем — и счастлив я.

З ю л е й м а

Сеньор, тоска ужасная на сердце.

Т р е т и й р ы ц а р ь

Недобрая примета, дон Энрике:
Вы опрокинули на стол солонку.

Ч е т в е р т ы й р ы ц а р ь

Гораздо худшей было бы приметой
Бокал с вином на скатерть опрокинуть.

Т р е т и й р ы ц а р ь

Дон Карлос мастер выпить.

Ч е т в е р т ы й р ы ц а р ь

Это так.

Он не трусливый суевер, как вы,
Которому обед пересолен,
Коль кто-нибудь солонку опрокинет.
Когда я пью, в своей стихии я!
В струях вина живых и золотистых —
Бальзам целебный для больного духа;
И мне всегда смешно, когда я вспомню
Про трезвого пророка...

Да, сеньор,

Вино, да, я хотел сказать, вино
Чудесное...

А л и

Педрильо! Эй, Педрильо!

П е д р и л ь о

Сеньор, я здесь.

А л и

Позвать сюда певцов,
Шутов, комедиантов и танцоров,
Арфистов — всякий сброд из Барселоны.
Позвать скорей!

П е д р и л ь о

Я слушаю, сеньор.

(Уходит.)

Пятый рыцарь (*разговаривает
с дамой*)

Жениться не намерен я, сеньора.

Дама

Вы шутите, конечно, дон Антонио, —
Ведь вы угодник дамский, друг любви.

Пятый рыцарь

Люблю, конечно, мирты я; отрадны
Очам моим и зелень их и свежесть,
Приятен сердцу нежный аромат;
Но супа я из них варить не стану
И есть не буду их — уж очень горек,
Сеньора, слишком горек этот суп.

Аббат (*разговаривая с соседом*)

То было чудное аутодафе!
Отрадная для христиан картина,
А грешникам в горах внушает ужас.

(*К Али.*)

Вы знаете, что наши победили:
Неверные разбиты и бежали,
Рассеялись и рыщут по горам,
Невдалеке от нас...

Али (*посмотрев на дверь*)

И слава богу!

Об этом слышал я, святой отец, —
Ну, а теперь шуты нас позабавят...

Паляцы, шуты, плясунны и арфисты входят.
Комический балет.

Арфист (*поет*)

Во дворе перед Альхамброй
На двенадцати колоннах
Львы из мрамора поднимают
Алебастровую чашу.

В ней вода колышет розы
Ослепительного цвета;
Это кровь бойцов отважных,
Светлых рыцарей Гренады.

А л и

Нет, эта песня чересчур печальна.
Спой свадебную нам, повеселее!

А р ф и с т (поет)

Жил рыцарь на свете, угрюм, молчалив,
С лицом поблекшим и впалым;
Ходил он шатаясь, глаза опустив,
Мечтам предаваясь вялым.
Он был неловок, суров, нелюдим.
Цветы и красотки смеялись над ним,
Когда брел он шагом усталым.

Он часто дома сидел в уголке,
Боясь любопытного взора.
Он руки сжимал в безысходной тоске,
Ни с кем не ведя разговора.
Когда ж наступала ночная пора,
Там слышались странное пенье, игра,
И у двери дрожали затворы.

И милая входит в его уголок
В одежде, как волны, пенной,
Цветет, горит, словно вся — цветок,
Сверкает покров драгоценный.
И золотом кудри спадают вдоль плеч,
И взоры блещут, и сладостна речь —
В объятьях рыцарь блаженный.

Рукою ее обвивает он,
Недвижный, теперь пламенест,
И бледный сновидец от сна пробужден,
И робкое сердце смелест.
Она, забавляясь лукавой игрой,
Тихонько покрыла его с головой
Покрывалом снега белее.

И рыцарь в подводном дворце голубом,
Он замкнут в волшебном круге.
Он смотрит на блеск и на пышность кругом
И слепнет в невольном испуге.
Она его держит в объятьях своих,
Русалка — невеста, а рыцарь — жених,
На цитрах играют подруги.
Поют и играют; и множество пар
В неистовом танце кружатся.
И смертный объемлет рыцаря жар,
Спешит он к милой прижаться...

П е д р и л ь о *(врывается в страхе)*

Аллах! Иосиф! Иисус, Мария!
Они идут сюда, мы все погибли!

В с е

Кто, кто идет?

П е д р и л ь о

Да наши там!

В с е

Как? Наши?

П е д р и л ь о

Не наши, нет. Еретики подходят,
Презренные мятежники из гор,
Разулись и подкрались незаметно...
Мы все погибли, слышите — идут!

Слышно бряцание оружия. Смутные крики: «Гренада! Аллах!
Магомет!»

Н е с к о л ь к о р ы ц а р е й

Пусть подойдут!

Д р у г и е

К оружию, скорей!

Дамы в ужасе. Зюлейма лишается чувств. В зале шум и движение.

А л п

Прошу вас успокоиться, сеньоры.
Ведь мавры вежливы и даже в гневе
По-рыцарски встречать привыкли дам.
А мы, мужчины, встретим их как должно...

В с е р ы ц а р и (*обнажая мечи*)

За жизнь и честь сразимся мы! К оружию!

Звон оружия. Смутный говор. Врываются м а в р ы; во главе их
Г а с с а н и А л ь м а н з о р. Последний прокладывает себе
дорогу к лежащей без чувств Зюлейме. Сражение.

Лес. Издали доносится бряцание оружия и босвые клики.
П е д р и л ь о появляется, в ужасе заломив руки.

П е д р и л ь о

Какое горе! Вот тебе и свадьба!
Теперь пропали шелковые платья,
Их растерзают, разорвут в клочки
И вымажут в крови. А кровь течет
Взамен вина! Я не бежал как трус,
Я только уступил бойцам дорогу,
Управятся и без меня. Уже
Врагов из залы вытеснили мы —
Ага!

(*Смотрит в сторону.*)

Теперь дерутся перед замком.
А там-то! Ух! Как саблей машет он!
Нет, было б худо, если б мне в лицо
Заехал он такой кривою штукой.
Вон там кому-то отрубили нос.
А вот вспороли толстому дон Санчо
Объемистый, упитанный живот.
А это что за красный рыцарь? Странно!
Одет в испанский плащ, а между тем
За мавров бьется. — Инсус! Аллах!

(*Плачет.*)

Ах, бедная, прекрасная Зюлейма!
Взвалил ее на плечи красный рыцарь

И крепко держит левою рукой,
А правою рукою саблей машет
И рубится как бешеный... Он ранен...
Упал! Нет! Нет! Лишь пошатнулся... встал,
Опять дерется... побежал... А я?
Опять я должен уступить дорогу.

(Бросается прочь.)

А л ь м а н з о р проходит, шатаясь от усталости. На плече у него
бесчувственная З ю л е й м а, он волочит за собою меч и восклицает:
«Зюлейма! Магомет!» Появляются м а в р ы и и с п а н ц ы, сра-
жаясь. Мавров теснят. Г а с с а н и А л и яростно дерутся.
Гассан ранен. Появляются д о н Э н р и к е, Д и е г о
и и с п а н с к и е р ы ц а р и.

Г а с с а н *(падая)*

А! Я змеей ужален христианской!
И прямо в сердце, — о Аллах, ты спишь?
Нет, праведен Аллах, и он творит
Лишь благо. — Ты забыл Гассана? — Нет,
Лишь человек способен позабыть
И господу, и друга своего,
И лучшего слугу. — Ты помнишь, Али,
Слугу Абдуллы, старого Гассана?
Абдулла...

А л и *(разражаясь гневом)*

Да, его зовут Абдуллой —
Предателя, трусливого злодея,
Кровавого убийцу, что лишил
Меня отрады драгоценной — сына.
Альманзора убийца — он, Абдулла...

Г а с с а н *(умирая)*

Абдулла не злодей и не предатель,
Альманзора Абдулла не убил!
Альманзор жив, он жив, он здесь, вот он,
Похитивший Зюлейму красный рыцарь,
Вот он...

А л и

Мой сын, Альманзор, жив? Он здесь?
Он — красный рыцарь, что унес Зюлейму?

Г а с с а н

Да, да! Он не отдаст того, что взял.
Ты лжешь, Абдулла не убийца гнусный,
Он не предатель, не христианин.
Оставь меня — я вижу дев прекрасных,
Уже я вижу гурій чернооких...

(Блаженно улыбается.)

Старик Гассан и девы молодые!

(Умирает.)

А л и

Благодарю, о боже! Сын мой жив!
Явил ты знак святого милосердья!
Он жив, мой сын! За мной, друзья, скорей,
За сыном вслед! Он здесь, недалеко!
С собой он взял добычу дорогую,
Невесту, что назначена ему.

Общее удивление; только дон Энрике и дон Диего долго смотрят друг на друга в молчании.

Д о н Э н р и к е *(плаксиво)*

Ну что же, дон Диего?

Д о н Д и е г о *(передразнивая его)*

Что же, дон
Энрике дель Пуэнта дель Саурро?

Д о н Э н р и к е

Что ж делать нам теперь?

Д о н Д и е г о

Как что нам делать?
Теперь должны расстаться мы, сеньор.
Вам не везет. Истратил я две сотни
Дукатов. Денег нет. Труды пропали.

(Злобно смеется.)

Я с юных лет придумываю штуки,
Измучен, поседела голова;
Брожу тропой неверной по лесам,
Клобочки рвут мне кожу и одежду:
Карабкаюсь на скалы, на вершины
Взбираюсь — и уж если провалюсь,
Мои мозги воронам на обед
Достанутся. И все же я — бедняк!
И все же я бедней церковной мыши!
А мой товарищ школьный, круглый дурень,
Идущий напрямик, без задних мыслей,
Протоптанной, широкою дорогой,
Ступает грубой поступью воловьей,
Он стал богатым, толстым и ученым.
Нет, нет, сеньор, простимся, я устал!

(Уходит.)

Д о н Э н р и к е *(долго смотрит в задумчивости)*

Не даст ли дон Гонсальво мне займы?

(Уходит.)

Горы. А л ь м а н з о р, измученный и окровавленный, взбирается на вершину утеса с бесчувственной Зюлеймою на руках.

А л ь м а н з о р

О, помоги, Аллах! Я так устал,
Я козочку свою унес в тот миг,
Когда охотник угрожал ей смертью.

(Садится на вершину утеса с Зюлеймою на коленях.)

Я — бедный Меджнуц, на скале сижу я
И забавляюсь с козочкой моей.
Ведь козочкою обернулась Лейла,
Глядит в глаза мне ясными глазами.
Сомкнулись веки, спит теперь она.
Потише! Чирик, не свисти так громко,
Гуди потише, жук! Ты, ветерок,

Не шелести листвой так громко, — тише!
Я песенку спою моей Зюлейме.

(Укачивает Зюлейму на коленях и поет.)

Оделось солнце в свой ночной,
В свой розовый наряд;
Пора и птицам на покой,
Уснуть они хотят.
Спи, моя козочка, спи.

Спит козочка, да что-то очень долго.
Прекрасные, веселые глаза
Сомкнулись, крепко-накрепко сомкнулись, —
И навсегда? Иль козочка мертва?

(Заливается слезами.)

Мертва! Нет белой козочки моей!
Навек погасли звездочки-глаза!
О козочка! Тебя я схороню
Средь лилий, роз, фиалок, гиацинтов.
Из света лунного покров сотку я
На гроб тебе. Малиновка поет
Отходный гимн, двенадцать золотых
Жуков весь день стоять на страже будут
У беленькой твоей кровати; ночью
Затеплятся двенадцать светлячков,
Как свечи погребальные; а сам я
У гроба буду плакать день и ночь.

Зюлейма приходит в себя.

Но что я вижу? Вздрогнула она!
Пошевельнулась! Шелковым покровом
Уж больше не задернуты глаза!
Не козочка, не Лейла предо мною,
Дочь Али предо мной, моя Зюлейма...

Зюлейма открывает глаза.

Передо мной раскрылись небеса!

З ю л е й м а

Уж я — на небе?

А л ь м а н з о р

Нет, сейчас восстала
Из мертвых ты.

З ю л е й м а

Да, знаю, умерла,
И вот теперь с тобой на небе я.

(Озирается кругом.)

Как хорошо, легко, как воздух чист.
Здесь все одето в розовый наряд.

А л ь м а н з о р

Да, милая, на небе мы с тобой.
Взгляни, как там, внизу, цветы пестреют,
И мотыльки порхают над цветами,
И пеструю брильянтовую пыль
Они, резвясь, цветам в глаза швыряют.
Ты слышишь, ручеек журчит внизу.
Над ним стрекозы вьются голубые,
И плещутся и плавают русалки
В его волнах багряно-золотых?
Ты видишь, облака над нами ходят?
То тени праведных спешат толпою
В сады неувядающей весны.

З ю л е й м а

Коль здесь обитель праведных, Альманзор,
Скажи мне, как ты очутился здесь?
Мне говорил благочестивый патер,
Что небо для одних лишь христиан.

А л ь м а н з о р

Не думай о блаженстве ты моем.
Тебя держу я, милая, в объятьях,
И я блажен, стократ блажен Альманзор.

З ю л е й м а

Так он солгал! Ведь он мне говорил,
Что полюбить должна я дон Энрике.
Ему была послушна я. Старалась

Альманзора забыть. Но не могла.
Я с жалобой к пречистой обратилась;
Она мне кротко, нежно улыбнулась,
Окутала меня своим покровом
И вознесла на светлую вершину.
В пути звучала музыка. Трубили
Архангелы в чудесные рога
И пели песни... Как здесь хорошо!
Я в небесах, — и радостней всего,
Что мой Альманзор здесь и что в притворстве
Здесь, в небесах, уж больше нужды нет,
И я могу сказать: «Люблю тебя,
Люблю тебя, люблю тебя, Альманзор!»

Догорающий закат озаряет их обоих.

А л ь м а н з о р

Я знал давно, меня ты только любишь,
И больше, чем себя. Мне соловей
Об этом пел, и розы аромат
Донес о том, и ветерок поведал,
И по ночам твердили мне об этом
Златые буквы в книге голубой.

З ю л е й м а

Нет, не солгал аббат благочестивый:
Здесь, в небесах, так дивно хорошо!
О мой любимый, обними скорее
И на коленях укачай меня,
Останусь я, в блаженном опьяненье,
На небесах с тобой тысячелетья.

А л ь м а н з о р

Мы в небесах, и ангелы поют,
И слышен шелест их атласных крыльев, —
Сам бог живет здесь, в ямках этих щек...

Звон оружия в отдаленье. Альманзор вздрагивает.

А там, внизу, там — Эблис; он ужасным
Из бездны воплем небу угрожает,
И руки простирает он за мной.

З ю л е й м а *(в страхе)*

Ты задрожал! Чего ты испугался?

А л ь м а н з о р

То Эблис, или дьявол, или люди,
Не все ль равно, — сюда они стремятся,
В мой светлый рай, за мной.

З ю л е й м а

Тогда бежим

В долину, где цветы пестреют ярко,
Порхают мотыльки, журчит ручей,
Жужжат стрекозы, соловьи поют,
Плывут в туман волшебные виденья.
Возьми меня с собой, прижми к груди!

(Прижимается к нему.)

А л ь м а н з о р *(скакивает, держа
в объятьях Зюлейму)*

Скорее вниз! Цветы кивают в страхе,
Манит пугливой трелью соловей,
И тени праведных средь облаков
Протягивают руки и зовут
Туда, туда...

Мавры бегут, гонимые.

Охотники бегут

Зарезать козочку! За ними — смерть,
А жизнь внизу, в долине, расцветает,
И небо я держу в своих объятьях.

(Бросается с утеса вместе с Зюлеймой.)

Испанские рыцари, преследующие мавров, увидев это,
останавливаются в испуге.

Г о л о с А л и

Найти его! Он здесь, недалеко!

А л и появляется.

Н е с к о л ь к о р ы ц а р е й
Ужасно!

А л и

Что ж, нашли вы их обоих?

Р ы ц а р ь (*указывая наверх*)

Мы их нашли, но бросился с утеса
Безумец вместе с ношей дорогой.

Все молчат.

А л и

В твоём теперь нуждаюсь я глаголе,
В примере, в утешенье, Иисус.
Мне не постигнуть воли всемогущей,
Но чувствую: заглохнуть суждено
И лилии и мирту на пути,
Где золотая божья колесница
В величии победном прогремит.



ВИЛЬЯМ РАТКЛИФ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Мак-Грегор, шотландский лорд.

Мария, его дочь.

Граф Дуглас, ее жених.

Вильям Ратклиф.

Лесли, его друг.

Маргарита, кормилица Марии.

Том, хозяин воровского притона.

Вилли, его маленький сын.

Робби

Дик

Билль

Джон

Тедди

Разбойники, слуги, гости на свадьбе.

Действие происходит в наше время, на севере Шотландии.

Комната в замке Мак-Грегора.

Маргарита сидит, скорчившись, неподвижно в углу.

Мак-Грегор. Мария. Дуглас.

Мак-Грегор (*соединяет руки
Дугласа и Марии*)

Теперь вы муж с женой. Как ваши руки,

Так и сердца должны соединиться

В несчастии и в радости — навеки.

Вас тайнством двойным и неразрывным
Связали ныне церковь и любовь;
Двойное вам дано благословенье,
А вот — благословение отца.

(Возлагает руки на их головы, благословляя.)

Д у г л а с

Горжусь, милорд, что вы теперь отец мой.

М а к - Г р е г о р

Вдвойне горжусь я, граф, что вы мой сын.

Обнимаются.

М а р г а р и т а *(поет надтреснутым,
безумным голосом)*

«Зачем твой меч окрашен в кровь,
О Эдвард, Эдвард?»¹

Д у г л а с *(в испуге вскакивая
и смотря на Маргариту)*

Мой бог! Милорд, что за стеклянный звук?
Она поет, немая эта тень.

М а к - Г р е г о р *(с принужденною
улыбкой)*

Не бойтесь. Это — наша Маргарита,
Безумная. Страдает столбняком
Она давно. С застывшими глазами
Часами скорчившись лежит она;
Лишь иногда, как говорящий камень,
Не шевелясь, бормочет свой напев.

Д у г л а с

К чему держать вам пугало такое!

М а к - Г р е г о р *(тихо ему)*

Потише. Слышит все она; давно бы
Прогнал я Маргариту — да нельзя.

¹ Слова из шотландской баллады.

М а р я

Оставьте эту бедную в покое.
Что нового, скажите лучше, Дуглас?
Что в Лондоне? Мы ничего не знаем
В Шотландии.

Д у г л а с

Там все идет как прежде:
Охота, скачки, улица бушует,
Днем спят, а ночи превращают в дни.
Воксхолл, и рауты, и пикники,
Блистают Дриорилен и Ковентгарден.
Шум оперный. За поты для певцов
Дают банкноты. И толпа ревет:
«God save the King!»¹ А в кабачках подвальных
Политику разводят патриоты,
Бедут подписку, ссорятся, зевают
И пьянствуют в честь родины своей.
Дымится ростбиф, льется пенный портер,
И шарлатан, смеясь, рецепты пишет.
Воришек тьма. Мошенники изводят
Учтивостью, а нищие томят
Своими стонами и жалким видом.
Всего мучительней покроей одежды:
В обтяжку фрак, тугой стоячий галстук
И шляпа выше вавилонской башни.

М а к - Г р е г о р

Зато мне милы шапочка и плед.
Вы мудро поступили, сбросив эти
Дурацкие одежды. Дуглас должен
И с виду быть шотландцем, и сегодня
Особенно мне по сердцу, что всё вы
Шотландский милый носите паряд.

М а р я

Как съездили вы, Дуглас, расскажите.

¹ «Боже, храни короля!» — английский гимн.

Д у г л а с

Доехал я в карете до границы.
Но так тащиться — скучно. И в Олд-Джедбро
Я взял коня. Я шпоры дал ему,
Притом и сам пришпорен был любовью.
О вас одной я думал, и стрелою
Мчал конь меня сквозь горы и леса.
В лесу близ Инвернеса я едва
Не поплатился за свое раздумье.
Пиф! Паф! — меня три пули пробудили
От грез моих, над ухом просвистев.
Три негодяя кинулись ко мне.
Бой начался. Посыпались удары.
Я защищался яростно; но все же
Погибнуть мог. — Мария, вы бледны!
Шатаетесь....

*М а р г а р и т а (быстро подскакивает
и подхватывает теряющую сознание Марию)*

Ах, куколка, красотка,
Бледна как мел, как камень холодна!

(Гладит Марию, приговаривает и подпевает.)

«Светик мой золотой,
Глазки ясные раскрой!
Бог с тобой, лобик твой
Точно мрамор ледяной.
Нежный зной, вей весной
Над прозрачной белизной».

М а к - Г р е г о р

Довольно бредить, глупая старуха,
Ты голову больную вскружишь ей.

М а р г а р и т а (грозя пальцем)

Браниться? Ты? Сначала вымой руки.
Они в крови. Ты можешь замарать
Наряд венчальный куколки. Уйди,
Советую.

М а к - Г р е г о р (опасливо)

Помешанная бредит!

М а р г а р и т а (поет)

«Светик мой золотой,
Глазки ясные раскрой!»

М а р и я (приходит в сознание
и подымается, держась за Маргариту)

Что ж было дальше? Я готова слушать.

Д у г л а с

Мне очень жаль, что я сказал... Так вот:
Какой-то всадник быстро подскакал,
Ударил в тыл разбойникам и с силой
Врубился в них. А я воспрянул духом
И вновь обрел свободу. Обратили
Мы в бегство псов. Хотел благодарить
Я моего спасителя. Но, крикнув:
«Мне некогда», — он быстро ускакал.

М а р и я (улыбаясь)

Ну, слава богу! Как я испугалась!
Теперь мне лучше. Выйдем, Маргарита,
Мои подруги в зале ждут меня.

М а р г а р и т а (Мак-Грегору,
боязливо)

Ты не сердись. Порою Маргарита
В своем уме.

М а к - Г р е г о р

Ступайте, мы придем.

Мария и Маргарита уходят.

М а к - Г р е г о р. Д у г л а с.

Д у г л а с

Дивлюсь, как впечатлительна Мария,
Как боязлива, как она бледнеет,
Малейший шум ее бросает в дрожь.

Мак - Грегор

Не смею я скрывать от вас причину
Ее сегодняшнего страха, Дуглас.
Простите, что о ней молчал я прежде.
С отвагою безумною своей
Вы сами бы опасности искали,
Которую от вас я отвратил:
Злодея, что украл покой Марии,
Вы сами бы стремились уничтожить.

Дуглас

Но кто ж дерзнул Марии угрожать?

Мак - Грегор

Спокойно выслушать рассказ печальный
Я вас прошу. Шесть лет тому назад
Однажды к нам заехал по пути
Студент из Эдинбурга, Вильям Ратклиф.
С отцом его я близко был знаком,
Да, очень близко — то был Эдвард Ратклиф.
Гостеприимно сына встретил я
И приютил его на две недели.
Марию он увидел, заглянул
В ее глаза — и слишком загляделся,
И стал вздыхать, томиться, — но Мария
Сказала прямо, что не люб он ей.
Он выслушал отказ и удалился.
Спустя два года к дочери моей
Из замка Айс посватался Филипп
Граф Макдональд — и получил согласие.
Шесть месяцев прошло; пред алтарем
Стояла дочь — жених не приходил.
Мы обыскали все покои замка,
Двор, службы, сад — и тело Макдональда
В лесу у Камня Черного нашли.

Дуглас

Кто был убийца?

Мак - Грегор

Безуспешны были
Все поиски, но, наконец, Мария
Призналась, что убийца ей знаком:

В ту ночь, когда убийство совершилось,
Прокрался Вильям Ратклиф в спальню к ней
И ей со смехом руку показал,
Всю красную от крови Макдональда,
И обручальный перстень жениха
Вручил невесте с вежливым поклоном.

Д у г л а с

Проклятье! Вот насмешка! Что же вы?

М а к - Г р е г о р

Я тело Макдональда приказал
Похоронить в его фамильном склепе
И там, где был убит покойный граф,
Поставил крест на память об усопшем.

Но Ратклифа искал я безуспешно.
Его встречали в Лондоне, где он
Наследство матери своей покойной
В гульбе и пьянстве быстро промотал,
Жил картами, долгами и, по слухам,
По-рыцарски не брезговал разбоем.
С тех пор прошли еще два года, стали
Убийство и убийца забываться,
Когда лорд Дункан в замок наш приехал
Просить руки у дочери моей.
Я дал согласие и склонил ее
Согласием ответить человеку,
Ведущему свой род от королей.
Но горе нам! Когда пред алтарем
Стояла дочь моя в невольном страхе,
Близ Камня Черного убит был Дункан.

Д у г л а с

Ужасно!

М а к - Г р е г о р

«На коней!» — я крикнул слугам,
И мы помчались быстро, и повсюду
Искали мы, в полях, в лесах, в оврагах.
Прошло три дня, — напрасно, не нашли
Нигде следов убийцы. И однако,

В ту ночь, когда лорд Дункап был убит,
Прокрался Ратклиф в комнату Марии,
И, издеваясь, с вежливым поклоном
Он перстень жениха ей возвратил.

Д у г л а с

Клянусь, он смел! Вот с кем бы повстречаться!

М а к - Г р е г о р

Наверное, вы встретились уж с ним
В лесу близ Инвернеса. Удивляюсь,
Что стража не заметила его;
Я, граф, заботу приложил к тому,
Чтобы и ваше имя не пришлось мне
На крест у Камня Черного вписать.

(Уходит.)

Д у г л а с *(один)*

Расчетливо Мак-Греггор умолчал,
Дождавшись обручения. Вот лиса!
Но я хочу помериться с упрямцем,
Который злобно так грозит Марии.
Он с пальца моего кольца не снимет,
Где палец мой, там и моя рука.
Я не люблю Марию, и она
Меня не любит. Брачный наш союз
Мы лишь в угоду свету заключили.
Но сердцем кроткой девушке я предан,
Очистить надо путь ее от терний.

Л е с л и, закутанный в плащ, входит, осторожно озираясь.

Д у г л а с. Л е с л и.

Л е с л и

Граф Дуглас?

Д у г л а с

Да, я Дуглас. Что угодно?

Л е с л и *(передает ему письмо)*

Так, значит, к вам вот это письмецо.

Д у г л а с *(прочитав письмо)*

Да, да! Скажи — приду я. Черный Камень!

Оба уходят.

Воровской притон. В глубине сцены спят несколько человек. На стене висит образ святого. Тикают стенные часы. Вечерние сумерки.

В и л ь я м Р а т к л и ф сидит, нахмурившись, в углу комнаты. В другом углу сидит Т о м, хозяин, держа между колен сынишку В и л л и.

Т о м *(тихо)*

Ты «Отче наш» прочесть умеешь, Вилли?

В и л л и *(громко, со смехом)*

Да как еще!

Т о м

Ты только не кричи,
Не то людей усталых перебудишь.

В и л л и

Ну что ж, валять?

Т о м

Да, только не спеши.

В и л л и *(быстро)*

«Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя твое. Да придет царствие твое. Да будет воля твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас... *(запинается)* не введи нас... не введи нас...»

Т о м

Вот видишь! Ты запнулся: «Не введи нас во искушение». Начни с начала.

В и л л и *(смотрит не отрываясь в сторону Вильяма Ратклифа и говорит боязливо и неуверенно)*

«Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя твое. Да придет царствие твое. Да будет воля твоя на земле,

как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день.
И прости нам долги наши, как и мы прощаем должни-
кам нашим. И не введи нас... (*запинается*) не введи
нас... не введи нас...

Т о м (*сердито*)

«Во искушение!»

В и л л и (*со слезами*)

Отец, бывало я
Выпаливал зараз. Но этот смотрит...
(*показывает на Вильяма Ратклифа*)
Все время на меня он косо смотрит!

Т о м

На ужин, Вилли, рыбы не получишь.

(*С угрозой*)

А если из чулана украдешь...

В и л л и (*со слезами, в тоне*
«Отче наш»)

«Не введи нас во искушение».

Р а т к л и ф

Оставьте. Сам я никогда не мог
Запомнить это место из молитвы.

(*Скорбно.*)

«Не введи нас во искушение».

Т о м

Ведь, право, жаль, коли мальчишка будет
Похож на вас и тех воц.

(*Показывает на спящих.*)

Ну, ступай.

В и л л и (*уходит и бормочет*
про себя плаксиво)

«Не введи нас во искушение».

Те же, кроме Вилли

Р а т к л и ф *(улыбаясь)*

Что вы сказали?

Т о м

Пусть он будет честен,
Не висельник, как я, его отец.

Р а т к л и ф *(насмешливо)*

Уж будто вы так плохи?

Т о м

Нынче, правда,
Я стал ручным и пиво здесь цежу.
А так как домик мой в лесу припрятан,
То я даю приют персонам важным,
Инкогнито хранящим, вроде вас,
Что спят лишь днем, а ночь в труде проводят.
Я принимаю днем, не по ночам.
А прежде был лунатиком и рыскал

(делает движение пальцами)

По комнатам чужим и по карманам,
Но никогда не подражал вот этим.

(Показывает на спящих.)

Взгляните, вот пройдоха. Гений он!
Он обладает прирожденной страстью
К чужим платкам. Крадет их, как сорока.
Как шевелит он пальцами во сне!
А этот, длинный, с тощими ногами,
Как у сверчка, — он был портным. Сперва
Обрезки крал, потом тюки сукна.
С трудом удрал от виселицы; впрочем,
С тех пор страдает дрожью он в ногах.
Ишь, дрыгает! Бьюсь об заклад, во сне
Он лестницу увидел, как Иаков.
Взгляните-ка. Вон старый толстый Робин,
Как он храпит спокойно — по увы!
Он десять душ сгубил по меньшей мере.
Когда бы он католик был, как мы,
И мог покаяться! Но еретик он,
Его повесят здесь, а там поджарят.

Р а т к л и ф (ходит, в беспокойстве,
взад и вперед по комнате и непрерывно смотрит на часы)

Нет, Робина, поверьте, не поджарят,
Там, наверху, другие судят судьи,
Не те, что здесь. Ведь Робин — человек;
А человек испытывает гнев,
Когда пред ним копейные души,
Мошенники в избытке утопают,
Рядятся в бархат, шелк, глотают устриц,
Купаются в шампанском, коротают
Досуг в постели доктора Грахама,
Катаются в колясках золоченых,
Надменный взор бросая бедняку,
Который, взяв последнюю рубашку,
Бредет в ломбард, понурясь и вздыхая.

(Горько смеется.)

Взглянуть на этих умных, сытых, жирных,
Искусно оградившихся законом,
Как неприступным валом, от вторженья
Голодных и докучных оборванцев!
И горе тем, кто вал перешагнет!
Суд, палачи, веревки — все готово...
Нет! Кой-кого все это не страшит.

Т о м

И я когда-то думал так, деля
Весь мир на два враждующие стана,
А именно: на сытых и голодных.
И так как я принадлежал к последним,
То с сытыми пускался часто в схватку.
Но, убедившись, что неравен бой,
Стал отставать от ремесла такого.
Устал я очень: рыскать беспрестанно,
Людей бояться, света избегать,
А проходя близ виселицы, робко
Глядеть, не я ли сам на ней вишу,
Во сне же видеть все Ботани-Бей,
Тюрьму или бессрочные работы.

Поистине, собачья наша жизнь!
В лесу и в поле травят, словно дичь,

Мерещится в канаве каждой сыщик,
И даже сидя в комнате своей,
Боишься, как бы в дверь не постучали...

Л е с л и вбегает. Ратклиф бросается ему навстречу. Том испуганно отступает с восклицанием: «Иисусе!»

Л е с л и

Придет! Придет!

Р а т к л и ф

Придет? Что ж, хорошо.

Т о м (*робко*)

А кто придет? С недавних пор боюсь я...

Л е с л и (*Тому*)

Не бойся и оставь нас здесь одних.

Т о м (*ухмыляясь*)

А! Я смекнул: дележка, верно, будет.

(*Уходит.*)

Те же, без Тома.

Р а т к л и ф

Придет? Иду.

(*Берет шляпу и кинжал.*)

Л е с л и (*удерживая его*)

Не рано ли? Постой,

Пока стемнеет. За тобой следят
Мак-Грегора повсюду слуги. Знает
Тебя ребенок каждый; всем знаком ты.
Скажи, какой ты видишь в этом прок?
Опасности ты ищешь без нужды;
Вернемся в Лондон; там спокойней будет.
От здешних мест держись подальше лучше.
Все знают, ты прикончил Макдональда
И Дункана...

Р а т к л и ф

Прикончил? Нет! В бою
Они погибли. Я сражался честно;
И с Дугласом сражаться честно буду.

Л е с л и

Устройся проще. Так, по-итальянски.
(Делает движение, подражая бандитам.)

Да чем тебе так Дуглас помешал?
Что сделал он? Чем прогневил тебя?

Р а т к л и ф

Мы незнакомы; мне не сделал он
Вреда; и в сердце ненависти нет.

Л е с л и

А все-таки убить его ты хочешь?
Скажи, с тобой с ума сошли мы оба?
Мне — помогать безумию такому!

Р а т к л и ф

Беда тебе, коли поймешь, в чем дело!
И черепу беда! Он может лопнуть,
И выступит безумие сквозь щели.
Как скорлупа яичная, он треснет,
Твой бедный череп, будь он по объему
Не меньше купола Святого Павла.

Л е с л и *(иронически ощупывает
свою голову)*

Ишь, напугал! Молчи, молчи, приятель!

Р а т к л и ф

Не думай, не лунатик томный я,
Не тот, кто сам, за призраком гоняясь,
Травим своей фантазией, как псами,
Болезненный, чахоточный поэт,
Которого одолевают спазмы
При нежных звуках трелей соловьиных,
Который строит лестницу из вздохов
И, наконец, в петле из рифм плохих
Повиснет на столбе своей же славы.

Л е с л и

Я мог бы это подтвердить присягой.

Р а т к л и ф

И все-таки признаюсь, — как ни странно, —
Особые, чудовищные силы
Владеют мной; таинственная мощь
Моею волей правит, руководит
Во всех делах, и направляет руку,
И с детства мне внушает тайный ужас.

Когда я, мальчиком, играл один,
Явились мне два призрака туманных;
Они, в тумане руки простирая,
В объятия друг к другу устремлялись,
Но слиться не могли, в томленье тщетном!
Как ни были они воздушно-легки,
Но я успел в одном из них приметить
Мужчины гордые черты, в другом —
Прелестный женский образ. Часто
Во сне тогда обоих видел я
И различал ясней их выраженье;
Так скорбен был его туманный лик,
Так нежен был ее туманный взор.
Но, в школу в Эдинбурге поступив,
Я реже призраков моих стал видеть,
И в сутолоке жизни беззаботной
Рассеялись туманные черты.
И вот привел меня однажды летом
Какой-то случай в замок Мак-Грегора.

Марию я увидел. Взгляд ее,
Как молнией, мне душу озарил.
Черты такие ж, как у женской тени,
Те кроткие, знакомые черты,
Которые во сне мне улыбались!
И лишь не так была бледна Мария,
И лишь не так был затуманен взор.
Играл румянец, и глаза сияли;
Очарованье всей своей любви
На этот образ небо истощило;

И пресвятая в небесах была,
Наверное, не краше, чем Мария;
И, страстную охваченный тоскою,
Простер я руки и хотел обнять...

Пауза.

Не знаю как, но в зеркале увидел
Я сам себя... Я был мужскою тенью,
Что к женской тени руки простирала.
То был ли сон? То был ли чувств обман?
Так нежен взгляд Марии был, так ласков,
Сулил так много! Взор во взор проник!
Душа слилась с душою. Боже мой!
И жизни темный смысл внезапно мне
Тогда открылся, все постиг я сразу —
Язык цветов, и щебетанье птиц,
Любовное мерцанье звезд на небе,
И ветра шум, и смутный гул ручья,
И вздох глубокий собственного сердца!
Как дети, мы резвились с ней вдвоем,
Играли в прятки и в саду встречались.
Она цветы дарила, поцелуи;
Я поцелуи дважды возвращал.
И, наконец, колени преклонив,
Я произнес: «Мария, любишь ты?»

(Задумывается.)

Л е с л и

Хотел бы я тебя увидеть, Ратклиф,
С разжатым для молитвы кулаком,
Со страстью томной в гневно-диком взоре
И с негой в кротком голосе, столь страшном
Богатым лордам на большой дороге.

Р а т к л и ф *(с диким порывом)*

Змея! Она взглянула как-то дико,
Почти что с отвращеньем, на меня
И молвила, присев, с насмешкой: «Нет!»
Еще звучит ужасным смехом: «Нет!»
Еще звучит тяжелым вздохом: «Нет!»
И небеса замкнулись предо мною!

Л е с л и

Конечно, это очень подло, гнусно.

Р а т к л и ф

Покинул замок я, и в путь пустился,
И прибыл в Лондон; в суете столичной
И думал муки сердца заглушить.
Я сам себе был господином, рано
Оставшись в этом мире сиротой.
Но плохо удался мне новый план,
Не помогли шампанское и портер;
На дне стакана был осадок мутный.
Блондинки и брюнетки не могли
Моей душевной боли разогнать.
И фараон покоя не дал мне.
Я за столом лишь взор Марии видел,
Ее рукой паролы загибал;
В чертах лица червонной глупой дамы
Я узнавал небесные черты.
Не карта, нет! Мария то была;
Я чувствовал вблизи ее дыханье;
Она кивала головой — ва-банк!

Все деньги — к черту, а любовь — при мне.

Л е с л и *(смеется)*

Ха, ха! Потом ты оседлал коня,
Вскочил в седло, как рыцарь в старину,
И начал жить, как предки, наудачу.
Любовь твоя, конечно, уж прошла;
Трезвеешь быстро, езда по ночам
Сквозь вихрь и дождь близ виселицы черной
И види, что на ней висят друзья
Ногами, словно маятник, качая.

Р а т к л и ф

В огонь подлили масла. Страсть к Марии
Еще сильнее в сердце запылала.
Мне стало тесно в Англии; тянула
В Шотландию невидимая сила.
Я сплю спокойно лишь вблизи Марии,
Дышу всей грудью, и не знаю страха,

И отдыхаю. Выслушай, в чем тайна:
Поклялся я евангельшем святым,
И силою небес, и преисподней,
И клятву я проклятием скрепил, —
Что от руки моей падет безумец,
Дерзнувший как жених обнять Марию.
Ту клятву голос сердца произнес.
Служу я темной силе, и она
Со мной, когда счастливым я готовлю
У Камня Черного постель из роз.

Л е с л и

Я понял, но одобрить не могу.

Р а т к л и ф

И сам я — нет. Но голос тот — вот здесь,
Тот чуждый голос, что гнездится в сердце,
Твердит мне: «да», и призраки во сне
Кивают мне...

(вскрикивает)

О Иисус! Мария!

Вот там! Смотри, вот там! Вот там! Две тени!

Стемнело. Два туманных призрака проносятся по сцене и исчезают. Лежащие в глубине разбойники и воры, разбуженные криком Ратклифа, вскакивают с возгласами: «В чем дело? Что?»

Л е с л и

Какого черта, Ратклиф?

Я ничего не вижу.

Н е с к о л ь к о ч е л о в е к

Стража, что ли?

Л е с л и

Наоборот, увидел духов он.

Все смеются.

Р о б и н

Проклятие! Покоя нет и днем.

Р а т к л и ф

Смеркается; пойду.

Л е с л и

И я с тобой.

Р а т к л и ф

Не надо.

Л е с л и

Я до Камня лишь дойду;
Быть может, стража там.

Р а т к л и ф

Прогонит их
Оттуда страх; там жутко по ночам.

Л е с л и *(уходя, оставшимся)*

Привет!

Р а т к л и ф

Привет!

В с е

Благослови вас бог!

Ратклиф и Лесли уходят.

Те же, кроме Ратклифа и Лесли.

Р о б и н

Проклятие! Помешан он иль пьян!

Д и к

Уж он всегда таков. Его я знал
И в Лондоне. Его видал я часто
В таверне «Раскал». Он сидел часами,
Наморщив лоб, в углу обыкновенно,
Молчал и мрачно на огонь смотрел.
Но часто он и весел был, смеялся —
Уж слишком дико, правда; да, он был
Доволен, весел. А потом, внезапно,

Насмешкой злобной искажались губы,
Из груди вырывался скорбный хрип,
Он вскакивал, крича: «Коня мне, Джон!» --
И отправлялся к черту, пропадая
По месяцам. В Шотландию тогда
Скакал он, говорили, день и ночь.

Р о б и н

Так он больной.

Д и к

А мне-то что! Прощай.

(Уходит.)

Б и л л ь

Пу, время на работу выходить.

(Молится перед образом.)

Спаси, и сохрани нас, и помилуй.

(Уходит вместе с другими.)

Р о б и н *(подняв кулак к лицу)*

Заступник мой, спаси и сохрани!

(Уходит.)

Два вора еще не проснулись. Том, хозяин, подкрадывается и вытаскивает у них деньги из карманов.

Т о м *(с хитрой усмешкой)*

Пускай они к суду меня притянут!

(Уходит.)

Д ж о н и Т е д д и *(просыпаются)*

Д ж о н *(зевая)*

Сон — выдумка хорошая, ей-богу.

Т е д д и *(зевая)*

Закусим, Джон.

Д ж о н

Закусим. Как делишки?

Т е д д и

Да, надо думать, Риффель уж в петле.

Д ж о н

Вот виселица — выдумка плохая!

Оба уходят.

Дикая местность у Черного Камня. Ночь. Слева причудливо нагромождены скалы и стволы деревьев. Справа памятник в форме креста. Вост ветер. Появляются две белых туманных фигуры; они страстно протягивают друг другу руки, сближаются, потом вновь расходятся и, наконец, исчезают.

Входит Р а т к л и ф.

Р а т к л и ф (один)

У! Как гудит! Ад выслал всех флейтистов
Сюда, наверх. Теперь пошла игра.
Луна в широкий кутается плед
И скудный свет на землю сверху льет.

Ха, ха! По мне, совсем не нужно света.
И в полном мраке снежная лавина
Без фонаря отыщет верный путь,
Чтоб вниз скатиться; и кусок железа
Найдет дорогу сам собой к магниту;
И Ратклифа кинжал всегда разыщет
Грудь Дугласа, без верстовых столбов.
Придет ли графчик? Или ураган,
Боязнь простуды, насморка и кашля
Его удержат? Не решил ли он:
Я отложу н а з а в т р а? Ха, ха, ха!

А я покончить должен в эту ночь.
Коль не придет, я сам к нему приду.

(Ударяет по мечу.)

Вот этот ключ ко всем замкам подходит,
А вот они...

(кладет руку на пистолеты у пояса)

меня прикроют с тылу.

(Вынимает пистолет и рассматривает его.)

Как он глядит приветливо: охотно
Прижал бы я уста к его устам,
И надавил, — и в огненном лобзанье
Обрел бы радость, счастье и покой.

(Задумывается.)

А в этот самый миг, быть может, Дуглас
Свои уста прижал к ее устам...
Ха, ха! Вот то-то! Умереть нельзя.
Иначе по ночам вставать придется
И любоваться, скрежеща зубами,
Как дурень с похотливой мордой пса
Обнюхивает прелести Марии.
Мне умереть нельзя. Когда бы сверху,
Сквозь трещины небесного покрова,
В покои Дугласа я заглянул,
Таким бы я проклятьем разразился,
Что ангелы утратили б румянец
И в горле их застрял бы от испуга
Их бесконечный, водянистый гимн.
И если мне сужден навеки ад,
Так лучше буду чертом я самим,
Не грешником несчастным и ничтожным!

Ратклиф и Дуглас.

Р а т к л и ф

Чу! Слышу я шаги.

(Кричит громко.)

Эй, кто идет там?
Кто там идет? Откликнись! Отзовись!

Д у г л а с

Знакомый голос. Это он, тот рыцарь,
Что спас меня в лесу, близ Инвернеса,
И вырвал из разбойничьих когтей,

(Приближается.)

Да, это вы, теперь уж не уйдете.
Благодарю за доблестный порыв.

Р а т к л и ф

Не стоит благодарности. Помог я
Из прихоти. Ведь трое было их
На одного. А будь один противник,
Проехал бы я мимо не спеша.

Д у г л а с

Не хмурьтесь. Лучше дружбу заключим.

Р а т к л и ф

Что ж, хорошо. Но докажите дружбу —
Исполните, о чем я попрошу.

Д у г л а с

Скажите. Я душой и телом ваш.

Р а т к л и ф

Мой новый друг, уйдите поскорей.

(Смеясь.)

Но если Дуглас вы, то оставайтесь.

Д у г л а с *(изумленно)*

Клянусь, я Дуглас.

Р а т к л и ф

Предо мной граф Дуглас?

(Смеясь.)

Как жаль! Нехорошо. Пришел конец
Приятной и едва возникшей дружбе:
Узнайте, граф: пред вами — Вильям Ратклиф.

Д у г л а с *(дико вскрикивает,
хватаясь за меч)*

Убийца Дункана и Макдональда!

Р а т к л и ф *(обнажая меч)*

Да, это я, и чтоб добрать до трех,
И пригласил сюда вас нынче, граф.

Д у г л а с (*бросается на него*)¹
Так защищай же жизнь свою, злодей!

Дерутся.

Р а т к л и ф
Дерусь я как умею. Ха, ха, ха!

Д у г л а с
Не смейся так ужасно!

Р а т к л и ф (*смеясь*)
То не я,
То призраки смеются сквозь туман...

Д у г л а с
Что ж, продолжай! Вы, Дункан, Макдональд,
Ко мне, на помощь!

Р а т к л и ф
Дьявол в преисподней!
Убитый Дункан квартиру отразил!
Не суйся, прочь, боец проклятый, мертвый!

Д у г л а с
Ха, ха! Удар пришелся в цель!

Р а т к л и ф
Измена!
И Макдональд на помощь подоспел, —
На одного вас трое — слишком...

(*Отступает и спотыкается о подножие памятника.*)

А!
Проклятие! Повержен Ратклиф наземь.
Разите! Что ж! Ведь я ваш злейший враг.

Д у г л а с (*холодно*)
Вы моего отведали меча.
Но если я обязан жизнью вам,
Теперь вы мне обязаны. Мы квиты.
Со мной вы познакомились. Урок.
Быть может, злое сердце вам исправит.

(*Гордо удаляется.*)

Ратклиф лежит недвижно у подножия памятника. Ветер воет яростнее. Появляются два туманных призрака, приближаются друг к другу с простертыми объятиями, вновь расходятся и исчезают.

Р а т к л и ф *(встает медленно, ошеломленный)*

Чей был то голос? Ветер? Человек?
Безумный звук еще гудит в ушах.
То был безумный сон? Где ж я теперь?
Что тут за крест, и надпись что гласит?

(Читает надпись на памятнике.)

«Лорд Макдональд и Дункан пали здесь,
Сраженные предательской рукою».

(Вскакивает.)

То был не сон! При Черном Камне я,
Я побежден, я заклеймен презреньем!
И вихри злобно в уши мне шипят:
Вот человек, что духом был велик,
Что презрел все британские законы
И всех людей и с небесами спорил, —
И Дугласу он помешать не может
Лежать в объятиях милой в эту ночь
И ей, смеясь, рассказывать, что червь,
Чье имя Вильям Ратклиф, на земле
При Черном Камне корчится от боли
И потому лишь не был им растоптан,
Что мог запачкать...

(С внезапным бешенством.)

О, не смейтесь, ведьмы
Проклятые, не смейтесь так ужасно
И не указывайте злобным пальцем!
Я скалами в вас, мерзкие, метну,
С корнями ели вырву из земли
И желтые исполосую спины,
Я вытопчу ногами черный яд
Из ваших тел, проклятых, богомерзких!
Холодный вихрь, развеи, разрушь весь мир!
Покров небесный, раздави меня!
Земля, сокрой и поглоти меня.

(В безумии и страхе начинает говорить таинственно.)

Двойник проклятый, призрачная тень,
Зачем ты на меня глаза таращишь?
Глазами кровь ты высосал мою,
И иссушил, и воду ледяную
Мне в жилы льешь, и превратил меня
В бесплотный призрак. Ты кивнул? Туда?
Рукой туманной указал — туда?
Мария? Мне пойти? Голубка? Кровь?
Пойти? Эй, кто там? То не ветер, нет.
Марию взять с собою? Ты киваешь?
Пусть будет так! Я создан из железа,
Я волею сильней, чем бог и дьявол!

(Бросается прочь.)

Замок Мак-Грегора. Ярко освещенная комната с завешенным альковом посредине. Слышны замирающая вдали музыка и девический смех.

М а р и я, празднично наряженная, и М а р г а р и т а входят.

М а р и я

Как жутко, боже.

М а р г а р и т а

Это от шнуровки.

Поди, тебя я, куколка, раздену.

(Помогает ей раздеться.)

М а р и я

Тоска на сердце.

М а р г а р и т а

Куколка, да что ты?

Граф Дуглас ведь красавец.

М а р и я *(весело, со смехом)*

Правда, да!

Он весел, он сговорчив, очень храбр.

М а р г а р и т а

Ты влюблена в него?

М а р и я

Что? Влюблена?
Как это глупо! Надо только ладить.

М а р г а р и т а

Бывало и иначе. Вильям Ратклиф...

М а р и я (*испуганно прикрывает
ей рот*)

Ах, нет, прошу, прошу, не называй
По имени его! Ведь поздно, ночь.

М а р г а р и т а

Ты влюблена была.

М а р и я

Ах, нет! Вначале
Он кроток как ягненок был, казалось
Его лицо таким знакомым, голос
Звучал так мягко, а его дыханье
Так освежало щеки, и глазами
Впивался так любовно он в меня.

(*Содрогаясь всем телом.*)

И вдруг на призрак делался похож,
Лицо бледнело, искажалось дикой
Угрозою — вот-вот меня убьет он, —
Он был совсем как призрачная тень,
Что простирает мне во сне объятья
И на меня глядит так жутко-нежно,
Что и сама я становлюсь как призрак
И простираю руки, как в тумане.

М а р г а р и т а

Точь-в-точь как мать покойная твоя;
Она, хоть злилась, влюблена была
Все ж в Ратклифа.

М а р и я

Как, в Ратклифа?

М а р г а р и т а

В того,

Кто Вильяму приходится отцом.
О, мать твоя красавица была!
Она звалась красоткой Бетти. Кудри
Как золото, а руки — белый мрамор,
А уж глаза — как знал их Эдвард Ратклиф!
По целым дням смотрел он в них, и сам
Чуть-чуть что глаз своих не проглядел.
И пела как — не хуже соловья.
Поет, бывало, сидя у окна:

(Поет.)

«Зачем твой меч окрашен в кровь,
О Эдвард, Эдвард?»
Кухарка станет слушать, а жаркое
И пригорит — о господи! Напрасно
Ее учила песне страшной я!

(Плачет.)

М а р и я

Ах, Маргарита, расскажи мне все.

М а р г а р и т а

Красотка Бетти пела как-то раз:

(Поет.)

«Зачем твой меч окрашен в кровь,
О Эдвард, Эдвард?» —
И вдруг ворвался к Бетти Эдвард Ратклиф
И начал петь задорно, в том же тоне:

(Поет.)

«Мечом убил я мою любовь, —
Прекрасна была она! О!»
Красотка Бетти в гнев такой пришла,
Что Эдварда тогда она прогнала
И видеть не хотела; и нарочно
За твоего отца пошла. А Ратклиф
Впал в бешенство, хотел он показать,
Что может жить и без красотки Бетти.

Женился он из одного упрямства
На Джени Кемпбелл, и плодом их брака
Безумного явился Вильям Ратклиф.

М а р и я

Бедняжка мать!

М а р г а р и т а

Упрямица была
Красотка Бетти. Целый год потом
Не вспоминала Ратклифа она.
Когда же наступил второй октябрь —
И в именины Ратклифа как раз, —
Она спросила, будто невзначай:
«Об Эдварде что слышно?» — «Джонни
Кемпбелл

Он в жены взял», — ответила я ей.
«Как, Джени?» — вскрикнула красотка Бетти,
И начала бледнеть, краснеть, и горько
Заплакала, — а я в тот миг держала
Тебя, трехмесячную, на руках.
Ты тоже стала плакать, и тогда,
Чтобы красотку Бетти успокоить,
Сказала я, что он забыть не может
Красотку Бетти; видели, сказала,
Как день и ночь он бродит возле замка,
В томленье страстном руки простирая
К ее окошку. «Знала я давно!» —
Со смехом Бетти молвила, рванулась
К окну и руки к Эдварду простерла...
И вышло худо. Это увидал
Мак-Грегор, твой отец ревнивый.

(Испуганно останавливается.)

М а р и я

Что же?

Что было дальше?

М а р г а р и т а

Ну, и все, конец.

М а р и я

Нет, расскажи, что было дальше.

М а р г а р и т а *(опасливо)*

Утром
Был найден Эдвард Ратклиф близ ограды,
В крови и бездыханный.

М а р и я

Что же мать?

М а р г а р и т а *(холодным,
язвительным тоном, как безумная)*

Если б куколка сама
Увидела все глазками своими,
Как у ограды мертвый он лежал!
У! До сих пор я вижу ясно кровь!
И потому, что знаю, кто убил,
И потому, что не могу сказать
И в голове неладно, — мне не спится,
Мне чудится повсюду Эдвард Ратклиф —
Вот он идет, в крови, навстречу, бледный,
Со взглядом как кинжал, и, будто призрак,
Мне издали грозит кровавым пальцем...

В и л ь я м Р а т к л и ф, бледный, окровавленный, в смятении
врывается. Те же.

М а р г а р и т а *(дико вскрикивает)*

Иисус-Мария! Мертвый Эдвард Ратклиф!

*(Забивается в угол комнаты и остается там, застывшая
и неподвижная.)*

М а р и я *(вскрикивает)*

Злодей! Ты перстень Дугласа принес?

Р а т к л и ф *(с громким смехом)*

Нет, кончилась с перстнями карусель.
Легко я выбил два кольца, но третье
Мне не далось. Я наземь полетел
С лошадки деревянной.

М а р и я *(переходя внезапно
на доверчиво-беспокойный тон)*

Вильям! Вильям!
Ты весь в крови. Дай, рану я твою
Перевяжу.
(Разрывает свою белую венчалъную фату.)

Где я? Ты — Вильям злой. —
Нет. Эдвард ты, а я красотка Бетти. —
Твой лоб в крови, и у меня так смутно
Здесь, в голове. — Постой, что делать мне? —
Стань на колени, если только любишь...

(Хочет перевязать ему рану на голове.)

Р а т к л и ф *(падает к ее ногам.*

С болезненной нежностью)

Иль это сон? Я — около Марии?
У ног ее? О маленькие ножки,
Вы не туман, безумием рожденный,
Не испаритесь, если обниму вас?

М а р и я *(успокаивая его
и перевязывая ему голову фатою)*

Потише. Стынет кровь на золотистых
Твоих кудрях. Я выпачкалась кровью.
Ну тише, дай поцеловать глаза.

(Целует его).

Р а т к л и ф

Ты поцелуем ночь согнала с глаз;
Увидел снова солнце я — Марию.

М а р и я *(как бы пробудясь
в испуге от сна)*

Мария я? Ты, значит, Вильям Ратклиф?

(Закрывает глаза.)

О, как печально!

(Содрогаясь.)

Прочь! Скорее прочь!

Р а т к л и ф *(вскакивает
и обнимает ее)*

Я не уйду. Ведь ты моя, Мария,
Ты любишь Вильяма.

(Доверчиво.)

Во сне не раз
Ты это говорила. Мы похожи?
Взгляни сюда.

*(Подводит ее к зеркалу и указывает на отражения
из обоих.)*

Хотя твои черты
Моих прекрасной, чище, благородней,
Но сходство есть. Такая же надменность,
Такое же упорство в складках рта.
Ты так же легкомысленна, как я.
Скажи словечко.

М а р и я *(сопротивляясь)*

Нет, оставь!

Р а т к л и ф

Ты слышишь?
И голос тот же самый, только мягче.
И те ж глаза, бездонно голубые,
Но только больше блеска. Дай мне руку.

(Берет ее руку и сравнивает со своею.)

Ты видишь, те же линии.

(С испугом.)

Взгляни,
Как жизнь у нас обоих коротка.

М а р и я

Оставь меня, беги скорей! Беги!
Они тебя настигнут.

Р а т к л и ф

Ты права,
Бежим! Бежим, сокровище мое,

Со мною вместе! Мой оседлан конь,
Он всех быстрее в Шотландии.

(Обнажает меч.)

Вот меч,
Падежен он. Как он блестит! Но чу!

М а р г а р и т а *(поет, в безумии)*

«Зачем твой меч окрашен в кровь,
О Эдвард, Эдвард? —
Мечом убил я мою любовь, —
Прекрасна была она! О!»

Р а т к л и ф

Кто здесь поет про кровь? Иль это филин
В окно вцепился? Или это ветер
Свистит в трубе? Иль это — ведьма злая,
Что скорчившись в углу сидит? Она!
Недвижна, словно камень, но хрипит
Напев свой страшный. Милую я должен...

(с ужасной болью)

Убить, поет она. Да, да, убить.

М а р и я

Как дик твой взор, дыханье горячо, —
Ты заразишь безумьем! Уходи!

Р а т к л и ф

Нет, не противься! Так прекрасна смерть!
Мы посетим блаженную страну,
О ней мы часто грезили. Идем!

М а р и я *(вырываясь от него)*

Беги! Беги! Тебя увидит Дуглас.

Р а т к л и ф *(впадая в ярость)*

Будь проклято то имя — вестник смерти!
Тебя и богу не отдам! Моя ты.

(Хочет заколоть ее.)

М а р и я (*скрываясь за завесу
алькова*)

Убить ты хочешь, Вильям?

Р а т к л и ф (*бросаясь за нею
в альков*)

Да, моя ты —

Моя Мария.

(*Слышен голос Марии.*)

Вильям! Помогите!

М а р г а р и т а (*поет*)

«Мечом убил я мою любовь, —
Прекрасна была она! О!»

Два туманных призрака появляются с противоположных сторон,
останавливаются у входа в альков, простирают друг к другу руки
и исчезают при появлении Ратклифа.

Р а т к л и ф (*выбегает из алькова
с окровавленным мечом в руке*)

Стой! Стой! Не убегай, двойник проклятый!
Ты это сделал, бледный призрак, ты!
К твоим рукам туманным кровь прилипла.
Сразись со мной, Марию ты убил...

М а к - Г р е г о р врывается с обнаженным мечом.
Те же.

М а к - Г р е г о р

Кто звал на помощь?

(*Увидя Ратклифа.*)

А! Ты здесь, проклятый,
Убийца, мой похитивший покой.

Р а т к л и ф (*разразился одиким
смахом*)

Да, это я; мне ненавистен ты,
За что — не знаю, ненавистен ты,
И крови жажду я твоей.

Бросаются друг на друга, сражаясь.

Мак - Грегор

Злодей!

Ратклиф

Ха, ха, ха!

Маргарита *(поет)*

«Зачем твой меч окрашен в кровь,
О Эдвард, Эдвард?»

Мак - Грегор *(падая)*

Проклятая!

(Умирает.)

Ратклиф *(в изнеможении)*

Змея теперь мертва.

Легко на сердце. Сладостный покой

Предчувствую. Моя, моя Мария.

Я выполнил свой долг. Иду к тебе!

(Уходит в альков, откуда слышен его голос.)

Я здесь, мое сокровище! Мария!

Раздается выстрел в алькове.

Два туманных призрака появляются с обеих сторон, страстно бросаются друг к другу в объятия, крепко обнимаются и исчезают.

Слышны громкие крики и смутный говор.

Дуглас, гости и слуги входят пораженные. Те жэ.

Слуга

Иисус-Мария! Господин убит!

Голоса

Мак-Грегор!

Дуглас

Благородный лорд убит!

Пайти убийцу. Запереть ворота!

М а р г а р и т а *(медленно поднимается, приближается к телу Мак-Грегора и говорит безумным голосом)*

Эге! Вот точно так лежал в крови
Покойный Эдвард Ратклиф у ограды.
А злобный и запальчивый Мак-Грегор
Был Эдварда несчастного убийцей.

(Плача.)

Я — ни при чем, я только знала все.
А этого...

(указывает на труп Мак-Грегора)

прикончил Вильям Ратклиф.
Теперь ему спокойно. Он уснул
С Марией. Тише! Не будить.

(Подходит на цыпочках к алькову и отдергивает занавеску.)

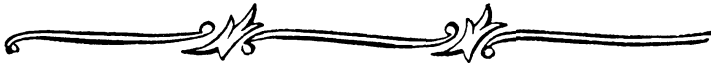
Видны тела Марии и Вильяма Ратклифа.

В с е

Ужасно!

М а р г а р и т а *(с довольным смехом)*
Точь-в-точь как Эдвард и красотка Бетти.

СТИХОТВОРЕНИЯ
1816—1827



1816

Когда в Оттёнзене я был,
Могилу Клопштока я посетил.
Нарядные люди шли вереницей
И возлагали цветы на гробницу,
И все глядели друг другу в глаза,
Как будто вершились тут чудеса.
А я над святыней, безмолвен и тих,
Тоскуя, один стоял среди них,
Прикованный сердцем к могиле той,
Где спал немецкий певец святой.

* * *

Когда подступает волшебный миг
И ширится грудь, вдохновенья родник,
Берусь за перо я, поспешен и дик, —
И образ чудесный из слова возник!

1819

ГЕРМАНИЯ

(Сновидение)

Будь безумцем и поэтом,
Если сердце рвется ввысь;
Только в жизни ты при этом
К воплощеньям не стремись!

Были дни — я помню горч,
Рейн манил внизу меня;
Вся страна цвела в ту пору
Предо мной в сиянье дня.

И под рокот мелодичный
Волны свой свершали путь;
Дрожь услады необычной
Мне закрадывалась в грудь.

А теперь дойду до цели —
Уж мелодия не та:
Сны и грезы облетели,
В прах развеялась мечта.

А теперь взгляну с вершины
На простор родной земли:
Там, где жили исполины,
Ныне карлики пошли.

Вместо мира золотого,
Что добыт ценой смертей,
Вижу я, куются снова
Злые цепи для людей.

Слышу я, поносят с жаром
Тех, кто в яростном бою
Подставлял не раз ударам
Грудь бесстрашную свою.

О, позор! Страной забыты,
В небреженье храбрецы;
Жалким рубищем прикрыты
Их священные рубцы!

Соль земли, надежда края,
Ходят неженки в шелках,
Честь венчает негодяя
И наемника — размах.

Клеветой на предков чинных
Стал немецкий наш наряд,

И камзолы о старинных,
Прежних днях нам говорят,

Днях, когда с простым обличьем
Добрый нрав в согласье жил
И, покорствуя приличьям,
Юный возраст старость чтил;

Когда девушке не лгали
Вздохи модного юнца
И князьки не украшали
Лжеприсягою венца;

Когда все вершилось словом,
А не записями книг,
И под панцырем суровым
Билось сердце каждый миг.

Здесь, в садах, родные недра
Не один взрастили цвет;
Их земля питает щедро,
Небо льет им кроткий свет.

Но цветок, что встарь когда-то
Расцветал и на скалах,
(Он, источник аромата,
Не растет у нас в садах.

Люди с твердою рукою
Чтили в нем любви залог;
Благосклонностью людскою
Именуется цветок.

Путник, к замку на вершине
Тщетно ты направишь шаг:
Не уют ты встретишь ныне,
А лишь холод, жуть и мрак.

Мост подъемный кверху вскинут,
Не трубит дозор в трубу;
Властелин и стража стынут
Под землей, уснув в гробу.

Жены дремлют в склепах тоже,
Те, что нежностью цвели;
Тут сокровища дороже
Высших ценностей земли.

Песней неги и томленья
Веет в сумраке могил,
Ибо дух благоговенья
И любви там опочил.

Но и нашим дамам нежным,
Тоже любящим, — хвала:
Так подходят им, прилежным,
Танцы, живопись, игла.

Воспевают звучно очень
Старину, любовь навек,
Сомневаюсь тут же, впрочем,
Так ли создан человек.

Наши матери когда-то
Полагали, что алмаз,
В мире всех прекрасней, свято
Погребен в душе у нас.

Не совсем уж от мамы
Отличается и дочь;
Быть в алмазах дамы наши,
Как-никак, отнюдь не прочь.

Призрак дружбы
.
.
.

Пусть во власти суеверья
.
.
.

Дивный жемчуг Иордана
Алчным Римом подменен,
.....
.....

Прочь, видения былого,
Скройте, призраки теней!
Не вернет пустое слово
Красоты ушедших дней.

* * *

Разлуку я выносил с трудом,
Теперь живу от тебя через дом;
Вот то-то будет благодать —
Твоим соседом близким стать!

* * *

Цветы к лучезарному солнцу
Согласно возводят взор;
Струи к лучезарному морю
Согласно текут на простор.

Все песни к моей лучезарной
Согласно взлетают вдаль.
Вы, песни, с собой унесите
Тоску мою и печаль.

* * *

Весь день о ней я тосковал,
Полночи был во власти грез,
И тяжкий сон меня сковал
И к ней мгновенно перенес.

Как роза юная, она
Цветет, спокойна и светла.

Ягнят на глади полотна
Выводит тонкая игла.

Так кроток взор, — ей не понять,
Что я поник, душой скорбя.
«Ты бледен, Генрих, как узнать,
Что огорчило так тебя?»

Так кроток взор, — и странно ей,
Что горько плачу я, любя.
«Ты плачешь, расскажи скорей,
Мой друг, кто огорчил тебя?»

Так кроток нежный взор, — а я
Готов в стenanьях изойти.
«Виною ты, любовь моя,
Что эта боль вот здесь, в груди».

Она встает, душой светла,
И руку мне на грудь кладет;
И разом боль моя прошла;
И ясен утра был восход.

* * *

Когда я с милою вдвоем,
То все идет на лад.
И целый мир мне нипочем,
И в мыслях я богат.
Но лишь объятия ее
Покину — в сердце мрак,
Богатство рухнет мое,
Я снова нищ и наг.

* * *

Мне в лес бы зеленый! Как дивно там
Цветы цветут, распевают птицы!
Умру, и тьма могильной ночи
Землей забьет мне слух и очи, —
И не цвести для меня цветам,
И звонким щебетом мне не упиться.

* * *

Если смысла не добьешься
В этой книге, не беда;
А поймешь — и сам тогда
В лапы черту попадешься.

1820

Взгромоздясь на Роландсек,
Млел влюбленный человек;
Проклиная свой удел,
Чуть глаза не проглядел
На прелестный монастырь
Там, внизу, где Рейна ширь.

Фриц фон Бейггем! Вспоминай
Про чудесный рейнский край —
Как, свершив с тобой подъем,
Любовались мы вдвоем
На скалу, где восседал
Скорбный сердцем феодал.

ФРИЦУ ФОН БЕЙГГЕМУ

Мой Фриц, как все, привержен ты к свинине
В стране, богатой свеклой кормовою,
Где хлеб просушен печью огневою,
Где глухи к поэтической святыне.

Мой Фриц, ключом священным впоен, ныне
С коровами шагает к водопою,
Он, слышу я, Фемиде стал слугою, —
Боюсь, что он вконец погрязнет в тине.

Мой Фриц, кого носил в былое время
Послушный конь, крылатый, быстроногий,
И ввысь вздымал, туда, где коршун вьется,

Мой Фриц теперь, чтоб грусти сбросить бремя,
На кляче прозаической дорогой
От Мюнстера до Дорстена трясется.

* * *

За алтарем укрылся поп в тревоге,
Трепещет деспот за сохранность трона,
Вот-вот спадет с чела его корона —
Затем, что «Рúссо» звук раздался строгий.

Но не считай, что куколка в берлоге
У мистиков — для Рúссо веры лоно,
Что верх его свободы и закона
Тот суп, что нам готовят демагоги.

Будь имени достоин! Не химеру,
А истинную вольность вносишь в мир ты;
И будь, борясь мечом и словом, честен.

Храни в душе любовь, свободу, веру,
И пусть тебе чела не красят мирты —
Стягаешь ты вснец лавровый песен.

* * *

Знай зубри, юнец, упорно,
Нагоняй свои хвосты;
Кайся в том, что так позорно
Убивал досуги ты!

1821

Чуждый скорби, чая нег,
Дни проводит человек —
И консилиумом высшим
Вдруг сражен, над ним нависшим.
И приходится бедняге
Дальше плыть, забрав бумаги.

* * *

Мужчины, девы, женщины, внимлите!
В подписке проявите единенье, —
Воздвигнуть, Гете в честь, сооруженье
Во Франкфурте решили на синклите.

«Чужой торгаш, — так мыслит местный
житель, —
Решит, что Гете — наше порождение,
Что наш навоз был почвой для цветенья,
И, ясно, не откажет нам в кредите».

Удел певца — венок его лавровый!
Так придержите деньги — ваш кумир,
Он памятник воздвиг себе и сам.

В грязи пеленок был он близок вам,
Но ныне отделяет целый мир
Величие от площади торговой.

БАМБЕРГ И ВЮРЦБУРГ

И там и тут источник благодати,
И чудо он за чудом совершает.
И князя можно видеть: исцеляет
Он страждущих бесчисленные рати.

Он молвит: «Встань!» — хромой встает с кровати
Без костылей и радостно шагает;
«Прозри!» — он молвит, — зренье обретает
Невидящий (слепорожденный, кстати).

Прибрел юнец, с водянякой в брэнном теле:
«Волшебник, помоги, изнемогаю!»
И молвит князь: «Пиши, благословляю».

И в Бамберге и в Вюрцбурге волненье,
Ликует фирма Гебгардт: «Наводненье!
Уж девять драм! Не чудо ль в самом деле!»

КАРТИНА

Трагедия барона Э. фон Гувальда

Лессинга да Винчи «Натан» и «Галотти»,
Шиллера-Рафаэля «Валленштейн» и Поза,
«Эгмонт» и «Фауст» Гете-Буонаротти —
Пример тебе, о Гувальд-Спинароза!

ПОД ЛИПАМИ, В БЕРЛИНЕ

Под Липами, друг, по чести,
Ты душу отведешь.
Всех наших красавиц вместе
Ты, там проходя, найдешь.

Цветут они негой и жаром
В обличье пестроты.
Поэт про них молвил недаром:
Гуляющие цветы.

Какие перья на шляпах
И шали на плечах!
Какой одуряющий запах
И стройность какая — ах!

1822

ОКАССЕН И НИКОЛЕТТА,

или

ЛЮБОВЬ В ДОБРОЕ СТАРОЕ ВРЕМЯ

И.-К. Корсффу

Ковер твой всеми красками сверкает,
И тешат взор светящиеся тени.
В борьбу с крестом, за веру поколений,
Отвага полумесяца вступает.

Гремит труба и в битву призывает:
В темнице двое, чуждые измене;

Султан проходит рынком в Карфагене;
Свирель поля Прованса оглашает.

О, сколько света, красок и игры!
Блуждаем мы, как в сказочной пустыне,
И вот вражда любовью сражена.

Да, мастер ты, и в наши времена
Явил нам для контраста на картинах
Любовь старинной, сказочной поры.

1825

И мнится, несусь я вновь на коне,
Охвачен силой былою.
И снова сердце пылает в огне, —
Несусь я к милой стрелюю.

И мнится, несусь я вновь на коне,
Охвачен силой былою.
Лечу я в битву, и гнев во мне, —
Противник ждет меня к бою.

Несутся, летя, как ветер свистя,
Луга, берега, ракиты.
Противник мой и ты, дитя, —
Вы будете оба разбиты.

* * *

Боль и муку без границы
Отразила книга эта;
Разверни ее страницы —
И познаешь ты поэта.

* * *

Я отодвинул ржавые засовы
У врат, ведущих в смутный мир видений,
Сорвал печати с огненно-багровой,
Волшебной книги страсти и томлений;

И то, что в ней прочел я, вечно новой,
Отобразил я в строках песнопений.
Пройдут века, забудет мир поэта, —
Останется нетленной песня эта.

* * *

Моим бы песням нежным
Цветами расцветать:
Я их послал бы милой —
Чудесный запах впивать.

Моим бы песням нежным
Лобзаньем легким взлетать:
Я их послал бы — щеки
Любимой целовать.

Моим бы песням нежным
Горошинками стать:
Какой бы можно дивный
Гороховый суп подать!

ДРЕЗДЕНСКАЯ ПОЭЗИЯ

Там, в Дрездене, где фабрики соломы,
Сигар саксонских и стихотворений,
Там учрежден приют для песнопений,
Любителям поэзии знакомый.

И там, когда заполнены хоромы,
Читают Кун, отечественный гений,
И фрейлен Ностиц — чудо, без сомнений!
Умолкните, критические громы!

А завтра все описано в газете;
Гелль хлопает, Кинд славит по-рсячьи,
И рецензент виляет по-собачьи.

Арнольди, тот печется о монете,
А Беттигер вещает, полоп пыла:
«Вечерняя газета всех затмила!»

Любви моей лилея,
Стоишь над ручьем ты в мечтах,
Глядишь, от тоски бледнея,
И шепчешь: «увы» и «ах»!

«Брось нежность, клятвы и слезы,
Оставь коварство свое!
У кузины моей, у розы,
Неверный, сердце твое».

* * *

Поля и леса зеленеют,
И жаворонки звенят,
Весна явилась и сеет
Цветы, лучи, аромат.

От звонкого птичьего пенья
Развеялся зимний мой сон,
И песней исходит томленье,
Печальный слышится стои.

«О чем ты грустишь, бедняжка?» —
Мне жаворонок поет.
Я эту песенку, пташка,
Твержу из года в год!

Вздыхаю уныло и тяжело
И в роще зеленой пою.
Твой дедушка с бабкой, пташка,
Слыхали песню мою.

* * *

Дни и ночи сочиняя,
Не добыл себе добра я;
В сладких звуках изливался
И ни с чем, увы, остался.

* * *

Что я люблю тебя, мопсик,
Ты знаешь отлично сам.
Когда я тебя ласкаю,
Ты жмешься к моим ногам.

Ты — только пес и покорен
Своей собачьей судьбе;
А друзья мои остальные
Уж слишком мнят о себе.

* * *

Вражда с любовью, любовь с враждою —
Хоть в жизни изведаль я их немало,
От них ко мне ничего не пристало,
И я остался самим собою.

БУРЛЕСКНЫЙ СОНЕТ

Я с нищетой разделался бы разом,
Когда бы кисть использовал умело,
Когда б дворцы и церкви то и дело
Расписывал искусно по заказам.

Не знал бы счета золоту, алмазам,
Когда б играл я вдохновенно, смело
На скрипке или флейте, чтобы млела
Толпа мужчин и дам, теряя разум.

Но нет! Бедняге мне не повезло!
Одной тобою в жизни был я занят,
Поэзия, пустое ремесло!

И вот, увы, когда я наблюдаю,
Как прочим мозг шампанское туманит,
Я жажду иль деньги занимаю.

ЭДОМИТУ

Мы с тобой друг друга терпим
Вот уж много сотен лет;
Ты ведь терпишь, что дышу я,
Я терплю твой буйный бред.

Лишь порою, поддаваясь
Вдохновенью, не со зла,
Ты меня своею лапкой
Гладил так, что кровь текла.

Но теперь у нас с тобою
Дружба крепнет и растет,
Ибо сам я свирепею
И с тобой сравнюсь вот-вот.

* * *

Излейся, сердце больное,
Томленье пылкой души,
Той песней, что давно я
Таю от мира в тиши!

Отныне скорбному звуку
Открыты слух и сердца;
Тысячелетнюю муку
Я за́клял за́клятьем певца.

Рыдают старый и малый
И важные господа,
Цветок прослезился алый,
И плачет в небе звезда.

И все эти слезы потоком
Единым текут на юг,
Чтоб смыть в Иордане глубоком
Старинный, тяжкий недуг.

1825

ОТЩЕПЕНЦУ

О, как юность беззаботна!
О, как быстро ты поддался!
Как легко и как охотно
Со всевышним сталкивался!

Малодушно и бесславно
Ухватился за распятые,
То, которому недавно
Посылал еще проклятья!

Вот оно — читать запоем!
Шлегель, Галлер, Берк — о, бредни!
Был вчера еще героем,
А сегодня плут последний!

1826

Я в мире любви блаженной искал,
Но мне платили враждой, не любовью,
Я тяжко скорбел, судьбу проклинал,
И тысячи ран истекали кровью.

Я долго возился, не зная сна,
Со всякой сволочью недостойной.
И, лишь изучив все это до дна,
Я «Вильяма Ратклифа» создал спокойно.

* * *

Был месяц март, когда любовь
Мне мукой взволновала кровь.
Но вот зеленый май пришел,
И скорби я конец обрел.

То было, помню, светлым днем,
Мы на скамье сидели вдвоем

Под липой, спрятавшись от людей,
И там открыл я сердце ей.

В саду ароматном, в зеленых ветвях
Шел соловей. Но в его словах
Мы разбирались тогда едва ли —
Мы с нею о важных вещах толковали.

Друг другу в верности мы клялись.
Закат померк, и часы неслись;
Сидели мы долго во тьме, и у нас
Жаркие слезы струились из глаз.

ВОСПОМИНАНИЕ

Чего ты хочешь, нежное виденье?
Ты снова в душу смотришься мою!
Твой взор исполнен кроткого томленья;
Да, это ты, тебя я узнаю.

Я ныне тяжко болен, неудачи
Сломили дух, от жизни я устал.
Тоска гнетет. А было все иначе
В те дни, когда тебя я повстречал!

Покинув дом родной, исполнен пыла,
Стремился я за призраком мечты,
Презреть готов был землю и светила,
Сорвать их с лучезарной высоты.

Ты, Франкфурт, полон жуликов, но это
Прощаю я: ты дал моей стране
Благую власть и лучшего поэта,
Ты — город, где она явилась мне.

В разгаре были дни торговли шумной,
Дни ярмарки, и я в толпе густой
Шел по нарядной улице бездумно,
Как бы во сне следя за суетой.

И вдруг — она! Скользящая походка
Мне тайный, сладкий страх вливает в грудь;

Блаженный взор светился лаской кроткой,
И я в толпе за ней пустился в путь.

И так мы шли и в переулок тесный
Вступили; замер ярмарочный гул;
И тут она, с улыбкою прелестной,
Скользнула в дом, и я за ней скользнул.

Но алчной здесь была одна лишь тетка,
Чьей жертвой стал девичий первый цвет;
Мне добровольно отдалась красотка,
Не из корысти низменной, о, нет!

О нет! Не только музы мне знакомы,
И личиком меня не проведешь:
В продажном сердце нет такой истомы,
Так не глядит заученная ложь.

Она была прекрасна! Красотою
Богини, взмывшей в пене и волнах,
Была, быть может, светлою мечтою,
Меня томившей в отроческих снах!

Я не узнал ее! Я был во власти
Тумана, взор заметил колдовство.
Быть может, я держал свое же счастье
В объятиях — и не узнал его!

Еще прекрасней, в горести безбрежной,
Была она спустя три долгих дня,
Когда мечта от встречи этой нежной
Вдаль повлекла попржнему меня;

Когда она, в отчаянье и муке,
С распущенными прядями волос,
Упала ниц и заломила руки
У ног моих, дрожа от горьких слез!

Ей шпоры лоб изранили — о боже! —
Я видел сам, как выступила кровь;
И от бедняжки вырвался я все же,
Расстался с ней — и не увидел вновь!

Конец мечте стариной, но и ныне
Со мной бедняжка всюду и везде.
В какой глухой блуждаешь ты пустыне?
Тебя я предал боли и нужде!

1827

ОТРЫВОК

Блаженный миг — когда устами
Буто́н трепещущий примят;
Не меньше счастья нам дарует
Цветущей розы аромат.

РАМСГЕЙТ

I

«О поэт, любезный сердцу,
Как о нем мы все тоскуем!
Как бы нам его хотелось
Осчастливить поцелуем!»

Так любезно наши дамы
О поэте рассуждали,
Между тем как на чужбине
Изнывал я от печали.

Солнце юга не согреет
Тех, кого терзает холод.
От воздушных поцелуев
Не уймется в сердце голод.

II

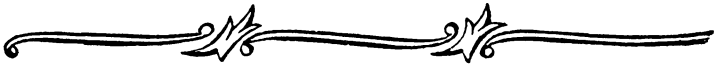
Огромная известковая скала, видом своим подобная белой женской груди, вздымается над морем; влюбленное море подступает к ней вплотную, брызгами своими задорно окатывает ее и норовит заключить в объятия гигантских своих волн. На белой скале высится город, и там, на высоком балконе, стоит красавица, наигрывая на испанской гитаре веселые мелодии.

Внизу, под балконом, стоит немецкий поэт, и душа его в невольном порыве аккомпанирует долетающим до него нежным звукам, и возникают слова:

О, стать бы мне морской волной,
И пусть бы ты слилась со мной..

Однако наш немецкий поэт не пропел этих слов, но только мысленно их произнес. Во-первых, ему не хватало голоса, и, во-вторых, он был слишком застенчив. Когда в тот же вечер он гулял с красавицей по берегу моря, он совершенно утратил дар речи.

Волны еще неистовее бились в белую грудь утеса, и месяц поверх воды простер свой длинный луч — словно золотой мост в страну обетованную.



П Р И Л О Ж Е Н И Е

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ «КНИГИ ПЕСЕН»

Я не могу переправить это новое издание «Книги песен» зарейнской публике, не сопроводив его дружественными приветствиями, изложенными самой честной прозой. Не знаю, какое странное чувство удерживает меня от того, чтобы переложить настоящее предисловие в прекрасные рифмы, как это вообще принято в собраниях стихотворений. С недавнего времени что-то во мне противится всякой метрической речи, и, как я слышу, подобное же нерасположение шевелится также у многих современников. Я начинаю думать, что слишком много нагано в прекрасных стихах и что правде стало страшно появляться в метрических одеждах.

Не без смущения вручаю я читателям обновленное издание этой книги. Величайшей внутренней борьбы стоило мне это; я колебался в течение почти целого года, прежде чем решился бегло просмотреть ее. При виде ее во мне проснулась вся та тоска, что угнетала мое сердце десять лет тому назад, когда эти стихотворения были впервые опубликованы. Это чувство поймет только поэт или стихоплет, увидавший в печати первые свои стихи. Первые стихи! Их нужно писать на небрежных, блеклых листах, между ними должны лежать то тут, то там увядшие цветы, или белокуроый локон, или выцветший обрывочек ленты, а еще в иных местах должен быть виден след слезы... Но вышедшие в свет первые стихи, напечатанные

таким яркочерным шрифтом, на такой ужасно гладкой бумаге, — стихи эти теряют свою чудесную, девическую прелесть и вызывают у автора страшное уныние.

Да, вот уже десять лет прошло с тех пор, как эти стихи появились впервые, и я даю их, как тогда, в хронологической последовательности, и впереди всех выступают снова песни, сложенные в те минувшие годы, когда в душе моей горели первые поцелуи немецкой музыки. Ах, поцелуи этой славной девушки утратили с тех пор добрую долю огня и свежести! После стольких лет связи пламень медового месяца должен был мало-помалу рассеяться дымом; но тем сердечнее становилась порою нежность, особенно в ненастные дни, и тогда, в эти дни, она на деле доказала мне всю свою любовь и верность, немецкая муза! Она утешала меня среди домашних неприятностей, последовала за мною в ссылку, развлекала меня в злые часы душевного упадка, в пору безденежья ухитрялась даже помочь мне, немецкая муза, славная девушка.

Так же мало изменений, как в хронологическую последовательность, внес я и в самый текст стихотворений. Только кое-где в первом разделе исправлены отдельные строфы. Ради сбережения места я отбросил посвящения первого издания. Однако я считаю необходимым упомянуть, что «Лирическое интермеццо» извлечено из книги, которая появилась в 1823 году под заглавием «Трагедия» и была посвящена моему дяде Соломону Гейне. Этим посвящением я хотел засвидетельствовать глубокое уважение, по праву принадлежащее этому великоллепному человеку, равно как и благодарность за любовь, которую он в то время ко мне проявлял. «Опять на родине», цикл, который появился сперва в «Путевых картинах», посвящен был блаженной памяти Фредерики Фарнхаген фон Энзе, и я вправе гордиться тем, что был первым, почтившим эту замечательную женщину публичным признанием. Подлинным подвигом со стороны Августа Фарнхагена было то, что он, пренебрегая всякого рода мелочными опасениями, опубликовал письма, в которых Рахель раскрывается во всем своем своеобразии. Эта книга пришла в самое подходящее время, как раз тогда, когда она могла оказать наибольшее влияние и стать настоящей поддержкой и утешением. Эта книга пришла как раз в то время, когда в утешении люди нуждались больше, чем

когда-либо. Кажется, будто Рахель знала, какая посмертная миссия была ей суждена. Она, правда, думала, что все станет лучше, и ждала; однако когда это ожидание затянулось бесконечно, она нетерпеливо тряхнула головою, взглянула на Фарнхагена и вскоре умерла, чтобы вскоре же воскреснуть. Она напоминает мне легенду о другой Рахели, которая восстала из гроба, остановилась у проезжей дороги и плакала, когда чада ее проходили мимо в неволю.

Я не могу без скорби подумать о ней, об этом милом друге, всегда дарившем мне неустанное сочувствие и немало порою тревожившемся из-за меня во времена моих юношеских проделозостей, в те времена, когда пламя истины больше распалило меня, чем просвещало.

Это время ушло! Я теперь более просвещен, чем распален. Однако эта холодная просвещенность приходит к людям обычно слишком поздно. С тех пор я научился ясно видеть камни, о которые когда-то спотыкался. Мне было бы так легко обойти их, не вступая ради этого на несправедные пути. И еще я знаю теперь, что в жизни можно связываться с чем угодно, стоит только падеть необходимые в таких случаях перчатки. И затем, и в жизни и в искусстве нам следует приниматься только за то, что осуществимо и к чему у нас больше всего способностей. Ах, гибельнейшие ошибки человека состоят в том, что он по-детски пренебрегает теми дарами, на которые всего щедрее природа, и, наоборот, чрезмерно ценит блага, достающиеся ему с наибольшим трудом. Драгоценный камень, вросший в недра земли, жемчужину, погребенную в морской бездне, человек считает величайшими сокровищами; он отнесся бы к ним с пренебрежением, если бы природа кинула их у его ног, точно гальку или ракушки. Мы равнодушны к нашим преимуществам; мы до тех пор стремимся обмануться в собственных слабостях, пока сами не возведем их, наконец, в совершенства. Когда я однажды после концерта Паганини обратился к нему со страстной похвалой по поводу его мастерской игры на скрипке, он прервал меня словами: «Но как вам понравились сегодня мои приветствия, мои поклоны?»

Со смирением в душе и с просьбою о снисхождении передаю я публике «Книгу песен»; за слабость этих стихотворений ее вознаградят, быть может, до известной

степени мои политические, богословские и философские произведения.

Однако я должен при этом заметить, что моя поэзия полностью выросла из той же идеи, что и политические, богословские и философские писания, и что нельзя осудить одни, не лишив все другие нашего одобрения. В то же время я позволю себе обратить внимание еще на то, что слухи, будто идея эта претерпела в моей душе какие-то сомнительные изменения, покоятся на свидетельствах, вызывающих во мне в равной степени презрение и сожаление. Только подлинно тупые умы могли принять сравнительную умеренность моих речей или, еще больше, мое вынужденное молчание за отступничество от самого себя. Они ложно истолковали мою умеренность, и это было тем бессовестнее, что я все же никогда не истолковывал ложно их чрезмерного беснования. Наибольшее, в чем меня можно было бы обвинить, — это некоторое утомление. Но у меня есть право быть утомленным... И затем каждому приходится подчиняться закону времени, хочет он того или не хочет.

И как бы прекрасно ни светило солнце,
В конце концов зайдет и оно.

Мелодия этих стихов с утра звучит у меня в мозгу, и она же, быть может, отзывается во всем, что я только что написал. В одной из пьес Раймунда, честного комика, который недавно застрелился от меланхолии, юность и старость выступают в виде аллегорических персонажей, и только что приведенными стихами начинается песенка, которую юность поет, прощаясь с героем. Много лет тому назад в Мюнхене видел я эту пьесу; мне кажется, она называлась «Крестьянин-миллионщик». Стоит уйти юности, и мы сразу же замечаем странную перемену, которую претерпевает личность героя, одиноко остающегося на сцене. Его каштановые волосы мало-помалу седеют и становятся, в конце концов, снежно белыми; спина сгибается, коленки трясутся; вместо былых страстей появляется плаксивая размягченность... старость приходит.

Неужели она приближается и к написавшему эти страницы? Ты уже замечаешь, дорогой читатель, что эти изменения происходят в писателе, который так по-юношески, даже слишком по-юношески, действовал в ли-

тературе? Какое печальное зрелище представляют собою писатели, мало-помалу стареющие у нас на глазах, на виду у публики. Мы видели это не у Вольфганга Гете, вечного юноши, но у Августа-Вильгельма Шлегеля, престарелого фата; мы видели это не у Адельберта Шамиссо, который с каждым годом молодеет, расцветая все пышнее, но у господина Людвиг Тика, у этого бывшего романтического Штромиана, ставшего ныне старым, паршивым псом... О боги! Я не прошу вас сохранить мне юность, но сохраните за мной добродетели юности, бескорыстное негодование, бескорыстную слезу! Не дайте мне сделаться старым ворчуном, облаивающим более юных духом, или пошлым нытиком, беспрестанно хнычущим о добрых старых временах... Дайте мне быть старцем, любящим юность и вопреки старческой немощи все еще причастным к ее играм и опасностям! Пускай мой голос дрожит и звучит нетвердо, но смысл моих слов пусть останется бесстрашным и свежим!

Она улыбалась вчера так странно, то жалостливо, то язвительно, прекрасная подруга, поглаживая розовыми пальцами мои кудри... Не правда ли, ты заметила несколько седых волосков на моей голове?

И как бы прекрасно ни светило солнце,
В конце концов зайдет и оно.

Генрих Гейне.

Написано в Париже весной 1837.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЯТОМУ ИЗДАНИЮ «КНИГИ ПЕСЕН»

К четвертому изданию этой книги я, к сожалению, не мог отнестись с особой заботливостью, и она была напечатана без предварительного просмотра. К счастью, небрежность этого рода не повторилась при настоящем, пятом издании, поскольку я случайно находился на месте печатания и имел возможность сам провести корректуру. Здесь же, в том же издательстве у Гофмана и Кампе в Гамбурге, я одновременно опубликовал под титулом «Новые стихотворения» собрание поэтических

произведений, которые следует рассматривать как вторую часть «Книги песен».

Самые светлые мои приветствия друзьям, пребывающим на родине!

Генрих Гейне.

Писано в Гамбурге 21 августа 1844.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ФРАНЦУЗСКОМУ ИЗДАНИЮ СТИХОТВОРЕНИЙ

Книга, которую я в настоящее время публикую, содержит в себе французский перевод части тех лирических произведений, что доставили мне в моей стране звание поэта. Это — прекрасное звание, и, конечно, оно столь же драгоценно, как и звание великого трибуна, которому я тоже радовался в течение некоторого времени; у меня до сих пор осталась от него горечь во рту.

Соображения материальной экономии при издании этого тома лишили меня возможности дать здесь полное собрание моих стихотворений; но выбор — дело слишком трудное для отеческого сердца поэта, питающего нежные чувства равно ко всем своим рифмованным отпрыскам. Впав в это затруднение, я решился собрать здесь только те поэтические произведения, которые были раньше мною переведены в счастливые часы досуга, и добавил к ним те, которые в разное время уже были опубликованы мною в журналах, в сотрудничестве с друзьями, владевшими искусством стиля и искусством терпения, искусством еще более редким.

Я не мог отказаться от скорбной радости воспронизвести в этой книге грациозные страницы, которые мой умерший друг Жерар де Нерваль предпослал «Интермеццо» и «Северному морю». Я не могу без глубокого умиления вспомнить мартовские вечера 1848 года, когда милый, тихий Жерар навещал меня ежедневно в моем одиночестве близ Барьерде ла Санте (Barrière de la Santé), чтобы спокойно работать вместе со мною над переводом моих мирных немецких мечтаний, в то время когда вокруг нас бушевали всевозможные политические страсти и с ужасающим грохотом рушился старый мир! Погруженные, как обычно, в наши эстетические и даже идиллические беседы, мы не

слышали криков той знаменитой женщины с большими грудями, что носилась в то время по улицам Парижа и рычала свою песню: «Фонарики! Фонари!» — эту марсельезу печальной памяти февральской революции. К сожалению, мой друг Жерар, даже в светлые свои дни, был подвержен постоянным проявлениям рассеянности, и я открыл, — слишком поздно, чтобы исправить, — что он пропустил семь стихотворений из цикла, который составляет «Северное море». Я оставил этот пробел в моей поэме, чтобы не нанести ущерба целому, гармоническое единство колорита и ритма которого могло быть нарушено включением опытов собственного моего неискusstvenного пера. Речь Жерара текла с очаровательной и неподражаемой чистотой, подобно только разве несравненной прелести его души. Он был истине скорее «душа», чем человек, я сказал бы — ангельская душа, как бы избито ни было это слово. Этой душе был свойственен дар симпатии, и, не обладая хорошим знанием немецкого языка, Жерар угадывал смысл какого-нибудь немецкого стихотворения лучше тех, кто сделал изучение этого наречия делом всей своей жизни. И это был великий художник, он хранил благоволия своих мыслей в украшенных превосходной чеканкой золотых курильницах. И в то же время он не обладал ни малейшею чертою художнического эгоизма; он был полон детского чистосердечия и деликатнейшей чувствительности; он не обидел и мухи; он пожимал плечами, если в него случайно вцеплялась какая-нибудь шавка.

И несмотря на все эти преимущества своего таланта, очарование и сердечную доброту, мой друг Жерар окончил свою жизнь известным вам образом в подлом закоулке «Старого фонаря».

Нищета не была причиною этого мрачного события, но она ему способствовала. Во всяком случае было доказано, что несчастный не располагал в час гибели даже сколько-нибудь приличной, теплой комнатой, где бы можно было с комфортом расположиться, для того чтобы...

Бедное дитя! Ты стоишь слез, пролитых в твою память, и я не в силах сдержаться от них, когда пишу эти строки. Но твои земные страдания прекратились, а у твоего коллег из Барьер де ла Санте они идут своею чередою.

Пусть эти слова не настраивают тебя слишком чувствительно, дорогой читатель: быть может, недалек день, где все наличное милосердие понадобится тебе для себя самого. Ты разве знаешь, какой тебя ждет конец?

Однако возвратимся к поэмам и легендам, собранным в этой книге. Я отметил над каждым разделом время его возникновения. Это услуга, за которую меня отблагодарят пытливые критики, которые так любят доискиваться в произведениях поэта первоисточника его мысли и вскрывать потаенные тенденции его духа во время различных фазисов его жизни. Мои первые лирические произведения находятся в цикле «Ноктюрнов» и датированы 1816 годом. Это четыре первых стихотворения, и они относились к циклу необузданных видений. В ту же эпоху я написал «Двух гренадеров», и это юношеское произведение было издано в 1822 году в первом сборнике моих стихотворений. Я даю эти хронологические сведения, чтобы не создавалось впечатления, будто я следовал по стопам одного австрийского поэта.

Я уже сказал, что в моих «Ноктюрнах» слышится первый детский лепет лирического поэта; его последние вздохи, — я чуть не сказал: его предсмертное хрипение, — находятся в конце этого тома в ряде lamentаций, которым я дал заглавие «Книга Лазаря». Перевод является делом одного столь же проникательного, сколь и изящного писателя, которому удалось лучше, чем многим из его соотечественников, освоить духовные богатства основательной и ученой Германии, не жертвуя при этом рассудительностью и благородством, качествами, свойственными французскому духу. Я не мог побороть искушения еще раз повторить немногие строки, сопровождавшие «Книгу Лазаря».

Воспроизводя также предисловие, предваряющее «Германию», зимнюю сказку, я забыл указать, что слова эти предназначены для немецкой публики, а не для французского читателя, который, вероятно, найдет поэму «Германия» подчас слишком германской и слишком малопонятной. Я признаю, что в ней заключается целый муравейник специфически немецких намеков, нуждающихся в нескольких томах комментариев. Кроме того, во многих эпизодах мысль автора вращается на разных шутковских и гротескных рифмах, невозможность передать

которые делает французскую версию очень вялой, если не бесцветной.

Это всегда очень рискованное предприятие — пытаться передать в прозе одного из романских наречий стихотворное произведение, принадлежащее языку германского корня. Наиболее питимная мысль оригинала испаряется в переводе, и остается одно лишь «чучело лунного света», как выразился один злостный человек, насмеявшийся над переводами моих стихотворений.

Приветствую тебя, дорогой читатель, и молю господу, дабы он тебя благословил и сохранил.

Апри Гейне.

Париж, 25 июня 1855.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ «ВИЛЬЯМА РАТКЛИФА»

Зимнюю сказку, под названием «Германия», входившую в прежние издания этого тома, я из настоящего издания изъясил, так как она с тех пор неоднократно выходила в свет отдельными выпусками и, помимо того, мною намечено для нее в собрании моих стихотворений особое место. Я пользуюсь освободившимися страницами, чтобы напечатать здесь небольшую трагедию «Вильям Ратклиф», вышедшую примерно двадцать девять лет тому назад в Берлине, у Дюмлера, под общим заголовком: «Трагедии и лирическое интермеццо». После того «Лирическое интермеццо» было введено в состав обширного сборника моих стихотворений и снискало себе чрезвычайную популярность. Но «Вильям Ратклиф» оставался малоизвестным; да и в самом деле, фамилия его издателя — Дюмлер. Ныне я с полным основанием отвожу этой трагедии, или драматической балладе, место в собрании моих стихотворений, ибо она является одним из немаловажных документов моей писательской жизни. Она подводит итог моему поэтическому периоду «бури и натиска», который в «Книжке песен», в отделе «Страдания юности», отразился весьма несовершенен и смутно. Юный автор, тот, что в «Страданиях юности» тяжелым, беспомощным языком

лепечет о сонных своих грезах, обретает в «Ратклифе» ясный, зрелый голос и высказывает открыто последнее свое слово. Это слово стало с тех пор лозунгом, при звуке которого пурпуром воспаляются серые лица нищеты и розовощекие сыны счастья бледнеют как мел. В котле честного Тома в «Ратклифе» закипает уже тот великий вопрос о похлебке, в который ныне запускают свою ложку тысячи незадачливых поваров и который что ни день бурлит и бьет через край все неистовее. Удивительный баловень судьбы — поэт: ему дапо видеть дубовые леса, которые дремлют еще в оболочке желудя, и он ведет разговоры с поколениями, которые еще не народились на свет. Они шепчут ему свои тайны, и он разбалтывает их на рынках и площадях. Но голос его заглушается громким шумом повседневных страстей; немногие слышат его, никто его не понимает. Фридрих Шлегель назвал историка пророком, взирающим вспять, в прошлое; можно бы с большим правом сказать о поэте, что он историк, взор которого обращен в будущее.

Я написал «Вильяма Ратклифа» в Берлине под Липами, в последние три дня января 1821 года, когда солнце с каким-то тепловатым благоволением озаряло своим светом покрытые снегом крыши и уныло облетевшие деревья. Я написал его в один прием и без каких бы то ни было предварительных набросков. В то время как я писал, мне казалось, что над головой своей я слышу шум птичьих крыл. Когда я рассказал об этом моим друзьям, юным берлинским поэтам, они посмотрели друг на друга со странным выражением лица и в один голос уверили меня, что с ними, когда они сочиняют стихи, ничего подобного не случилось.

Генрих Гейне.

Париж, 24 ноября 1851.

КОММЕНТАРИИ

КНИГА ПЕСЕН

«Книга песен» и «Путевые картины» — главные литературные достижения Гейне 20-х годов. И тут и там представлены итоги первого периода литературной деятельности Гейне, периода, закончившегося эмиграцией Гейне во Францию в 1831 году. Как «Путевые картины» явились сводом всего наиболее значительного, что создал Гейне-прозаик в 20-х годах, так и «Книга песен» — свод всего лучшего, что дала в те же годы лирика Гейне. Однако «Книга песен» не только собрание стихотворений. Это книга по характеру своему цельная, где нет произвола и случайности в порядке и последовательности отдельных стихотворений, где у каждого стихотворения есть свое, строго указанное ему место. «Книга песен» предъявляет к читателю особые требования: в ней важны не только стихотворения, взятые каждое отдельно, важны и связи их друг с другом, их последовательность. «Книга песен» — своеобразный роман, составленный из лирических стихотворений. Здесь нужно пристально следить и за внешней фабулой и за внутренней историей поэта, который в этой книге существует как бы в двух лицах — в качестве автора ее и в качестве героя изображаемых событий. Более того: «Книга песен» — не только личная история поэта, изложенная как события, внешне и внутренне связанные друг с другом, не только история несчастной юношеской любви. «Книга песен» — также и роман эпохи, роман национальной жизни. Шаг за шагом в «Книге песен» возникает образ Германии периода, последовавшего за наполеоновскими войнами, Германии времен Реставрации.

В основе «Книги песен» лежат факты личной биографии Гейне. Несчастливая любовь, о которой рассказано в «Книге песен», — это любовь поэта к кузине Амалии, дочери гамбургского банкира Соломона Гейне. Вторая любовь, тоже несчастная, описанная в некоторых стихотворениях цикла «Опять на родные», — это любовь к другой кузине, Терезе, младшей сестре Амалии. Разумеется,

любовный роман «Книги песен» не есть зеркальное отражение личной истории поэта, как это старался доказать, например, известный исследователь творчества Гейне Эльстер. Роль биографических мотивов здесь тем ограниченнее, чем сильнее сказывается в «Книге песен» стремление выйти за пределы любовного романа и придать ему смысл поэмы о народной Германии и о судьбах ее.

«Книга песен», «Buch der Lieder», по весьма реальным мотивам носит это название. Гейне подразумевает не песню вообще, не ту метафору, которая стала обычной у поэтов нового времени: их стихи это «песни», а сами они — «певцы». Гейне имел подлинное право именовать «песнями» свои стихотворения: они написаны в манере и в стиле немецких народных песен, «Volkslieder», следуют их ритму и напеву. Очень многие стихотворения «Книги песен», хотя и далеко не все, держатся народного образца, идут от народной поэзии, неразлучной с музыкой, с песенным исполнением. Хорошо известен успех «Книги песен» в музыке. Неисчислимо количество музыкальных произведений, созданных на текст «Книги песен», причем увлечены ею были не только немецкие композиторы — немало музыки сочинялось к «Книге песен» и за пределами Германии. Среди композиторов, вдохновлявшихся «Книгой песен», мы находим имена Шуберта, Шумана, Мендельсона, Листа, Рихарда Вагнера, Чайковского, Римского-Корсакова. Сам текст, подсказанный народной песней, близко стоял к музыкальному творчеству.

Народность, фольклорность была общей чертой немецкой поэзии первых десятилетий XIX века. Есть соответствия между лирикой «Книги песен» и лирикой романтических поэтов Brentano, Uhland, Eichendorff, Вильгельма Мюллера, тоже отправлявшихся от народной песни и от идей народности. Тем не менее «Книга песен» резко выделяется из романтической литературы того времени. Гейне объявляет здесь войну романтизму своих современников и тому романтизму, который имел еще власть над ним самим. В «Книге песен» происходит борьба между Гейне-романтиком и Гейне — поэтом реалистического направления. Романтическая народность была ложной, романтики читли в народе только его патриархальное прошлое, вольно или невольно они делали народ союзником средневековых порядков, консервативных идейных сил. Главная тенденция «Книги песен» — в порывах к будущему. Поэту близка идея общественно-исторического прогресса, и он хочет соединить прогресс с делом народа. Тем самым он обособляется от романтиков с их культом прошлого. Знаменателен финал «Книги песен» — циклы «Северного моря», возвещающие выход в большой мир, на простор морской. Эти стихи проповедуют широту кругозора, духовное

обновление, дальнее плавание, мужество перед лицом бурь. Циклы «Северного моря» являются не только непосредственной картиной морской жизни. Тут скрывается еще второе значение. Открытое море — это великие социальные битвы современности, от которых отсталая Германия пока стоит в стороне. Немецкий романтизм времени Гейне искал убежища от современной жизни. «Северное море», а заодно с ним и вся целиком «Книга песен» славит жизнь, все ее трудности, все ее беспокойство, ибо для Гейне без выхода в современную жизнь во всей ее необъятности не могут быть решены народные и национальные задачи Германии.

По всей очевидности, Гейне вначале не предполагал, что отдельные стихотворения и циклы, ими образованные, все вместе взятые дадут единую цельную книгу, роман или даже эпопею. Об этом свидетельствует история «Книги песен». Цикл появился за циклом, и Гейне, издавая их, не сразу увидел, что циклы эти образуют единое произведение. Циклы тяготели друг к другу, каждый новый развивал внутренние темы предшествующего. Естественным завершением было соединение их в одну книгу. Любопытно, что Гейне долго сознавал себя всего лишь автором «Маленьких песен», *kleine Lieder*, и мечтал о творчестве более значительном. В письме к Карлу Иммерману от 10 июня 1823 года Гейне говорит об односторонности своей поэзии, о том, что она варьирует все те же маленькие темы. В этом письме он очень почтительно отзываясь о драматургии самого Иммермана, охотно бравшегося за темы крупные и даже грандиозные. Гейне обещает Иммерману, что в ближайшие годы создаст трагедию, — до сей поры он все изображал в разных вариантах историю Амура и Психеи; трагедия покажет, способен ли он изобразить пожар Трои. Следовательно, Гейне еще не замечал, что «история Амура и Психеи» — роман любви, сжато переданный в циклах лирических стихотворений, — исподволь преобразуется у него в большую поэму, охватывающую жизнь эпохи, ее конфликты и потрясения. О великих событиях времени — о «пожаре Трои» — Гейне собирался писать отдельно.

Историю возникновения «Книги песен» излагаем в ее последовательности.

1

Первый сборник стихотворений Гейне появился в декабре 1821 года: «*Gedichte von H. Heine, Berlin, in der Maurerschen Buchhandlung*», 1822.

Первая книга Гейне впоследствии оказалась первым отделом «Книги песен», она почти целиком совпадает с составом цикла

«Страдания юности». Отступления и различия указаны в дальнейшем комментарии.

Помимо оригинальных стихотворений в этот сборник входили еще переводы из Байрона: «Манфред», I акт, сцена 1, «Стихи на расставание с женой», «К Инесе» (из «Чайльд-Гарольда», песня 1), «Прощальные стихи» (из «Чайльд-Гарольда», песня 1).

В журнале «Gesellschafter», в приложении к нему от 26 декабря 1821 года, было напечатано извещение от Маурера:

«В нашем издательстве на днях вышла в свет книга — «Стихотворения Г. Гейне». Цена — 1 талер. Как бы ни судили о достоинствах этой книги, все же каждый признает за ее автором резкую оригинальность — редкостная глубина чувствования, живость юмористического взгляда на вещи, дерзкая изобразительная сила свидетельствуют о том. Почти все стихотворения этого сборника, состоящего из циклов — I. «Сновидения», II. «Любовные песни», III. «Романсы», IV. «Бурлескные сонеты», V. «Переводы из сочинений лорда Байрона», — почти все они написаны, следуя духу и простому, скромному тону немецкой народной песни. «Сновидения» — это цикл ночных рассказов, по своеобразию своему не сравнимых ни с одним из существующих родов поэзии. Берлин, декабрь 1821. Книгоиздательство Маурера.

По всей вероятности, извещение было написано самим Гейне. Он хотел дать читателю возможность правильно оценить свою книгу и даже указал на свои литературные связи: помимо народной песни — на «страшный жанр», разрабатывавшийся романтиками, на «Ночные рассказы» (Nachtstücke) Э. Т. А. Гофмана, впрочем, оговаривая свою самостоятельность. Хотя Гейне и весьма сдержанно аттестовал свою книгу перед лицом публики, тем не менее критика усмотрела нескромность в издательской рекламе. Фарнхаген, известный берлинский литератор, доброжелательный к Гейне, в своей рецензии на сборник все же отметил, что издательство Маурера несколько переоценило свои полномочия — оно поспешило сказать слово, которое надлежало услышать из уст литературной критики.

Маурер расплатился с Гейне сорока даровыми экземплярами. Гейне тогда еще не рассматривали как профессионального писателя.

2

В апреле 1823 года в Берлине, у издателя Дюмлера, вышел в свет второй лирический сборник Гейне: «Трагедии с лирическим интермеццо» — «Tragödien nebst einem Lyrischen Intermezzo». Здесь между трагедиями «Алмаз» и «Вильям Ратклиф» был

помещен лирический цикл из 66 стихотворений. Это дало основу для второго отдела будущей «Книги песен». Некоторые стихотворения «Лирического интермеццо» в «Книге песен» отпали, некоторые были введены заново — в первом самостоятельном издании «Лирического интермеццо» пролог и стихотворение первое отсутствуют. Что касается обеих трагедий, то впоследствии из состава «Книги песен» они были автором изъяты.

3

Следующий отдел «Книги песен» — цикл стихотворений «Опять на родине», «Heimkehr», — как самостоятельное произведение не публиковался. Сперва он был включен в первый том «Путевых картин» (1826). Этот цикл и по содержанию и даже по своим биографическим предпосылкам мог примыкать к путевой книге: здесь изображалось возвращение на старые места, родные и знакомые, на Рейн и в Гамбург, — в 1823 году Гейне совершил эту поездку, после того как покинул Берлин и Берлинский университет. Но связь с «Путевыми картинами» была лишь внешней, и когда Гейне перенес цикл «Опять на родине» в «Книгу песен», то здесь этот цикл нашел свое настоящее место. Он явился прямым продолжением «Лирического интермеццо», новым внутренним осмыслением событий, там изложенных, и свидетельством духовного перелома, который был пережит поэтом: поэт делает попытки освободиться от несчастной любви, от воспоминаний о ней и ищет для себя новой дороги в жизнь. Тем самым подготовлялась и связь с заключительным циклом — с «Северным морем». Впрочем, и после появления «Книги песен» Гейне продолжал печатать этот стихотворный цикл при «Путевых картинах».

4

Песни из «Путешествия по Гарцу» как отдельный цикл впервые появились в «Книге песен»; до того они печатались как стихотворения, рассеянные по прозаическому тексту «Путевых картин».

5

«Северное море» тоже вначале печаталось как часть «Путевых картин». В тот же первый том «Путевых картин» входила первая часть «Северного моря». Вторая часть этого цикла стихотворений была придана второму тому «Путевых картин» 1827 года —

она помещена была перед «Северным морем», написанным прозой, затем следовали «Книга Ле Гран» и «Берлинские письма». Начиная со второго издания «Путевых картин», Гейне разъединил «Северное море» в стихах с «Северным морем» в прозе, и обе части цикла стихотворений «Северное море» перешли в «Путевые картины», том первый, соседствуя с «Путешествием по Гарцу». Таким образом Гейне включал эти стихотворения и в «Путевые картины» и в «Книгу песен», все еще колеблясь, к чему их окончательно приурочить.

«Книга песен» как книга единая и цельная впервые была опубликована в октябре 1827 года. Тираж ее был невелик — 5000 экз. Издатель Юлиус Кампе заплатил Гейне 50 лундоров и приобрел право неограниченного переиздания. Сам Гейне едва ли рассчитывал на сколько-нибудь значительный успех своей книги — Гейне конца 20-х годов больше ценил свою прозу, чем стихи, и после «Книги песен» надолго отошел от лирики. Второе издание «Книги песен» появилось только в 1837 году, третье — в 1839, четвертое — в 1841, пятое — в 1844. При жизни Гейне «Книга песен» выдержала тринадцать изданий. Даты изданий показывают, что прошло целое десятилетие, пока до читателей по-настоящему дошла эта книга, сделавшаяся впоследствии любимейшей лирической книгой в Германии.

Издание пятое — 1844 год — последнее, исправленное самим Гейне. Оно и положено в основу настоящего издания.

Первая книга стихотворений Гейне, выпущенная у Маурера в 1821 году, породила интереснейшие критические отзывы. Рецензенты хорошо определили, в чем отличия поэзии Гейне. Их суждения сейчас удивляют — Гейне едва успел показать себя, а критики проявили дальновидность в своих оценках и предсказаниях.

Критики первого лирического сборника Гейне прежде всего отмечали, что новый поэт пришел из жизни, не из литературы. Немецкая поэзия тех лет страдала книжностью и надуманностью, пускалась в метрические эксперименты, упражнялась в поэтических формах, свойственных романтикам. Ничего этого не было у Гейне. Он явился в литературу с тем, чтобы искренне поведать о самом себе и о своих современниках. Фарнхаген фон Энзе одним из первых приветствовал молодого поэта. Он писал («Gesellschaft», 1822, № 11, от 19 января): «Выступающий здесь поэт... обладает превосходными качествами. Песни его возникают из настоящего источника, в них есть и способность видеть вещи и в них есть чувство... Никакой высокопарности, никаких приевшихся нам излишних слов. Язык сильный и сжатый, а когда нужно, ласковый и нежный».

Поддержал Гейне и уже известный тогда как драматург и поэт Карл Иммерман, — Гейне был горячо признателен Иммерману за его сочувственные отзывы в печати и отплатил ему стойкой дружбой. Иммерман («Rheinisch-westfälischer Anzeiger, Kunst- und Wissenschaftsblatt», № 23, от 31 мая 1822) отметил мотивы социальной критики в поэзии Гейне. Он уловил, что в жалобах несчастного любовника скрывается еще и иное, более существенное, — гражданский протест. «Если копнуть глубже, то, кажется мне, более грубая сила, чем чувство любовной досады, привела в движение душу поэта, и бедная девушка, на которую обрушиваются столь горькие попреки, должна держать ответ за прегрешения, совершенные другими». Иммерман несколько узко трактовал конфликт между Гейне и его современностью — он видел здесь только эстетический разлад между поэтом и прозаическим строем бюргерской жизни.

Значительнее других отзыв, данный на первый сборник Гейне в том же издании, где выступил Иммерман, — «Rheinisch-westfälischer Anzeiger, Kunst- und Wissenschaftsblatt» от 7 июня 1822, — отчасти он был возражением Иммерману. Отзыв подписан буквами «Шм.» (Schm.). Исследователи Гейне (Ф. Мельхиор, а вслед за ним Ю. Иссен) считают, что за этой подписью скрылся знаменитый философ Шлейермахер, лет за двадцать до того близко связанный со школой пенских романтиков, а здесь, в этой рецензии, высказавший резкие суждения, направленные против романтизма. В этом втором отзыве указывается, в чем коренная особенность поэзии Гейне: поэт не ищет гармонии и эстетического равновесия. «Мы находим здесь враждебный принцип (враждебный поэзии. — Н. Б.): режущие диссонансы, дикый дух разрушения, исторгающий из жизни все цветы ее и не позволяющий, чтобы где-либо принялась пальмовая ветвь примирения». Сам автор отзыва считает целью поэзии примирение и гармонию, что не препятствует ему воздать должное Гейне: видимо, он чувствует, что истина современной жизни заключена не в гармонии романтиков, а в диссонансах Гейне, и правдивость, драматизм, простоту поэзии Гейне он решительно одобряет. Личная, «субъективная» поэзия Гейне, по словам критика, нашла для себя «объективный» язык — Гейне умеет выразительно, ощутимо и общедоступно передать свои душевные состояния. Как лирический поэт он правдив и точен в отношении к самому себе. «Ни один поэт в нашей литературе не представил еще свой субъективный мир, свою индивидуальность, свою внутреннюю жизнь с такой поразительной беспощадностью, как это сделал Гейне в своих стихотворениях».

Тот же критик с большой решительностью отделяет Гейне от поэтов романтической школы. «Господин Гейне однажды на страницах этого издания объявил себя последователем Шлегеля; в своих стихотворениях он также вполне откровенно говорит об этом.¹ Но вот на что мы должны обратить внимание господина Гейне: как бы основательно ни прошел он Шлегелеву школу, как бы ни ободряли его учительные и «исполненные доброты» слова самого А.-В. Шлегеля, — все равно к школе Шлегеля он не принадлежит. Эта последняя, или же романтическая, школа *par excellence*,² или же, чтобы сказать еще точнее, лжеромантическая школа, состоит из двух элементов, которых, хвала господу, напрасно стали бы мы искать в произведениях Гейне: из элементов рыцарского и клерикального, из феодализма и иерархии. Единственный элемент, дающий жизнь поэзии Гейне, это элемент чистой гражданственности и чистой человечности. Мы не найдем в его произведениях ни малейшего намека на звон рыцарских шпор или же на запах ладана, что образует два главных элемента средневековья, а также школы Шлегеля, о средневековье томящегося. Одним словом — Гейне поэт для третьего сословия (*tiers état*). Напомним, что «третьим сословием» во Франции называлась вся оппозиционная масса, противостоявшая перед революцией монархии и дворянству. Таким образом, критик видел в авторе «Страданий юности» глашатая народной Германии, тоже противостоявшей отечественному деспотизму и феодализму.

В рецензиях на «Трагедии с лирическим интермеццо» еще более энергично, чем это делалось прежде, критики подчеркивали дисгармонический характер поэзии Гейне, причем указывалось, что поэту не подобает оскорблять святыни человека. Уже рецензентам первого сборника Гейне своими переводами из Байрона дал повод проводить сравнения между Байроном и собою, — в обоих поэтах видели дух бунта и критики. Август Кун («*Der Freimütige*», 1823, май — июнь) называл Байрона «князем пресподней», впрочем, отзываясь довольно приветливо о байронизме Гейне. Титул «немецкого Байрона» Гейне принял охотно, как позднее столь же охотно соглашался на титул «немецкого Аристофана».

В «Лирическом интермеццо» критикой были замечены те мотивы Гейне, которые во французский перипод его деятельности получили

¹ Имеются в виду напечатанная в 1820 г. в том же рейнском издании статья Гейне «Романтика» с хвалебными строками об А.-В. Шлегеле, а также три сонета, посвященные ему же, о которых см. ниже.

² По преимуществу (*франц.*).

именование «эмансипации плоти». Об этих мотивах его поэзии писалось в тонах нравственного негодования. Усердно обличал поэта в повышенном интересе к этим темам Вилибальд Алексис, автор исторических романов и литературный критик («*Jahrbucher der Literatur*», Bd. XXXI, 1825). Алексис обвинял Гейне в эротизме, ссылаясь в особенности на те стихотворения «Интермеццо», которые Гейне позднее устранил из этого цикла.

Когда «Книга песен» была опубликована целиком, то в критических отзывах часто повторялось уже прежде сказанное критикой по поводу отдельных ее циклов. Густав Шваб, поэт швабской романтической школы, снова укорял Гейне за диссонансы, за нежелание мирить друг с другом противоречия («*Literaturblatt*», Тюбинген, 1828, № 52). Более новы были указания Шваба на прозаизмы, которые Гейне намеренно допускает в своих стихах, на то, что Гейне заставляет прозаический мир говорить языком прозы.

Некоторые критики хорошо поняли, что «Книга песен» не только сборник, объединивший старые циклы, но и по сути своей новое произведение, где прежние циклы, оказавшись в единстве друг с другом, изменили свой прежний смысл, приобрели значение, едва ли им свойственное в прежних редакциях. Так, Генрих Герман (Эрнст Вольдемар) приветствовал «Книгу песен» как новый дар Гейне читателям («*Gesellschafter*», 1827, № 186): «Мы должны радоваться не только тому, что сейчас мы располагаем вещами, внутренне связанными друг с другом. Нет, наше богатство еще увеличилось, и это благодаря объединению, которое здесь свершилось. Ибо букет есть ведь нечто большее, чем цветы, из которых он составлен».

Предисловие к третьему изданию

Стихи из предисловия впервые были напечатаны в 1839 г. Во французском издании (H. Heine. *Poèmes et légendes*, 1855) они были даны как «прелюдия» к «Лирическому интермеццо».

СТРАДАНИЯ ЮНОСТИ

В основу этого отдела «Книги песен» Гейне положил свой лирический сборник 1821 г. (о чем см. выше). Каждое стихотворение в этом сборнике носило особое название. В цикле «Сновидения»: 1. «Посвящение». 2. «Девушка-волшебница». 3. «Поздравление». 4. «Венчание». 5. «Свадьба». 6. «Борьба». 7. «Брачная

почь». 8. «Кладбище». 9. «Бледная дева». 10. «Пробуждение». В цикле «Песни»: 1. «Ожидание». 2. «Нетерпение». 3. «Маленькое словцо «любовь»». 4. «Мастер-плотник». 5. «Будь здоров». 6. «Отплытие». 7. «На Рейне». 8. «Карлу фон У. В альбом». 9. «Отзвуки». В «Книге песен» Гейне снял эти заглавия — очевидно, чтобы упразднить самостоятельность этих стихотворений и теснее связать их друг с другом.

Сновидения

5. Во французском издании 1855 г., авторизованном Гейне, это стихотворение кончалось так:

«Украдкой отделяются они от гостей и покидают залу; я хочу следовать за ними, но ноги мои как из мрамора — я окаменел от горя.

Я окаменел от горя. И все же я добрался до брачного покоя. Две старые женщины сидели там на корточках у дверей.

Одна из них была смерть, другая — безумие. К беззубому рту каждая из них приставила костлявый палец — я хрипел, я задыхался, и, наконец, я стал смеяться, и от собственного смеха я проснулся».

8. Монолог второго покойника: *Шиндерганно, Орландини, Ринальдини* — герои разбойничьих романов: «Шиндерганнес» — роман Арнольда, «Ринальдо Ринальдини» и «Орландо Орландини» — романы Х. Вульпшуса. Италия — обычное место действия в немецких разбойничьих романах.

Монолог третьего покойника: *Мортимер, Мария* — речь идет о трагедии Шиллера «Мария Стюарт». Мортимер — юноша, влюбленный в королеву Маршу. «*Мария, святая!*» — слова Мортимера из IV акта трагедии.

Монолог четвертого покойника: *Fiducit* — студенческий жаргон, ответное слово, когда чокаются (Schmollis, ответ: Fiducit).

Песни

2. *Оры* — у древних греков богини жизненного распорядка, а также времен года.

6. *Эрида* — богиня раздора в древнегреческой мифологии.

Романы

3. Фабула стихотворения примыкает к сказанию о двух замках — Либенштейне и Штеренберге. Оба находились на Рейне и прозваны были «братьями». Этим сказанием воспользовался также известный

английский писатель Бульвер-Литтон в повести «Рейнские пилигримы».

5. Первоначальное название — «Песня пленного разбойника».

6. Во французском издании («Два гренадера») Гейне сделал пометку: «Написано в 1816 г.». Исследование доказало, что дата написания другая — сентябрь 1820 г. По мотивам своим перекликается с содержанием «Книги Ле Гран» — «Путевые картины». В пятой строфе появляются отголоски известной шотландской народной баллады, помещенной Гердером в его сборнике народных песен. Русский перевод этой баллады — у А. К. Толстого: «Чьей кровью меч ты свой так обагрил, Эдвард, Эдвард?»

Даем «Гренадеров» в более близком к тексту переводе В. В. Гиппуса:

ГРЕНАДЕРЫ

Во Францию два гренадера брели
Обратно из русской неволи.
И лишь до немецкой квартиры дошли,
Не взвидели света от боли.

Они услышали печальную весть,
Что Франция в горестной доле,
Разгромлено войско, поругана честь,
И — увьи! — император в неволе.

Заплакали вместе тогда друзья,
Поняв, что весть без обмана.
Один сказал: «Как страдаю я,
Как жжет меня старая рана!»

Другой ему ответил: «Да,
Мне жизнь самому постыла,
Жена и дети — вот беда,
Им без меня — могила».

«Да что мне дети, да что мне жена!
На сердце теперь — до того ли?
Пусть проспит милостыню она, —
Ведь — увьи! — император в неволе!

Исполни просьбу, брат дорогой, —
Если здесь глаза я закрою,
Во Францию прах мой возьми с собой,
Засыпь французской землею.

И орден положи на грудь —
Солдатом и в гроб я лягу.
И дать ружье не позабудь,
И повяжи мне шпагу.

Так буду в гробу я, как часовой,
Лежать и дремать в ожиданье,
Пока не услышу пушечный вой,
И конский топот, и ржанье.

Император подъедет к могиле моей,
Мечи зазвенят, блистая,
И я встану тогда из могилы моей,
Императора защищая!»

10. Фабула заимствована из библии — Книга Даниила, гл. 5. Ср. у Байрона — «Видение Валтасара».

16. Одно из ранних стихотворений Гейне — 1819 г. Обращено, как указывает в своих воспоминаниях брат Гейне Максимилиан, к певице Каролине Штерн, выступавшей в Дюссельдорфе с концертами. Певица бывала в доме родителей Гейне.

Роланд, Ганелон — герои старофранцузской эпической поэмы «Песнь о Роланде». Роланд и доверенное ему войско преданы Ганеломом, мавры их побеждают в долине Ронсевала. Напрасно Роланд трубит в свой рог — Карл Великий не слышит зова о помощи.

17. Вариация стихотворения Л. Уланда «Перстень» («Der Ring»). Перстень, подаренный любимой, унесен соколом, упал в море, схвачен рыбаком, — символика неверности. У Гейне пронырски то же самое о дукатах: дукаты у рыбок, у цветов, у птичек, у звезд.

19. Обращено к князю Александру Витгенштейну, с которым Гейне был знаком в 1819—1820 гг. в Бонне.

20. Обращено к Генриху Штраубе (см. о нем ниже).

Сопеты

А.-В. Шлегелю. — Сонет Шлегелю печатался впервые в журнале «Gesellschaftler», 1821, № 77 вместе с двумя другими сонетами, посвященными ему же (см. в «Дополнениях»), под общим названием «Венок сопетов».

Шлегель Август-Вильгельм (1767—1845) — один из вождей раннего романтизма в Германии, теоретик литературы и искусства, литературный и художественный критик, филолог, поэт и переводчик. Впоследствии отошел от современной литературной жизни, занимался только наукой — германистикой, санскритом. Гейне познакомился с А.-В. Шлегелем именно в этот поздний период, но в А.-В. Шлегеле Гейне видел одного из носителей романтической традиции. Гейне слушал у А.-В. Шлегеля лекции по специальным

вопросам германской филологии в Боннском университете в 1819—1820 годах и пользовался как поэт его советами и указаниями, — авторитет А.-В. Шлегеля в вопросах стиха стоял весьма высоко. От чрезвычайного уважения к А.-В. Шлегелю впоследствии Гейне перешел к жестокой сатире на этого романтика — Шлегель одна из самых жалких фигур в трактате Гейне «Романтическая школа».

В раннюю свою пору Гейне был не только далек от каких-либо сатир на А.-В. Шлегеля, но и защищал его против чужих выпадов. Сонеты были опубликованы с таким послесловием: «Статьи, помещенные в «Берлинском ежемесячнике философии и литературы», а затем частично перепечатанные в «Беседе» и в литературном приложении к «Утреннему листку», — эти статьи с нападками на великого мастера многим доставили душевное удовольствие, меня же заставили выступить с помещенными выше сонетами. Они возникли прошлым летом в Бонне, где у меня был случай наблюдать высокочтимого мастера во всем блеске его превосходства и в полном расцвете сил. И действительно, мастер несколько не состарился духовно. Он еще не достиг того спокойного состояния, когда удобно располагаются на спине слона, подпирающего мироздание. Мы оставляем открытым вопрос, прав или не прав автор резких статей, с таким пылом высказывающийся против нынешних политических устремлений Шлегеля. Однако же ему не следовало забывать о почтительности, в какой нельзя отказывать реформатору литературы. Что касается изучения санскрита, то само время решит, полезно ли это изучение. Португальцы, голландцы и англичане из года в год волокут домой на своих кораблях сокровища Индии, мы же, немцы, только глядим на это издали. Но духовные сокровища Индии не должны ускользать от нас. Шлегель, Бопп, Гумбольдт, Франк и другие — это наши современные открыватели Ост-Индии. Бонн и Мюнхен станут достойными факториями». Гейне говорит о том, что немцам досталось не материальное, но духовное освоение Индии; все перечисленные у Гейне имена — немецкие ученые-индологи; немецкие «фактории», по словам Гейне, — в университетских городах Германии.

В третьем сонете, посвященном Шлегелю (см. в «Дополнениях», сонет II), Гейне восхваляет его за многообразие и широту интересов — и Запад и Восток, и Темза и Ганг, и Мексика и Индия составляли его духовное достояние.

Политические взгляды А.-В. Шлегеля, к которым Гейне в 20-х годах относился снисходительно, были главной причиной позднейшей переоценки: Гейне стал всячески подчеркивать заискивание

А.-В. Шлегеля перед европейскими властителями, дружбу его с деятелями Реставрации.

С о п е т Г. Ш. — Как и романе 20, обращен к Генриху Штраубе. Первоначальное заглавие — «Г. Шт., после того как был прочитан его журнал, посвященный воскрешению старонемецкого искусства». Генрих Штраубе, романтический литератор, в 1818 г. совместно с Горнталем издавал журнал «Волшебная палочка» («Wünschelrute»), в котором участвовали Арндт, Бренцано, Кернер, Шваб, бр. Гримм и другие ревнители немецкой старины и фольклора. Гейне был обязан журналу Штраубе многими знаниями в этих областях.

Фресковые сонеты Христиану З. — Фресковые сонеты — сонеты монументального стиля, подобного стилю фресковой живописи. Христиан Зеге, к которому обращены эти сонеты, — школьный товарищ Гейне, один из его друзей. К литературе отношения не имел.

ЛИРИЧЕСКОЕ ИНТЕРМЕЦЦО

Первое издание — «Трагедии с лирическим интермеццо» (1823) — открывалось посвящением в стихах, адресованным Соломону Гейне, дяде поэта.

В первом издании «Книги песен» перед «Лирическим интермеццо» стояли строки: «Соломон Гейне — снова прими эти строки как знак почтительности и симпатии автора». Со второго издания «Лирическое интермеццо» печаталось без посвящения.

В «Книге песен» первого издания «Лирическое интермеццо» состояло из 66 стихотворений. Начиная со второго издания, стихотворение 37 (у нас — в «Дополнениях» к «Лирическому интермеццо», стих. 4) исключалось.

П р о л о г, появившийся как вступление к «Интермеццо» только в «Книге песен», до того в почти неизменном виде печатался как часть текста трагедии «Альманзор» — сцена свадьбы, романс арфиста.

1. Впервые появилось в «Книге песен», — очевидно, в качестве экспозиции к фабуле лирического романа.

9. Индия трактуется в этом стихотворении условно, как это было принято у немецких романтиков. Согласно романтическим концепциям, Индия — страна чудес, страна, в которой осуществлялась высшая гармония между человеком и человеком, между человеком и природой, духом и телом. Исследователь поэзии Гейне

Карл Гессель¹ указал источник этого стихотворения — статью Гроте «Картины времени» с таким описанием Индии: «Гут явились перед нами волшебные поляны, где живет вечная весна. Казалось, будто здесь и растения, и животные, и звуки, и кристаллы, и лотосы, и души людские, и звезды блаженствуют в едином сестринском союзе; будто здесь они ласкают друг друга, целуют, возносятся в легких играх над землею, сочетаясь в бесконечной радости, полные желания, не ослабляя объятий, перенестись в далекие миры. Эти цветущие видения представляли перед нами на берегах Инда и Ганга, оживленные вечной весной, вечным весельем, окруженные музыкой и благоуханьями, — к блистающим божественным высам стремились они».

Стихотворение приобрело широкую известность вместе с музыкой Ф. Мендельсона, написанной к нему. Мотив волшебной страны — см. еще «Интермеццо», 42.

11. В первой своей журнальной редакции 1822 г. стихотворение называлось «Ангельский привет. Из бумаг одного художника». Сравнение мадонны с возлюбленной поэта отсутствовало — в новой редакции этим сравнением Гейне разрушил религиозно-романтический стиль, в котором раньше было выдержано стихотворение.

В стихотворении имеется в виду алтарь Кельнского собора — «Благовещенье» Стефана Лохнера, изображенное на одной из сторон этого алтаря. Мадонна здесь написана на фоне золотой занавески, поддерживаемой ангелами.

17—19. Эти стихотворения, объединенные в одну группу под названием «Новобрачная», печатались в сборнике 1821 г. В сборнике «Трагедии» они отсутствуют.

33. Стихотворение это сразу же вошло в славу и для самого Гейне стало одним из девизов его поэзии. Даже Виллибальд Алексис, мало расположенный к Гейне рецензент «Трагедий», выделил это стихотворение и заявил, что ради него он готов полюбить всю книгу. О предполагаемых источниках этого стихотворения см. Гейне. Полное собрание сочинений, т. 4, Гослитиздат, М. 1938, стр. 387—388. Там же о литературных аналогиях к нему.

Стихотворение держится на антитезе двух влюбленных: ein Fichtenbaum — eine Palme, в точном русском переводе: сосна и пальма. Перевод Лермонтова упускает очень существенную здесь противоположность грамматических родов. По-немецки Fichtenbaum

¹ K a r l H e s s e l. Dichtungen von Heinrich Heine, ausgewählt und erläutert, Bonn, 1887, стр. 312.

мужского рода, Palme — женского рода. Герои стихотворения Гейне — «он» и «она», грамматические формы создают условия для этого иносказательного романа между жителем севера и южанкой.

У М. Ю. Лермонтова названия деревьев — имена героев — даны точно: сосна и пальма, но исчезает любовный роман, исчезают «она» и «он». Ф. И. Тютчев перевел «кедр» и «пальма»; его примером воспользовались последующие переводчики. Знаменитый перевод М. Ю. Лермонтова, который мы даем в основном тексте, собственно является самостоятельным стихотворением на тему Гейне. Даем новый перевод А. Энгельке:

На голой скале, одиноко,
На севере диком, глухом
Качается кедр и дремлет,
Одетый снегом и льдом.

И снится ему, что далеко,
В стране, где солнца восход,
На знойном утесе пальма
В немой печали растет.

60. Вместе со стихотворением 64 было напечатано в журнале «Gesellschaftler», 1822, № 20 с таким примечанием Гейне: «Со многих сторон делались мне указания, что в цикле «Сновидения» из сборника моих стихов, изданных у Маурера, допущен пропуск, и рецензент весьма благосклонно отметил, что пропуск этот возник вследствие слишком строгих принципов отбора. Если уж говорить о строгом отборе, то, к несчастью, сам я хорошо знаю, что это было не так и что в мой сборник, напротив того, пробрались многие незрелые и неудавшиеся произведения. Снисходительность, с которой это обстоятельство было затушевано, обязывает меня восполнить хотя бы этими двумя стихотворениями указанный пропуск. Их настоящее место — между вторым и девятым номером в «Сновидениях».

62. В подлиннике — *Armesünderblum*, цветок бедного грешника. Этот цветок окружен народными поверьями и взят был Гейне из народной песни. О цветке бедного грешника писал Мейнерт, составитель сборника старинных народных песен издания 1817 г.: «Трогательная история метаморфоз этого цветка и местное его название основаны на старом обычае. Самоубийц («бедных грешников») хоронят на перекрестке дорог, за чертою деревни».

65. В журнальной редакции 1822 г. стихотворение называлось «Ночь под Новый год». Соответственно названию, хоронили старый, минувший год, а не любовь. Во французском издании Гейне озглавил это стихотворение «Эпилог».

ОПЯТЬ НА РОДИНЕ

Этот цикл в первых публикациях был посвящен Рахели Фарихаген фон Энзе, жене известного берлинского литератора и дипломата. Рахель играла заметную роль в умственной жизни Берлина, в ее салоне постоянно бывал и молодой Гейне, которого Рахель опекала.

В первом издании «Путевых картин» этому циклу стихотворений предшествовал эпитафия из трагедии Карла Иммермана «Карденио и Целсида». Даем его в прозаическом переводе: «Святотатец в распутстве своем кутает свою отвратительную наготу в святой покров, взятый с алтаря! Золотое вино чувств, и пьяница хлебает его! Роза, слишком гордая, чтобы вбирать в себя росу небесную, стала убежищем для паука, вздувшегося от яда!» Во втором и в последующих изданиях появился другой эпитафия — тоже из Иммермана, из его сборника стихов. В этом эпитафии говорится: «Нам ненавистна всякая радость, если она только наполовину, нам ненавистно всякое нежное бренчанье. Никакой вины мы за собой не знаем, зачем же нам жеманничать? Негодяй со вздохом опускает глаза, а честный малый подымает к свету свои ясные ресницы». Оба эти эпитафии указывали, какое важное значение придает Гейне той части своего цикла, где он прибегает к резким прозаизмам, к дерзким и откровенным высказываниям, колеблющим бюргерскую мораль и условный, идеалистический стиль поэзии. Первый эпитафия как бы перехватывает возражения критики: вершителем святого дела поэзии притворился святотатец, церковный вор, распутник, облачившийся в чужие одежды, кощунственно прикоснувшийся к чаше, из которой пьют избранные. Второй эпитафия является вызовом и самозащитой. Гейне ссылается на то, что его язык — язык правды и что усладительная поэзия — ложь, которую он презирает. *«Нежное бренчанье»* — ср. стихотворение 79 о тенорах-кастратах, восставших против грубой поэзии Гейне.

2. Легенда о Лорелее, волшебнице и обольстительнице, под сказана рейнским пейзажем — скалой Лур-лей. Балладу о Лорелее сложил романтический поэт Клеменс Брентано — она включена в его роман «Годви» (1801—1802). На сюжет Лорелеи писали и романтические поэты фон Лебен и Эйхендорф. По всей вероятности, Гейне пользовался книгой Алоиза Шрейбера «Справочник для путешествующих по Рейну», ко второму изданию которого (1818) было приложено сказание о Лорелее: «В стародавние времена в сумеречный час и при свете луны на скале Лур-лей показывалась девушка, которая пела голосом столь прелестным, что

она плескала всех, кто слушал ее. Многие проплывавшие мимо разбивались о подводные камни или же погибали в водовороте, так как они переставали следить за ходом своего судна и небесный голос певицы-волшебницы как бы отторгал их от жизни...» В одной из сказок Клеменса Брентано дан образ Лорелси, близкий к тому, что представлено в балладе Гейне: прекрасная колдунья Лорелея сидит на скале и расчесывает свои белокурые волосы.

Помещаем также новый перевод В. Левика:

Не знаю, что стало со мною,
Печалью душа смущена.
Мне все не дает покоя
Старинная сказка одна.

Прохладен воздух, темнеет,
И Рейн уснул во мгле.
Последним лучом пламенеет
Закат на прибрежной скале.

Там девушка, песнь распевая,
Сидит на вершине крутой.
Одежда на ней золотая,
И гребень в руке — золотой.

И кос ее золото вьется,
И чешет их гребнем она,
И песня волшебная льется,
Неведомой силы полна.

Безумпой охвачен тоскою,
Гребец не глядит на волну,
Не видит скалы пред собою,
Он смотрит туда, в вышину.

Я знаю, река, свирепея,
Навеки сомкнется над ним,
И это все Лорелея
Сделала пенем своим.

6. Биографическая основа этого стихотворения — встреча с семейством Соломона Гейне в Гамбурге в конце июня 1823 года. Возлюбленная, вышедшая замуж, о которой говорится здесь, — кузина Амалия, дочь Соломона Гейне. Младшая сестра возлюбленной — Тереза Гейне. В этом стихотворении Тереза упоминается впервые.

15. Стихотворение, написанное в рамках известной народной песни, помещенной в сборнике Арнима и Брентано «Волшебный рог мальчика». Первый стих совпадает, а первые две строфы у Гейне довольно близки к строфам этой песни.

16. *Город и башни*. — Подразумевается город Гамбург. В гербе Гамбурга — три башни.

24. *Атлас* (Атлант) — герой греческой мифологии, непокорный титан, боровшийся с олимпийскими богами и побежденный ими. В наказание за бунт Атлас был осужден поддерживать плечами небо.

30—33, 44—63. Эти стихотворения принято относить к Терезе Гейне, сестре Амалии. На время происходит смена главной героини любовного романа. Любовь к Амалии — биографическая основа стихотворений «Книги песен», начиная с цикла «Страдания юности». Цикл «Опять на родине» тоже полон воспоминаний об этой любви. После недолгого романа с рыбачкой в этом цикле появляется новое лицо — Тереза. Однако же тема Амалии не вытеснена и снова воскресает в стихотворениях этого цикла.

35. *Фуке* — де ла Мотт Фуке (1787—1843), барон, автор «Ундины», а также романов и драм, восхваляющих средневековье. «Ундина» — лучшее произведение Фуке. В остальном он писатель посредственный, хотя и пришедшийся по вкусу публике, — романы Фуке много читали.

«*Геката*» — журнал, издававшийся в 1823 г. Адольфом Мюллерпером, мелким берлинским литератором, одно время имевшим успех в качестве драматурга; трагедия Мюллера «Вина», принадлежавшая к жанру так называемых «трагедий судьбы», долго держалась на немецкой сцене.

37. Фабула этого стихотворения — поклонение волхвов, царей с Востока, младенцу Иисусу, родившемуся в Вифлееме. Поклонение волхвов — излюбленный сюжет старинной религиозной живописи. Гейне дает свою собственную «картинку» в стихах, выдержанную в наивном и примитивном стиле.

38. Стихотворение первоначально называлось «К сестре» и было обращено к сестре Гейне, Шарлотте (в замужестве Эмбден).

44. Помещаем также новый перевод Т. Сильман:

К чему, как безумный, до сих пор,
До этого мига последнего,
С тобою вместе, как скверный актер,
Разыгрывал я комедию.

Кулисы раскрашены были пестро,
В сверхромантическом стиле,
Был плащ мой расшит, на шляпе перо,
И чувства утончены были.

И вот, когда время настало сорвать
С себя мишуру последнюю,
Я снова несчастен, как будто опять
Играю все ту же комедию.

О боже! За шуткой пряталась боль,
И правду поведал театру я.
Со смертью в груди я разыгрывал роль
Умирающего гладнатора.

45. Мотив из древнеиндийской поэмы «Рамаяна»: набожный отшельник Васишта — обладатель священной коровы, которая доставляет ему все блага земные, вступает в столкновение с царем Висвамитрой. Царь пытался выпросить корову у Васишты; получив отказ, он прибегает к силе, но все напрасно. Корова помогает отшельнику Васиште в борьбе его с царем.

65. Предполагается, что стихотворение обращено к другу Гейне Рудольфу Христиани, либеральному общественному деятелю в Люнебурге, поклоннику Гете. По словам Максимилиана Гейне, в этом стихотворении дается «рифмованная фотография» Христиани.

66. Стихотворение полно намеков на берлинскую жизнь; все относящееся к Берлину названо своим точным именем. Впрочем, Гейне колебался, следует ли ему держаться этой точности, и от издания к изданию то именовал Берлин Берлином, то городом Икс.

Эуген — польский граф Евгений Бреза, к которому Гейне относился с особой нежностью.

Церковь Девы (в подлиннике — церковь Гедвиги) — католическая церковь в Берлине; именно в ней и не следует искать католика Евгения Бреза.

У мамзели — у мамзели Мейер. Имеется в виду известное берлинское кафе.

80. *Саламанка* — город в Испании, известный в средние века и в эпоху Возрождения своим университетом. Саламанка, а вместе с ней и весь испанский колорит здесь, конечно, мнимые, шуточные. На самом деле в этом стихотворении подразумевается город Геттинген, где учился Гейне. В 1821 г. Гейне был удален из Геттингенского университета по делу о дуэли.

81. Снова стихотворение о мнимой Саламанке и о мнимых испанцах, снова люди и подробности Геттингена.

Дон Энрикес — как предполагают, Вильгельм Гавеман, товарищ Гейне по университету, впоследствии историк Испании.

84. Город Галле Гейне посетил в 1824 г. и застал в тамошнем университете следы жестоких политических репрессий. Это были отголоски убийства Коцебу, совершенного в 1819 г. студентом Зандом. Немецкие правительства видели в студентах опасных бунтовщиков. В Галле подвергнуты были преследованию землячества. В 1824 г. многие студенты оказались в крепости или же были изгнаны из университета. Гейне говорит о христианском смиреннии, к кото-

рому хотят припудрить молодежь, — для студенческих организаций приготовлено молитвенное место в церкви.

88. Сперва это было стихотворное посвящение при пересылке «Трагедий» Генриху Штраубе. В первой строфе Гейне имитирует поэтическую манеру Штраубе.

С у м е р к и б о г о в. — Первая публикация в 1822 г.

Р а т к л и ф. — Первая публикация в 1822 г. Трагедия «Вильям Ратклиф» по-прежнему варьирует сюжет любви Ратклифа и Марии. Это стихотворение — сон Ратклифа о будущем, которое предстоит им обним. Трагедия же — это их действительная история.

Д о н н а К л а р а. — Написано осенью 1823 г. Сюжет восходит к испанскому романсу Фуке, вставленному им в его роман «Волшебное кольцо», 1813, часть 1, гл. 19. Героиня романа Фуке — тоже донна Клара, герой — дон Гайферос, ее возлюбленный. Дон Гайферос удивляет донну Клару: он ни словом не упоминает христианскую религию, не выполняет предписаний христианского культа. Романс Фуке ведется в форме диалога, и, как это делает и Гейне, разгадка сюжетной тайны приходит с запозданием. Дон Гайферос — скрывающийся среди христиан мавританский король. Он зовет донну Клару, верующую католичку, последовать за ним в его столицу, Гренаду, в золотую Альхамбру, обещает, что разделит с нею престол. Он похищает донну Клару — ее возмущили дерзкие речи дон Гайфероса, она потеряла сознание, и только поэтому он мог увезти ее. Братья донны Клары подстерегают похитителя и убивают его. Тогда лишь донна Клара отдает себе отчет в своих чувствах: она любит, как и любила, своего мавританского рыцаря вопреки запретам церкви. Донна Клара рыдает над его мертвым телом, распустив свои золотые волосы.

Гейне придал новый поворот сюжету, найденному у Фуке. Для романтика Фуке спор между религией и свободным человеческим чувством полон напряженного трагизма; у Гейне, который ведет рассказ с точки зрения героя-вольнодумца, внутренний авторитет религии заранее поколеблен, прописанное разрешение сюжета заранее подготовлено.

Гейне, впрочем, не намерен был ограничиваться прописанной развязкой. В письме к своему берлинскому другу Мозсу Мозеру (5 или 6 ноября 1823 г.) он сообщает, что романс о донне Кларе только первая часть трилогии. Предполагался еще дальнейший рассказ о сыне, который родился у донны Клары от ее вольнодумного любовника. Сын вырос, и он издевается над собственным отцом, не зная, кем тот ему приходится. В третьей части сын ста-

новптся доминиканцем и подвергает мукам инквизиции своих со-племенников по отцу.

А л ь м а н з о р. — Свободная вариация мотивов трагедии «Альманзор». По поводу «Альманзора» см. в комментарии ниже.

Н а б о г о м о л ь е в К е в л а р. — Печатаю это стихотворение при «Путевых картинах», Гейне прибавил к нему послесловие: «Сюжет этого стихотворения не принадлежит мне целиком. Оно возникло из воспоминаний о моей рейнской родине. Когда я был еще маленьким и когда в Дюссельдорфе в монастыре францисканцев меня дрессировали, обучая грамоте и умению сидеть тихо, то очень часто соседом моим там оказывался другой мальчик, и мальчик этот поведал мне свою повесть. Мать взяла его однажды с собою в Кевлар (ударение находится на первом слоге, сам же Кевлар находится в Гельдернской округе). В Кевларе она принесла в дар богородице восковую ногу, и тогда поправилась его собственная больная нога. С этим мальчиком я позднее снова повстречался в старшем классе гимназии, и когда на лекциях ректора Шальмейера по философии мы очутились рядом, то сосед мой, смеясь, напомнил мне о чуде, о котором прежде рассказывал, но затем прибавил довольно серьезно, что сейчас он принес бы в дар богородице восковое сердце. Позднее услышал я, что тогда он страдал от какой-то любовной истории. Затем я потерял его из виду и забыл о нем.

В 1819 г. я учился в Бонне, и однажды случилось мне гулять по берегу Рейна, в местах около Годесберга. Тут донеслись до меня звуки знакомых мне кевларских песен, из которых лучшая сопровождается протяжным напевом: «Мария, господь с тобой». Как только процессия приблизилась, среди богомольцев я увидел своего школьного товарища со старухой матерью. Мать вела его. Он выглядел бледным и больным.

Эту заметку я не должен отрывать от стихотворения, потому что они одновременно возникли, уже однажды были напечатаны вместе и, таким образом, как бы срослись друг с другом. Я несколько не хотел бы намекать на какие-либо свои пристрастия, как и не хотел бы, чтобы предшествующее стихотворение¹ выражало чувство отрицания. Эти стихи в романе, откуда они заимствованы, сочиняет и поет мавр, последователь ислама, полный недовольства. «И действительно, — так говорит один английский писатель, — подобно господу богу, первоначальному творцу миров, поэт, творец, который приходит позднее, не принимая ничьей стороны, возвышается над всеми раздорами сект этой земли».

¹ «Альманзор».

СЕВЕРНОЕ МОРЕ

При первой публикации (вместе с «Путевыми картинами» — см. выше) этот цикл предварялся эпитафией Гете: «Быть бескорыстным во всем, особенно же в дружбе и в любви, составляло для меня высшую радость, являлось для меня правилом, определяло мое поведение, и, таким образом, эти позднейшие дерзкие слова: «Если я тебя люблю, какое тебе дело до этого?» — были взяты из самой глубины моей души». («Поэзия и правда», книга 14).

Перед вторым циклом в первой публикации вместо эпитафии давалась ссылка: К с е п о ф о н т. Анабазис, IV, 7, — в этом месте Ксенофонт рассказывает о выходе греков к морю.

В первом издании «Книги песен» эпитафия перед циклами «Северного моря» были удалены, но появилось посвящение Фридриху Меркелю, тоже в последующих изданиях удаленное.

Цикл первый

5. *Гомер* — один из любимых авторов Гейне, хорошо ему знакомый. В особенности любил Гейне «Одиссею». О чтении Гомера Гейне сообщает друзьям в письмах 1825—1826 гг.

Второй отрывок — точные напоминания о приключениях Одиссея, сына Лаярта.

Ткали царицы пурпур — у феакийцев, где царица Арета, мать царевны Навзикаи, вращала веретено с окрашенной в пурпур шерстью.

Пещеры великанов — пещера Полифема.

Объятия нимф — объятия Кирки (Цирцеи) и Калипсо.

Киммерийская ночь. — После Кирки Одиссей попадает к киммерийцам, живущим в царстве вечной ночи у входа в преисподнюю.

Кораблекрушение Одиссей терпит после того, как его спутники на острове Триникаи убили быков Гелиоса.

Посейдон — бог морей, преследовал Одиссея, ослепившего Посейдонова сына, циклопа *Полифема*. Богиня *Афина* покровительствовала Одиссею. У Гейне Посейдон насмехается над современным поэтом, осмелившимся вообразить, будто боги вмешиваются в его судьбу и препятствуют его возвращению домой, как препятствовали Одиссею, древнему герою.

10. *Город, ушедший на дно моря*, — характерный мотив романтической литературы. Гейне цепил разработку этого мотива у Вильгельма Мюллера — стихотворение «Винета».

Развязка «Морского видения» почти дословно совпадает с одним

эпизодом повести Э.-Т.-А. Гоффана «Золотой горшок», вигилия вторая. Студент Ансельм, поэт и мечтатель, влюбляется в золотых змеек, которые привиделись ему в дрезденском городском саду в праздничный вечер. Ансельм переплывает на лодке через Эльбу. «Студент Ансельм сидел, углубленный в себя, около гребца; но когда он увидел в воде отражение летавших в воздухе искр и огней, ему почудилось, что это золотые змейки пробегают по реке. Все странное, что он видел в саду под бузиною, снова ожило в его чувствах и мыслях и снова овладело им неотразимое томление, пламенное желание, которое так потрясло его грудь в судорожно-скорбном восторге. «Ах, если бы это были вы, золотые змейки, ах! Пойте же, пойте! В вашем пении снова явятся для меня синие прелестные глаза, — ах, не здесь ли вы, под волнами?» — так воскликнул студент Ансельм и сделал при этом сильное движение, как будто хотел броситься из лодки в воду. «Сударь, в своем ли вы уме!» — закричал гребец и поймал его за борт фрака». (*Перевод В. С. Соловьева.*)

12. Окончание «Мира» (со слов «О, если бы такое ты выдумать мог...»), напечатанное в «Путевых картинах», в «Книге песен» опущено. Однако нет доказательств, что от версии «Путевых картин» Гейне отказался вполне добровольно, и поэтому в основном тексте мы придерживаемся того, что дают «Путевые картины». Их версия более соответствует всему антихристианскому, антирелигиозному строю «Северного моря», прославляющего не абстрактного, враждебного материальному бытию бога христиан, но богов античного мира, богов природы и естественной жизни.

Цикл второй

1. Эти стихи связаны с рассказом Ксенофонта, греческого писателя V—IV вв. до н. э., об отступлении греков к Черному морю. 13.000 греков участвовали в войне, предпринятой Киром Младшим против брата его, персидского царя. После поражения, которое потерпел Кир недалеко от Вавилона, греки стали с трудом пробиваться домой, на родину. Ксенофонт, бывший в рядах греческого войска, описал («Анабазис», IV, 7) весьма лирически, как греки закричали: «*Таласса! Таласса!*» — «Море! Море!» — когда впервые увидели море с горных вершин.

2. *Кронион* — бог Зевс, сын Кроноса.

Белые кони — валы, метафора, подсказанная греческим мифом, который далее развернут в тексте.

Эрихтон — сын царя Дардана, обладатель копей. Двенадцать

жеребцов рождены от Борея, бога ветра, кобылицами Эрихтона. В «Илиаде» сказано о жеребцах Борея — песнь 20, ст. 228—229:

Если ж скакали они по хребтам беспредельного моря,
Выше воды, сверх валов рассыпавшихся, быстро летали.

(Перевод Н. И. Гнедича.)

Стикс — в греческой мифологии река на границе между земным и подземным миром.

Харон — в греческой мифологии перевозит в лодке души умерших в подземный мир.

Эол — бог ветров.

Кастор и *Полидевк* — близнецы, сыновья Зевса и Леды. По греческому мифу, моряки, находящиеся в открытом море, плыли под покровительством созвездия Близнецов — созвездия Кастора и Полидевка (Поллукса).

Две последние строки «Грозы» соответствуют тексту Гомера: «Коней смиритель Кастор и боец Полидевк многосильный» («Одиссея», XI, 300, перевод В. А. Жуковского).

5. *Среброногая супруга Пелея* — морская богиня Фетида, супруга Пелея; поднявшись вместе со своими нимфами со дна моря, оплакивала своего погибшего сына Ахилла.

Ниобея — героиня греческого мифа; окаменела, скорбя о своих детях, убитых Артемидой и Аполлоном. Ниобея кичилась своими детьми и была наказана за похвальбу ими.

Бесстрашный титан. — Речь идет о Прометее. В трагедии Эсхила «Прометей Прикованный» хор океанид утешает Прометея, распятого на скале по приказанию Зевса.

6. В греческой мифологии боги не обладают вечной властью. Поколения богов борются друг с другом, младшие боги отнимают власть у старших.

Юпитер-отцеубийца. — Юпитер, или, вернее, Зевс, как называли его греки, свергнул отца своего Кроноса и сам воцарился на его месте. Гейне называет греческих богов то их греческими, то латинскими именами: Зевс-Юпитер, Гера-Юпона, Афродита-Венера.

*Богиней умерших явилась ты мне,
Венера Либитина!*

У римлян Либитина — первоначально богиня погребения, позднее ее отождествили с богиней сладострастия Любентинной, а затем и с Венерой.

Арес — бог войны; греческий миф рассказывал о любовной связи Ареса с Афродитой (у римлян — Марса с Венерой).

7. *Головы в иероглифических колпаках* — головы египетских жрецов. Дальше друг за другом перечислены века, народы и культуры: Восток, эпоха Возрождения, эпоха классицизма и эпоха просветительства — тюрбаны, береты, парики.

9. *Ганс* — Эдуард Ганс, известный гегельянец, профессор философии права в Берлинском университете, либеральный деятель, приятель Гейне.

На вид невзрачные, в дубовых камзолах. — Дубовые камзолы заимствованы из застольной песни, известной по сборнику «Волшебный рог мальчика». *Красный... нос мирового духа* — веселые выпады против идеалистической философии, против учения Шеллинга и в особенности Гегеля об абсолютном духе как об основополагающем начале в мироздании.

ДОПОЛНЕНИЯ К «КНИГЕ ПЕСЕН»

К «СТРАДАНИЯМ ЮНОСТИ»

Здесь даются стихотворения, вошедшие в первый лирический сборник, изданный Гейне в 1821 году, и не включенные поэтом в «Книгу песен».

Сонеты и другие стихотворения

1. *Венок сонетов А.-В. Шлегелю.* — См. выше комментарии к сонету с тем же посвящением.

Здесь второй сонет соответствует стихотворению А.-В. Шлегеля «Поэт о самом себе», содержащему самоаттестацию.¹ А.-В. Шлегель ставит себе в главную заслугу широту и универсальность своих культурных и эстетических симпатий: он равно отзывчив был и к Шекспиру и к поэзии древней Индии.

2. *Гофрату Георгу С. в Геттингене.* Стихотворение посвящено Георгу Сарторнусу (1765—1828), историку, ученому либерального направления, профессору Геттингенского университета. Гейне слушал лекции Сарторнуса и высоко уважал его.

3. *Ж.-Б. Р.* — Жан-Батисту Руссо, литератору, в многочисленных изданиях которого Гейне сотрудничал. Позднее Ж.-Б. Руссо стал литературным врагом Гейне.

4. *Фресковий сонет Христиану З.* — Христиану Зете, см. выше.

5. *Ночь на Драхенфельзе.* — Посвящается Фрицу фон Бейгем, товарищу Гейне по университету в Бонне. Драхенфельз —

¹ См. А. W. Schlegels Werke, hg. von Rd. Böcking, В. III. — вступительное стихотворение.

гора в окрестностях Бонна. В 1820 г. Гейне участвовал в студенческом празднестве, устроенном здесь. В обществе Ж.-Б. Руссо он провел на Драхенфельзе всю ночь.

6. Фрицу Шт. в альбом — Фрицу Штейнману. Этот приятель Гейне, мелкий литератор, по смерти поэта стяжал дурную славу изданиями подложных его стихотворений и всякого рода недостоверных документов, относящихся к нему.

7. Францу фон Ц. — Францу фон Цукальмально, товарищу Гейне по лицее в Дюссельдорфе.

К «ЛИРИЧЕСКОМУ ИНТЕРМЕЦЦО»

Все эти стихотворения входили в сборник «Трагедии с лирическим интермеццо». Только 4-е сохранилось в первом издании «Книги песен» — там оно было помещено за № 3 в цикле «Лирическое интермеццо».

К ЦИКЛУ «ОПЯТЬ НА РОДИНЕ»

Тут даются стихотворения: 1) опубликованные в этом цикле при «Путевых картинах», изд. первое, но не вошедшие ни в «Книгу песен», ни в последующие издания «Путевых картин»; 2) публиковавшиеся, начиная со второго издания, в «Путевых картинах» и в «Книгу песен» не включавшиеся.

К «ПУТЕШЕСТВИЮ ПО ГАРЦУ»

«Грезы старые, проснитесь!» — Печаталось только в первом издании «Путевых картин». Там стихотворение было приурочено к соответствующему эпизоду: автор созерцает на Гарце развалины средневекового замка, и в нем пробуждаются романтические чувства. В дальнейших изданиях Гейне выбросил и этот эпизод «Путешествия по Гарцу» и это стихотворение.

К «СЕВЕРНОМУ МОРИЮ»

Печаталось во всех изданиях «Путевых картин» как № 10 «Северного моря», цикл второй. В «Книгу песен» не включалось.

Т Р А Г Е Д И И

АЛЬМАНЗОР

Юношеская трагедия Гейне возникла в 1820—1822 годах. Первые Гейне приступил к ней летом 1820 года. Это был год испанской революции, начавшейся еще в январе. Революционное

движение в Испании разрасталось. Только поздней осенью 1823 года его подавили интервенты — французская армия, вторгшаяся в Испанию по решению так называемого Священного Союза — союза монархов, господствовавшего тогда над политической жизнью Европы.

Судьба революционной Испании глубоко занимала и молодого Гейне и его современников. Из сочувствия к испанской революции Гейне обращается к вопросам испанской истории, к испанской культуре и поэзии. Трагедия «Альманзор» проникнута этим сочувствием Гейне к испанскому народу, восставшему против королевского деспотизма и произвола. Увлечение современной Испанией также объясняет нам, почему Гейне в эти годы так часто обращается к «испанскому романсу». В «Книге песен» мы находим три больших стихотворения, написанных на испанские темы и в манере традиционного для Испании «романса», до известной степени сходного с английской или немецкой балладой. Опубликованный еще в 1817 году романс «Дон Рамиро» (тогда под заглавием «Дон Родриго») не остался одиноким — за ним последовали более поздние романсы «Донна Клара» и «Альманзор», перекликающиеся с трагедией «Альманзор» в общих своих мотивах и в отдельных подробностях.

Испанские события были важны для Гейне тем, что они означали кризис ненавистного ему режима Реставрации. Авторитет феодально-монархической реакции в Европе был поколеблен. Положение в Испании после наполеоновских войн несколько напоминало положение в Германии. Немцы, воевавшие за освобождение своей страны от Наполеона, не получили от своих правительств обещанной политической реформы. Испанцы, героически сопротивлявшиеся Наполеону в течение многих лет, после возвращения на трон короля Фердинанда VII потеряли конституцию и другие права, приобретенные ими во время национально-освободительной войны. Политика Фердинанда VII и дала ближайший повод к революционному восстанию. Для немецкого народа, обманутого своими правительствами, это был урок и пример, как должно действовать.

Трагедия «Альманзор» свидетельствует, как высоко оценивал Гейне испанские события. Революция 1820 года на деле носила довольно ограниченный характер, — это была революция военная и либерально-буржуазная. Гейне же в нее вкладывал более значительное содержание. Она ему представлялась если не разрешением, то началом разрешения множества вопросов, поставленных историей последних столетий.

Исторический фон трагедии — борьба мавров и испанцев, время обратного отвоевания испанцами всех захваченных маврами земель, так называемой реконкисты. В трагедии показано жестокое столкновение рас и религий: мавры с их мусульманством на одной стороне и испанские католики на другой. Спор решается оружием и кровью. Гейне сделал центральным героем мавра и правоверного мусульманина, страдающего, так как его возлюбленная, все старые друзья его изменили вере отцов и приняли крещение. Разумеется, Гейне отнюдь не собирался доказывать в своей трагедии преимущества учения Магомета. Гейне отрицает религию в любой ее форме. А мусульманство у Гейне изображается с некоторой терпимостью лишь потому, что, на взгляд Гейне, оно в меньшей степени религия, чем христианство например. В мусульманстве нет спиритуализма, оно чувственно, оно признает права чувственного человека. Такой взгляд на мусульманский мир, но с отрицательной или полудоурицательной оценкой, был свойствен романтикам: А.-В. Шлегелю, Новалису, Тикку, Арниму. В положительном смысле и как некое «язычество» трактовалась мусульманская культура у Гёте — «Западно-восточный диван» (1819), к чему близок и Гейне. Но для Гейне важны были не вопросы религии, сами по себе взятые. Важно было, какой строй жизни подразумевается в том или ином случае. Мавры его трагедии — люди, взрастившие на своих землях богатую цивилизацию. Мавры достигли высоких успехов материальных, научных, художественных. У Гейне мавры признают за человеком право на довольство, на чувственные радости. А воинствующие католики во имя Христа разрушают цветущие области, населенные маврами, вносят, куда бы ни явились они, жестокий и мрачный дух аскетизма, отречения естественного человека от самого себя. Христианский брак Зюлеймы, бывшей невесты Альманзора, означает не только отказ от любви к Альманзору, но и от всякой любви, от всякого чувственного и духовного счастья. Замечательно, что христианский жених Зюлеймы, дон Энрике, — вор и бродяга, затеявший женитьбу ради денег и богатства. Вот чему служит христианство с его возвышенно-идеалистическим учением: оно прикрывает грязные дела грязных людей; спиритуализм христианства — маска для материальных интересов, которые не смеют проявлять себя откровенно.

Трагедия Гейне — антихристианская, антирелигиозная, ни в какой мере не антииспанская. Гейне — противник не испанцев, но тех явлений в испанской жизни, которые враждебны и самому испанскому народу. Его трагедия направлена против испанского абсолютизма, против католической церкви и инквизиции. Рекон-

кпста завершилась укреплением именно этих сил, и именно с ними боролась в дни, когда создавался «Альманзор», испанская революция.

Гейне ждал от испанской революции, что она послужит началом того порядка вещей в Европе, который упразднит расовую и национальную рознь, вражду культур и вражду людей разной крови. В монологе хора говорится о мечтаниях старого Али. Гейне придал старому Али оттенок мудрости и трагизма. Он принял христианство, ушел от мавров и не пришел к испанцам. Он мечтает, что настанут времена, когда не будет гонений за веру, когда придет конец насилиям и ничто не будет разделять людей. Старому Али слышатся слова: Кирога и Риего. Это имена вождей испанской революции, — Гейне выходит из рамок исторической фабулы и вносит в свою трагедию прямую злобу дня.

Революция Риего и Кирога приближает для Гейне конец старых политических режимов, основанных на привилегиях вероисповедных, расовых, национальных, на деспотизме и насилии, в каких бы видах они ни являлись. Но в «Альманзоре» есть и своя положительная программа. В нем предвещается новый строй материальных отношений, счастливых и прекрасных. Некоторым прообразом ему служит мавританская цивилизация, как она изображена в этой драме. «Цветущий стиль» драмы «Альманзор», живописные метафоры и сравнения, чувственный поэтический язык говорят о том же — что человечество вступит в новый период, когда материальный быт его, «телесная жизнь» его станет прекрасной, когда народы станут жить в богатстве и в высоком довольстве. Позднее, в Париже, Гейне возвестил «реабилитацию плоти», «эмансипацию материи». Это были идеи и формулы, заимствованные у теоретиков утопического социализма, у последователей Сен-Симона. Трагедия «Альманзор» свидетельствует, что идеи оправдания и устроения материальных интересов человечества появились у Гейне еще до знакомства с учениями французских утопистов.

Из переписки Гейне явствует, что в «Альманзоре» он ставил себе весьма сложные литературные задачи. Он хотел соединить драматургию романтиков с драматургией классицизма. Его увлекала «Федра», знаменитая трагедия французского классика XVII века Расина; он сочувствовал драматическим произведениям просветителей XVIII столетия, выдержанным в классическом духе, — «Заире» Вольтера и «Натану Мудрому» Лессинга.

«Заира» и «Натан», помимо стиля, были родственны «Альманзору» и по идейному замыслу. И «Заира» французского просветителя и «Натан» просветителя немецкого проповедовали веротер-

пимость. При этом и у Вольтера и у Лессинга тема расширялась. Их произведения говорили не только о терпимости мировых религий друг к другу — они говорили о братстве и дружбе народов, носителей этих религий, о терпимости и о гармонии между ними также и в вопросах, далеко выходящих за пределы религии.

В трагедии «Альманзор» по примеру Вольтера и Лессинга весьма сильна стихия публицистики и ораторского слова. Соблюдаются предписания поэтики классицизма — закон трех единств. И все же по общему своему облику «Альманзор» мало похож на классическую драму XVII или XVIII веков. «Альманзор» — лирическая трагедия, лирика в нем преобладает.

Лирическая природа этой трагедии позволяет Гейне ввести на сцену хор. Ибо хор — носитель лирического вдохновения, в партии хора сосредоточена лирика, рассеянная по отдельным сценам и эпизодам драмы. Хор дает автору право нарушить сценическую иллюзию. В монологе хора староиспанской трагедии звучат современные имена Риего и Кироги. Хоровой лирике, как и всякой лирике, дозволено свободное отношение к исторической обстановке. Испытывая лирический подъем, автор вместе с хором отрывается от старой Испании времен реконквисты и прокламирует идеи и лозунги отдаленного будущего.

Поставленный в 1823 году в Брауншвейге известным режиссером Клингеманом, «Альманзор» не имел успеха. Тут действовали случайные причины, но в дальнейшем драматические театры все же не уделяли внимания «Альманзору». В нем не было качеств драматургии положений и характеров, а для лирической трагедии он был слишком пространен и сюжетно запутан. Некоторую сценическую жизнь вдохнула в «Альманзора» берлинская постановка Поля Линдау (в 1899 году, который тогда ошибочно считался годом столетнего юбилея Гейне, — на деле тогда исполнилась 102-я годовщина его рождения). Место «Альманзора» — не столько в истории театра и драматургии, сколько в истории идейной жизни Гейне и его лирической поэзии. «Альманзор» вместе с трагедией «Ратклиф» дают важные идейные подступы к «Книге песен».

Стр. 207. *Изабелла Кастильская* — жена Фердинанда Католика, короля Арагонии. Оба стояли во главе испанского королевства, объединившего Кастилию с Арагонией. Фердинанд и Изабелла завершили отвоевание Испании у мавров — в 1492 г. мавры потеряли свою последнюю твердыню — Гренаду.

Стр. 208. *Боабдил* — последний мавританский король Гренады, капитулировавший перед испанцами.

Мендоса — архиепископ толедский, инквизитор.

Стр. 211. *Альфакулы* — факиры, дервиши.

Моравиты — магометанская секта.

Хименес — исповедник королевы Изабеллы, занимал должность великого инквизитора; яростный гонитель мавров.

Стр. 212. *Тарик* — предводитель мавров, в VIII веке вторгшихся в Испанию.

Стр. 214. *Меджнун* и *Лейла* — влюбленные, герои поэмы Нивами «Лейла и Меджнун».

Стр. 231. *Кааба* — главная святыня магометан; находится в Мекке.

Стр. 237. *Кафр* — Кавказ.

Симург — гигантская птица в персидской мифологии.

Стр. 242. *Эблис* — злой дух.

Омаяды — династия арабских калифов, свергнутых после страшного кровопролития династией *Абассидов*. Из Омаядов единственный спасся Абдерахман; он бежал в Испанию, где основал в 756 г. Кордовский калифат.

Стр. 243. *Абдерахманы* — кордовские калифы. Особо известен, как покровитель наук и искусств, Абдерахман III.

Кордова. — В XI веке кордовский калифат распался; с XIII в. *Гренада* — самостоятельное королевство.

Стр. 244. *Риего* — полковник, вождь испанской революции 1820 г.

Кирога — его сподвижник.

ВИЛЬЯМ РАТКЛИФ

Трагедия о Вильяме Ратклифе, шотландском разбойнике, была написана Гейне с чрезвычайной быстротой, в последние три дня января 1822 года. Трагедия отличается цельностью концепции, простотой общего плана, и, очевидно, потому она столь легко удалась Гейне.

«Вильям Ратклиф» входит в традицию так называемых «драм судьбы». Этот особый род сценических зрелищ впервые наметился в Германии еще в трагедии молодого Клейста «Семейство Шроффенштейн». Особо влиятельной, вызвавшей много подражаний, была одноактная драма Захарии Вернера «Двадцать девятое февраля». Мы знаем об особом впечатлении, которое произвела на Гейне «Праматерь» Грильпарцера — он смотрел ее в театре в декабре 1821 года, незадолго до того, как стал писать «Ратклифа».

К 20-м годам «драма судьбы» наполнила собой репертуар немецких театров. Появились драматурги, сочинявшие «трагедии судьбы» почти ремесленным способом, и они-то пользовались особым театральным успехом, — Ад. Мюллер, Гувальд.

«Трагедия судьбы» исходила из тех же предпосылок, что и особый жанр романа, популярный в романтическую эпоху, — так называемый «страшный роман», или «готический роман», роман ужасов и тайн, созданный и разработанный английскими писателями Анной Радклиф, Льюисом, Матюреном, получивший широкое развитие и в немецкой литературе, у Э.-Т.-А. Гофмана и других. Повидимому, не случайно ассоциация имени заглавного героя трагедии Гейне с именем Анны Радклиф, родоначальницы «готического», «черного» романа.

И «трагедия судьбы» и «черный роман» создали свою особую поэтику. Некоторые мотивы и символы здесь неизменно повторялись. Так и в трагедии Гейне: родовое несчастье Радклифов, вещая песня, роковой камень, призраки — все это соответствует мотивам, привычным у авторов «страшных драм» и «страшных романов». Песня, которую напевает старуха Маргарита, — шотландская баллада «О Эдвард, Эдвард», — звучит и в трагедии Захарии Вернера «Двадцать девятое февраля». Трагедия Гейне переносила современников в хорошо им знакомую литературную и театральную атмосферу.

«Страшный роман» зачастую, а «драма судьбы» почти всегда трактовали одну, общую для них, внутреннюю тему: социальный перелом, наступивший в жизни европейских народов, подчинившихся господству буржуазных отношений, буржуазных материальных и общественных сил.

Это господство проявляло себя безлично и стихийно, как власть материальных вещей и денег над общественным человеком, не подготовленным к новым отношениям. Обычный герой немецких «драм судьбы» — либо старинный родовой аристократ, либо маленький человек, воспитанный патриархальным укладом жизни. На него-то и надвигается непонятная ему и беспощадная к нему стихия новых общественных сил, они-то и становятся для него «судьбой». В стиле то более, то менее абстрактном, но всегда в своем мистически извращенном виде эта великая коллизия между новым буржуазным обществом и старым укладом жизни обыкновенно и изображалась в «драмах судьбы». Авторы не умели подняться над горизонтом своих героев, носителей устаревшего миропонимания и бессильных материально и духовно перед грозными для них явлениями общественной истории.

Гейне в «Ратклифе» делает решительный опыт прорваться сквозь мистику «трагедий судьбы». Он пишет трагедию в этом жанре с целью преодолеть его. Герой трагедии Гейне вовсе не намерен склониться перед «судьбой», как это делали его романтические предшественники. Вильям Ратклиф оказывает ей противодействие, и, что более всего стоит внимания, он борется с «судьбой» не в качестве одиночки, а взяв сторону таких же обиженных и обездоленных, каким оказался он сам. Хотя и в наивной еще форме, в юношеской трагедии Гейне борьба с «судьбой» есть социальная борьба. Следовательно, и сама судьба не есть мистическая сила, но является силой социально-исторической, поддающейся разумному истолкованию. Фантастика «драмы судьбы», поработавшая человеческое сознание, у Гейне ослаблена и близка к реалистическому своему проявлению. «Драма судьбы» стоит у Гейне на пороге разумно осмысленной и проникнутой духом активности социальной драмы.

Виллibaldi Алексис, автор разбора «Трагедий с лирическим интермеццо», опубликованного в венском ежегоднике 1825 года, сделал по поводу «Ратклифа» любопытные замечания. Он писал, что в трагедии Гейне разработан мотив наследственной вражды, и это привычно для «драмы судьбы». Но Алексис не понимал, зачем Гейне осложняет свой сюжет еще и мотивом наследственной любви — старшего Ратклифа к матери Марии и младшего к самой Марии Мак-Грегор. Однако наследственная вражда в «драме судьбы» означала власть недобрых сил, угнетающих человека, независимо от морального содержания его собственных поступков, безотносительно к нему как к моральной личности: человек приобретает врагов, которых не он сам создал и с которыми ему не справиться. У Гейне наравне с этим и вопреки этому другой мотив: как есть традиция вражды, так есть и традиция любви, борьбы со злом, переходящая из поколения в поколение, и когда-нибудь эта другая традиция одержит победу.

Не случайно Гейне избрал местом действия Шотландию. В Англии, в частности в Шотландии, полнее всего были представлены основные коллизии современного общества, — в буржуазном своем развитии Англия зашла достаточно далеко. В чем состоит «судьба» современного человека, здесь было яснее, чем где-либо в другой стране Европы. В Англии с окончательной резкостью определились линии основного конфликта в современном обществе — между эксплуататорами и трудящимися, между имущими и неимущими, «богатыми» и «бедными». Некоторые сцены «Вильяма Ратклифа» замечательны тем, что в них уже достаточно явственно обнаружи-

вается этот конфликт и Гейне дает ему почти точное название (диалог между Дугласом и Мак-Грегором в сцене первой, сцены с разбойниками). Переиздавая свою трагедию в 1851 году, Гейне в предисловии к ней дивился, как это ему удалось еще в 20-х годах предугадать современную социальную тему. Действительно, основная социальная тема XIX столетия присутствует в этом юпошеском произведении. В дальнейшем она приобрела у Гейне большее богатство содержания, а ее понимание — большую зрелость.

Трагедия о Ратклифе связана со многими явлениями английской литературы, более всего с «шотландскими романами» Вальтер Скотта («Роб-Рой», «Уэверлп» и др.). Вальтер Скотт подсказал Гейне многие подробности, нужные для воссоздания местного колорита. В основной своей теме Гейне отходит от Вальтера Скотта. В «шотландских романах» главное внимание уделено разгрому старой, патриархальной Шотландии — разгрому духовному и материальному, неизбежному, когда Шотландией овладели буржуазные общественные отношения. У Гейне старая Шотландия не является идейным центром коллизии, Вильям Ратклиф отнюдь не защищает обычаев и навыков старых шотландских кланов. Это мятежник нового типа, с общественным идеалом, обращенным не к прошлому, но к будущему.

Любопытно, что Гейне придал своему герою некоторые биографические черты Байрона; Феликс Мельхиор, исследователь байронизма у Гейне, указал на это.¹

Байрон школьником был влюблен в Марию Чаурт, дочь хозяина анслейского замка. Семейные традиции отдаляли Байрона от Марии: предок Байрона убил ее деда. Этот Чаурт и его убийца были соседями по имению. Сравни у Гейне: Ратклиф, как Байрон в анслейском замке, гостит в усадьбе Мак-Грегора и влюбляется в его дочь. Между отцом Ратклифа и Мак-Грегором была кровавая вражда, и она бросила трагическую тень на любовь Ратклифа к Марии. Дальнейшие параллели: Байрон разочарован в Марии Чаурт, она дразнит его, насмехается над его хромотой. Сравни пронию Марии, услышавшей от Ратклифа любовное признание.

Гейне, высоко ценивший «Ратклифа», так и не добился постановки его на сцене. Но «Ратклиф» воскрес позднее, в музыкальном театре. На текст Гейне было написано несколько опер: чешским композитором М. Вавжинец (премьера в Праге, 1895), итальян-

¹ Felix Melchior. Heinrich Heines Verhältnis zu Lord Byron, Berl., 1903.

ским — Масканып, ¹ (премьера в Милане, 1895), немецким — Корнелий Доппер (премьера в Веймаре, 1909). Были еще оперы Цанардини и Фолькмара Апдрэе (1914).

Ранее других положил «Ратклифа» на музыку русский композитор Ц. А. Кюи (премьера в Петербурге в 1869 году, с участием известных певцов Мельникова и Леоновой). Опера Кюи послужила поводом для нового пересмотра трагедии Гейне в русской критике. Но А. Н. Серов, писавший об опере Кюи, отнесся к тексту Гейне сурово. В 60-х годах были потеряны ключи к немецкой «драме судьбы», к ее смыслу и к ее поэтике, поэтому и сохранившаяся у Гейне символика «драмы судьбы» и разрушение этой символики у Гейне должным образом не уяснились для критики. Серов назвал трагедию Гейне «галиматьей и пародией» (А. Н. Серов. Критические статьи, т. IV).

Внимание музыкальной сцены к «Вильяму Ратклифу» объясняется свойствами этой трагедии Гейне, ее внутренним строем. Гейне именовал ее «драматизованной балладой». Лирический строй трагедии как бы предназначал ее для музыкального театра.

Стр. 267. *Воксхолл* — увеселительный сад в старом Лондоне.

Дрюрилен и *Ковентгарден* — лондонские театры.

Стр. 276. *Ботани-Бей* — колония для преступников в бухте Нового Южного Уэльса.

Стр. 278. *Купол Святого Павла* — собора в Лондоне.

Стр. 285. *Таверна «Раскал»* (*Rascal* по-английски плут, вор) — поровская таверна.

СТИХОТВОРЕНИЯ

1816—1827

«Когда в Оттэнзене я был...» — В Оттензепе находится могила Клопштока, немецкого поэта, крупнейшего среди предшественников Гёте в XVIII веке. Ко времени Гейне Клопшток был для немецкого читателя только прославленным именем; стихи Клопштока находили мало читателей.

Германия (Сновидение). — Эти отрывки свидетельствуют о том раннем периоде в творчестве Гейне, когда он еще разделял убеждения так называемых «буршеншафтов», консервативно настроенных патриотических организаций немецких студентов. Стихотворение славит старую, сохраняющую патриархальный

¹ Масканып — автор известной оперы «Сельская честь».

строй, жизнь Германии, что соответствовало идеалам «бурнешафтов».

«Если смысла не добьешься...» — надпись на экземпляре «Фауста» Гёте.

«Взгромоздись на Роландсека...» — Написано на оборотной стороне гравюры с изображением монастыря на одном из островов по течению Рейна, вблизи Роландсека. Согласно некоторым сказаниям, Роланд погиб от мучений неразделенной любви — любимая ушла в монастырь, и, подобно рыцарю Тогенбургу, Роланд годами томился под ее окном, надеясь, что она покажется там (см. «Рыцарь Тогенбург», баллада Шиллера).

Фриц фон Бейгем — приятель Гейне по Бонну; см. ниже сонет, посвященный ему.

Фриц фон Бейгему. — Герой сонета занимал судейскую должность в Гамме (Вестфалия), где Гейне навещил его осенью 1820 г.

«За алтарем укрылся поп в тревоге...» — сонет, обращенный к Ж.-Б. Руссо, о котором см. выше.

«Чуждый скорби, чая нег...» — *Консалиум* — *consilium abeundi* (лат.) — на языке университетского обихода рекомендация студенту покинуть университет.

«Мужчины, девы, женщины, внемлите!..» — В 1819 г. в родном городе Гёте — Франкфурте-на-Майне — возникло общество, которое объявило сбор средств на прижизненный памятник Гёте, задуманный весьма пышно и богато. Однако немецкая публика и немецкие правительства проявили равнодушие к этому начинанию, и от него пришлось отказаться. У самого Гёте франкфуртская затея вызвала недовольство.

Бамберг и Вюрцбург. — Князь Александр фон Гогенлоэ в сане священника занимался в Бамберге чудесными исцелениями.

Юнец, с водяной в брэнном теле — посредственный писатель Ауффенберг, за два года, 1819—1821, опубликовавший восемь трагедий и текст одной «героической оперы», — все это было издано фирмой Гебгардт в Бамберге.

Картина. — *Фон Гувальд* — посредственный драматург, один из усердных изготовителей «драм судьбы». Написано сразу же после первого представления «Картины», в 1821 г. В этой драме под именем художника Спинарозы выведен поэт Ленц. Картина, созданная Спинарозой, играет в драме роковую роль.

Окассен и Николетта. — Сочинено по поводу первого представления оперы Шлейдера на текст Кореффа. Либ-

реттист использовал старинную французскую повесть (XIII в.) о двух влюбленных, Окассене и Николетте, разделенных условиями рождения, расы, веры и все же соединившихся друг с другом, вопреки всем препятствиям. Окассен — сын графа Бокерского, из Прованса, Николетта — похищенная дочь султана Карфагена. Сюжет давал повод к художественной разработке контрастов между обычаями, нравами, костюмами народов Запада и Востока.

«Б о л ь и м у к у б е з г р а н и ц ы...» — строки «Трагедий с лирическим интермеццо», посвященные Соломону Гейне.

«Я о т о д в и н у л р ж а в ы е з а с о в ы...» — Обращено к Рудольфу Христиани, при посылке ему «Ратклифа».

Д р е з д е н с к а я п о э з и я. — Направлено против дрезденского кружка дилетантов.

Кун и *Кинд* — авторы текста к опере Вебера «Фрейшюц», — дрезденские поэты.

Гель Теодор (псевдоним Т. Винклера) — поэт и редактор дрезденской «Вечерней газеты».

Арнольди — ее издатель.

Беттигер — по профессии археолог, известен был в литературных кругах как разносчик новостей.

Принадлежность этого стихотворения Гейне не вполне доказана.

Э д о м и т у. — Эдомитяне, по библии, — потомки Эдома (Исава), всегдашние враги израильтян; Эдомит в переносном смысле — ненавистник евреев.

«И з л е й с я, с е р д ц е б о л ь н о е...» — Обращено к другу Гейне Мозесу Мозеру. Сопроводительные стихи к повести «Бахаракский раввин».

О т щ е н ц у. — Обращено к известному берлинскому гегельянцу, профессору философии права Эдуарду Гансу. Еврей по происхождению, Эдуард Ганс в 1825 г. принял христианство в интересах своей академической карьеры.

Фридрих Шлегель, *Галлер*, *Берк* приведены в качестве ренегатов. Фридрих Шлегель — протестант, перешедший в католичество, которое ближе стояло к его реакционным убеждениям позднейшей поры. Галлер — тоже протестант, ставший католиком, автор чрезвычайно реакционного сочинения по вопросам права и государства, один из идеологов Реставрации. Эдм. Берк — английский писатель и политический деятель, сперва либерал, потом злейший враг французской революции.

«Я в мире любви блаженной искал...» —
Обращено к гамбургскому другу Гейне Фридриху Меркелю.

В о с п о м и н а н и е. — Печаталось с подзаголовком перевод
с английского, Sentimental Magazine, vol. XXXV. Указание на
перевод — мистификация. Автор стихотворения — сам Гейне.

Р а м с г е й т. — Рамсгейт — порт и морской курорт вблизи
Лондона. Летом 1827 г Гейне провел там две недели.

Н. Берковский.

СОДЕРЖАНИЕ

Д. Заславский. — Генрих Гейне V

КНИГА ПЕСЕН

Предисловие к третьему изданию. *Стихи в переводе А. Блока.* 3

СТРАДАНИЯ ЮНОСТИ

Сновидения

1. «Мне снился пыл неистовых измен...» *Перевод В. Зоргенфрея* 6
2. «Я видел странный, страшный сон...» *Перевод Т. Сильман* 6
3. «Себе я сам предстал в виденье сонном...» *Перевод В. Левика* 9
4. «Мне снился франтик, — вылощен, наряден...» *Перевод В. Левика* 9
5. «Вся кровь взметнулась во мне...» *Перевод В. Зоргенфрея* 10
6. «В глухую ночь, в блаженном сне...» *Перевод В. Зоргенфрея* 11
7. «Я выплатил выкуп, чего же ты ждешь?...» *Перевод В. Зоргенфрея* 13
8. «Бежал я от жестокой прочь...» *Перевод В. Левика* 16
9. «Забылись муки в тишине...» *Перевод В. Зоргенфрея* 20
10. «Вот вызвал я силою слова...» *Перевод В. Зоргенфрея* 21

Песни

1. «Утром я встаю, гадаю...» <i>Перевод В. Коломийцева</i> . . .	23
2. «Покоя нет и нигде не найти!..» <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	23
3. «Я брел дорогой лесною...» <i>Перевод Т. Сильман</i>	24
4. «Положи мне руку на сердце, друг...» <i>Перевод Е. Книпович</i>	24
5. «Колыбель моей печали...» <i>Перевод В. Коломийцева</i> . . .	24
6. «Ты помедли, корабельщик...» <i>Перевод Т. Сильман</i> . . .	25
7. «Гор и замков вереницы...» <i>Перевод В. Зоргенфрея</i> . . .	26
8. «По началу мне казался...» <i>Перевод А. Энгельке</i>	26
9. «О, пусть бы розы и кипарис...» <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	27

Романы

1. Унылый. <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	28
2. Горный голос. <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	28
3. Два брата. <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	29
4. Бедный Петер. <i>Перевод М. Кузмина</i>	30
5. Песня узника. <i>Перевод Б. Лейтина</i>	31
6. Гренадеры. <i>Перевод М. Михайлова</i>	32
7. Гонец. <i>Перевод С. Маршака</i>	33
8. Похищение. <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	33
9. Дон Рамиро. <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	34
10. Валтасар. <i>Перевод В. Левика</i>	38
11. Миннезингеры. <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	40
12. Под окном. <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	41
13. Раненый рыцарь. <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	41
14. Поездка по морю. <i>Перевод А. Энгельке</i>	42
15. Песенка о раскаянье. <i>Перевод Вс. Рождественского</i> . . .	42
16. Певице, спевшей старинный романс. <i>Перевод Л. Гинзбурга</i>	44
17. Песня о дукатах. <i>Перевод Л. Гинзбурга</i>	45
18. Разговор в падерборнской степи. <i>Перевод В. Левика</i> . .	45
19. Напутствие. <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	47
20. Поистине. <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	47

Сонеты

А.-В. Шлегелю. <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	48
Моей матери Б. Гейне	
I. <i>Перевод Р. Минкус</i>	48
II. <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	49

Г. Ш. <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	49
Фресковые советы Христиану З.	
I. <i>Перевод В. Левика</i>	50
II. <i>Перевод В. Левика</i>	50
III. <i>Перевод В. Левика</i>	51
IV. <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	51
V. <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	52
VI. <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	52
VII. <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	53
VIII. <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	53
IX. <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	53

ЛИРИЧЕСКОЕ ИНТЕРМЕЦЦО

Пролог. <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	55
1. «Чудесным светлым майским днем...» <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	56
2. «Из слез моих расцветает...» <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	56
3. «Голубка и роза, заря и лилея...» <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	57
4. «Гляжу в глаза твои, мой друг...» <i>Перевод В. Левика</i>	57
5. «Твой образ кроткий, неземной...» <i>Перевод В. Коломийцева</i>	57
6. «Прильни щекой к моей щеке...» <i>Перевод З. Васильевой</i>	58
7. «Я в чашу лилии белой...» <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	58
8. «Стоят вкамы звезды...» <i>Перевод В. Левика</i>	58
9. «На крыльях песни, подруга...» <i>Перевод В. Левика</i>	59
10. «Пугливой лилии страшен...» <i>Перевод В. Левика</i>	59
11. «Весь отражен простором...» <i>Перевод С. Маршака</i>	60
12. «Увы, меня не любишь ты!..» <i>Перевод Т. Сильман</i>	60
13. «Без слов, без клятв целуй меня...» <i>Перевод Р. Минкус</i>	60
14. «На глазки возлюбленной моей...» <i>Перевод В. Коломийцева</i>	61
15. «Свет близорук, свет недалек...» <i>Перевод В. Коломийцева</i>	61
16. «Если спросишь, друг мой нежный...» <i>Перевод Т. Сильман</i>	61
17. «Как из пены воссиявшая...» <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	62
18. «Я все простил: простить достало сил...» <i>Перевод И. Анненского</i>	62

19.	«Да, ты несчастна, — как сердиться мне?..» <i>Перевод В. Левика</i>	62
20.	«Рокочут грубы оркестра...» <i>Перевод С. Маршака</i> . . .	63
21.	«Вконец, вконец тобой забыто...» <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	63
22.	«Когда бы цветы узнали...» <i>Перевод Т. Сильман</i>	63
23.	«Отчего всеенные розы бледны?..» <i>Перевод В. Левика</i> . .	64
24.	«Они наплели немало...» <i>Перевод В. Коломийцева</i>	64
25.	«Пел соловей, и липа цвела...» <i>Перевод В. Зоргенфрея</i> .	65
26.	«Мы были чувств полны с тобой...» <i>Перевод Т. Сильман</i>	65
27.	«Была ты из самых верных...» <i>Перевод В. Коломийцева</i>	65
28.	«Так долго стужа нас томила...» <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	66
29.	«Покуда я медлил, вздыхал и мечтал...» <i>Перевод В. Левика</i>	66
30.	«Фиалки синих-синих глаз...» <i>Перевод В. Зоргенфрея</i> . .	67
31.	«Прекрасна земля, как сапфир небеса...» <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	67
32.	«Когда в гробу, любовь моя...» <i>Перевод В. Зоргенфрея</i> .	67
33.	«На севере диком стоит одиноко...» <i>Перевод М. Лермонтова</i>	68
34.	«Хочу возлюбленной моей...» <i>Перевод Н. Зиминой</i> . . .	68
35.	«Разлучен я с милой был...» <i>Перевод В. Коломийцева</i> . .	68
36.	«Из муки моей нестерпимой...» <i>Перевод В. Зоргенфрея</i> .	69
37.	«Филистеры бродят, — в воскресный...» <i>Перевод Т. Сильман</i>	69
38.	«Как призрак забытый, из гроба...» <i>Перевод В. Левика</i>	70
39.	«Девушку юноша любит...» <i>Перевод В. Зоргенфрея</i> . . .	70
40.	«Я слышу песни звуки...» <i>Перевод Н. Зиминой</i>	71
41.	«Мне снилась она, королевская дочь...» <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	71
42.	«Любимая, ночью безмолвной...» <i>Перевод П. Карпа</i> . . .	71
43.	«Из старых сказок, мнится...» <i>Перевод Вс. Рождественского</i>	72
44.	«Тебя я любил и люблю до сих пор...» <i>Перевод Н. Зиминой</i>	73
45.	«Сияющим светлым утром...» <i>Перевод Н. Зиминой</i>	73
46.	«Любовь моя сумрачным светом...» <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	73
47.	«Они меня истерзали...» <i>Перевод Ап. Григорьева</i>	74
48.	«Какое жаркое лето...» <i>Перевод Т. Сильман</i>	74

49. «Двое перед разлукой...»	<i>Перевод С. Маршака</i>	74
50. «За столиком чайным в гостиной...»	<i>Перевод С. Маршака</i>	75
51. «Мои отравлены песни...»	<i>Перевод С. Свяцкого</i>	75
52. «Я вновь забылся прежним сном...»	<i>Перевод Т. Сильман</i>	76
53. «Я нынче сентиментален...»	<i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	76
54. «Я тихо еду лесом...»	<i>Перевод В. Коломийцева</i>	77
55. «Во сне я горько плакал...»	<i>Перевод Р. Минкус.</i>	77
56. «Что ночь, я вижу тебя во сне...»	<i>Перевод Вс. Рождественского</i>	77
57. «Свирепствует буря, злится...»	<i>Перевод Р. Минкус</i>	78
58. «Сырая ночь беззвездна...»	<i>Перевод В. Левика</i>	78
59. «Звезда упала в бездну...»	<i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	79
60. «Громадный снился мне чертог...»	<i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	79
61. «Холодной полночью глухой...»	<i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	80
62. «Самоубийц хоронят...»	<i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	80
63. «Путь мой мгла ночная метит...»	<i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	80
64. «Мне мгла сомкнула очи...»	<i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	81
65. «Для старых, мрачных песен...»	<i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	82

ОПЯТЬ НА РОДИНЕ

1. «В этой жизни слишком темной...»	<i>Перевод А. Блока</i>	84
2. «Не знаю, что значит такое...»	<i>Перевод А. Блока</i>	84
3. «О сердце мое, ты печально...»	<i>Перевод Т. Сильман</i>	85
4. «Я плачу в лесу безнадежно...»	<i>Перевод В. Коломийцева</i>	86
5. «Сырая ночь и буря...»	<i>Перевод А. Блока</i>	86
6. «Когда мне семью моей милой...»	<i>Перевод В. Левика</i>	87
7. «Мы возле рыбацкой лачуги...»	<i>Перевод В. Левика</i>	88
8. «Красавица-рыбачка...»	<i>Перевод А. Блока</i>	88
9. «Луна плывет незримо...»	<i>Перевод М. Павловой</i>	89
10. «Сердитый ветер надел штаны...»	<i>Перевод В. Левика</i>	89
11. «Играет буря танец...»	<i>Перевод А. Блока</i>	90
12. «Вечер пришел безмолвный...»	<i>Перевод А. Блока</i>	90
13. «Когда выхожу я утром...»	<i>Перевод С. Маршака</i>	91
14. «Сверкало зыбью золотой...»	<i>Перевод В. Левика</i>	92
15. «На той на горе на высокой...»	<i>Перевод Ю. Тынянова</i>	92
16. «На дальнем горизонте...»	<i>Перевод А. Блока</i>	93
17. «Большой, таинственный город...»	<i>Перевод Р. Минкус.</i>	93

18. «Я снова дорогою старой иду...»	<i>Перевод В. Левика</i>	94
19. «Вошел я под свод галереи...»	<i>Перевод В. Гиппиуса</i>	94
20. «Тихая ночь, на улицах дрема...»	<i>Перевод А. Блока</i>	94
21. «Как можешь ты спать спокойно...»	<i>Перевод В. Левика</i>	95
22. «Забылась девушка дремой...»	<i>Перевод В. Левика</i>	95
23. «В ее портрет углубившись...»	<i>Перевод В. Левика</i>	96
24. «Я Атлас злополучный! Целый мир...»	<i>Перевод А. Блока</i>	96
25. «Племена уходят в могилу...»	<i>Перевод А. Блока</i>	96
26. «Мне снилось: печально светила луна...»	<i>Перевод Т. Сильман</i>	97
27. «Что нужно слезе одинокой?..»	<i>Перевод В. Левика</i>	97
28. «Сквозит осенний месяц...»	<i>Перевод В. Гиппиуса</i>	98
29. «Прескверная погода...»	<i>Перевод С. Свяцкого</i>	99
30. «Любовь, толкуют люди...»	<i>Перевод В. Левина</i>	99
31. «Этих пальцев — лилий белых...»	<i>Перевод В. Гиппиуса</i>	100
32. «Неужели не сказал ты...»	<i>Перевод Т. Сильман</i>	100
33. «Они любили друг друга...»	<i>Перевод В. Левика</i>	100
34. «О муках своих я решил рассказать...»	<i>Перевод Т. Сильман</i>	100
35. «Я черта позвал, он явился в мой дом...»	<i>Перевод В. Левика</i>	101
36. «Не подтрунивай над чертом...»	<i>Перевод С. Маршака</i>	101
37. «Три светлых царя из восточной страны...»	<i>Перевод А. Блока</i>	101
38. «Дитя, мы были дети...»	<i>Перевод В. Гиппиуса</i>	102
39. «Я как-то грустно-беспокоен...»	<i>Перевод Т. Сильман</i>	103
40. «Как из тучи светит месяц...»	<i>Перевод В. Левика</i>	103
41. «Вчера мне любимая снилась...»	<i>Перевод В. Левика</i>	104
42. «Друг! Ты все одну стрекочешь...»	<i>Перевод В. Гиппиуса</i>	105
43. «Не досадуйте напрасно...»	<i>Перевод В. Гиппиуса</i>	105
44. «Довольно! Пора мне забыть этот вздор!..»	<i>Перевод А. К. Толстого</i>	105
45. «Худеет царь Висвамитра...»	<i>Перевод В. Левика</i>	106
46. «Сердце, сердце, сбрось оковы...»	<i>Перевод В. Левика</i>	106
47. «Ты — как цветок весенний...»	<i>Перевод В. Коломийцева</i>	106
48. «За тебя, дитя, боюсь я...»	<i>Перевод В. Коломийцева</i>	107
49. «Когда лежу я в постели...»	<i>Перевод В. Левика</i>	107
50. «Девушка, чьи нежны губки...»	<i>Перевод В. Гиппиуса</i>	107
51. «Пусть себе метель кружится...»	<i>Перевод В. Гиппиуса</i>	108
52. «Тот мадонне шлет моленья...»	<i>Перевод В. Гиппиуса</i>	108

53.	«Так бледностью не выдал я...»	Перевод В. Гиппиуса . . .	108
54.	«Друг, опять пришла любовь...»	Перевод П. Карна . . .	109
55.	«Хотелось мне быть с тобой рядом...»	Перевод П. Карна	109
56.	«Сапфиры у тебя глаза...»	Перевод В. Гиппиуса	109
57.	«Я шутил любви речами...»	Перевод В. Коломийцева . . .	110
58.	«Фрагментарность вселенной мне что-то не нравится!..»	Перевод Т. Сильман	110
59.	«Бесплодно голову ломал я...»	Перевод В. Левика	110
60.	«Сегодня здесь праздничный вечер...»	Перевод П. Карна	111
61.	«Хотел бы в единое слово...»	Перевод Л. Мея	111
62.	«Твои жемчуга и алмазы...»	Перевод Т. Сильман	112
63.	«Кто впервые в жизни любит...»	Перевод В. Левика	112
64.	«Давали советы и наставленья...»	Перевод Ю. Тынянова	112
65.	«Этот юноша любезный...»	Перевод В. Гиппиуса	113
66.	«Мне снился сон, что я господь...»	Перевод Ю. Тынянова	113
67.	«Я вас покинул в середине июля...»	Перевод В. Левика	115
68.	«От милых губ отирянуть, оторваться...»	Перевод В. Гиппиуса	115
69.	«В темной почтовой карете...»	Перевод В. Гиппиуса	116
70.	«Где девчонка эта, боже...»	Перевод П. Карна	116
71.	«Из мрака дома выступают...»	Перевод В. Левика	116
72.	«О, если ты станешь моей женой...»	Перевод П. Карна	117
73.	«К твоей груди белоснежной...»	Перевод В. Левика	117
74.	«Трубят голубые гусары...»	Перевод В. Левика	118
75.	«В годы юности, бывало...»	Перевод П. Карна	118
76.	«Ты действительно сердита?..»	Перевод П. Карна	118
77.	«Ах, опять тот взор, что прсжде...»	Перевод В. Левика	119
78.	«Понимал я вас превратно...»	Перевод П. Карна	119
79.	«Кричат, негодуя, кастраты...»	Перевод С. Маршака	119
80.	«На бульварах Саламанки...»	Перевод В. Левика	120
81.	«Вот сосед мой дон Энрикес...»	Перевод В. Левика	120
82.	«При первой же встрече, по голосу, взглядам...»	Перевод В. Гиппиуса	121
83.	«Солнце уже над горами, и звбнок...»	Перевод В. Гиппиуса	121
84.	«В городе Галле на рынке...»	Перевод В. Левика	121
85.	«Вечереет. Поздним летом...»	Перевод В. Левика	122
86.	«В сердце боль, устали ноги...»	Перевод В. Левика	122

87. «Что смерть? Прохладной ночи тень...» <i>Перевод В. Гиппиуса</i>	123
88. «Где, скажи мне, та, чью прелесть...» <i>Перевод В. Левики</i> .	123
Сумерки богов. <i>Перевод В. Гиппиуса</i>	123
Ратклиф. <i>Перевод В. Гиппиуса</i>	125
Донна Клара. <i>Перевод В. Левики</i>	128
Альманзор. <i>Перевод В. Гиппиуса</i>	131
На богомолье в Кевлар. <i>Перевод В. Гиппиуса</i>	134

ИЗ «ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ГАРЦУ»

Пролог. <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	138
Горная идиллия <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	139
Пастушок. <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	145
На Брокене. <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	145
Ильза. <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	146

СЕВЕРНОЕ МОРЕ

Цикл первый

1. Коронование. <i>Перевод П. Карна</i>	148
2. Сумерки. <i>Перевод П. Карна</i>	149
3. Солнечный закат. <i>Перевод П. Карна</i>	149
4. Ночь на берегу. <i>Перевод П. Карна</i>	151
5. Посейдон. <i>Перевод П. Карна</i>	153
6. Признание. <i>Перевод П. Карна</i>	154
7. Ночью в каюте. <i>Перевод П. Карна</i>	155
8. Буря. <i>Перевод П. Карна</i>	158
9. Штиль. <i>Перевод П. Карна</i>	159
10. Морское видение. <i>Перевод П. Карна</i>	160
11. Очищение. <i>Перевод П. Карна</i>	162
12. Мир. <i>Перевод П. Карна</i>	162

Цикл второй

1. Приветствие морю. <i>Перевод П. Карна</i>	164
2. Гроза. <i>Перевод П. Карна</i>	166
3. После кораблекрушения. <i>Перевод П. Карна</i>	167
4. Закат солнца. <i>Перевод П. Карна</i>	168
5. Песня океанид. <i>Перевод П. Карна</i>	169
6. Боги Греции. <i>Перевод П. Карна</i>	172
7. Вопросы. <i>Перевод П. Карна</i>	174

8. Феникс. <i>Перевод П. Карна</i>	175
9. В гавани. <i>Перевод П. Карна</i>	176
10. Эпиллог. <i>Перевод П. Карна</i>	178

ДОПОЛНЕНИЯ К «КНИГЕ ПЕСЕН»

К «СТРАДАНИЯМ ЮНОСТИ»

Песни

1. Любовный привет. <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	181
2. Любовная жалоба. <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	181
3. Томление. <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	183
4. Белый цветок. <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	183
5. Чаение. <i>Перевод Б. Томашевского</i>	184

Романы

1. Обет. <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	184
2. Серенада мавра. <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	186

Сонеты и другие стихотворения

1. Венок сонетов А.-В. Шлегелю	
I. «Гнуснейший червь — сомнения укоры...» <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	187
II. «Ты своему не верил достойнью...» <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	187
2. Гофрату Георгу С. в Геттингене. <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	188
3. Ж.-Б. Р. <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	188
4. Фресковый сонет Христиану З. <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	189
5. Ночь на Драхенфельзе. <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	189
6. Фрицу Шт. в альбом. <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	190
7. Францу ф. Ц. <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	190
8. Урок. <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	191
9. Сон и жизнь. <i>Перевод В. Левика</i>	191
10. К ней. <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	192

К «ЛИРИЧЕСКОМУ ИНТЕРМЕЦЦО»

1. «К устам моим устами...» <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	193
2. «Не верую я в небо...» <i>Перевод Ю. Тынянова</i>	193
3. «Звезды, с неба протяните...» <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	194
4. «Кто память у сердца отнимет...» <i>Перевод П. Карна</i>	194
5. «Узы дружбы, пыл сердечный...» <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	194

К ЦИКЛУ «ОПЯТЬ НА РОДИНЕ»

1. «В облаках лежит луна...» <i>Перевод В. Гиппиуса</i>	195
2. «В серый плащ укрылись боги...» <i>Перевод В. Левика</i>	195
3. «Позвольте, барышня, к вам на грудь...» <i>Перевод В. Арнс</i>	196
4. «Равнодушие и вялость...» <i>Перевод П. Карпа</i>	196
5. «Ты губы, целуя, ранила мне...» <i>Перевод В. Арнс</i>	196
6. «Когда ты раскрыла объятия — о боги!..» <i>Перевод В. Левика</i>	196
7. «Лгут уста, но ложь понятна...» <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	197
8. «Я был рад умерить малость...» <i>Перевод П. Карпа</i>	197
9. «Меня ты, крошка, не конфузь...» <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	197
10. «Ты красива, ты богата...» <i>Перевод В. Левика</i>	197

К «ПУТЕШЕСТВИЮ ПО ГАРЦУ»

«Грезы старые, проснитесь!..» <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	198
--	-----

К «СЕВЕРНОМУ МОРИЮ»

Морская болезнь. <i>Перевод П. Карпа</i>	199
--	-----

ТРАГЕДИИ

Альманзор. <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	203
Вильям Ратклиф. <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	265

СТИХОТВОРЕНИЯ

1816—1827

1816

«Когда в Оттэнзене я был...» <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	303
«Когда подступает волшебный миг...» <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	303

1819

Германия (Сновидение). <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	303
«Разлуку я выносил с трудом...» <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	307
«Цветы к лучезарному солнцу...» <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	307
«Весь день о ней я тосковал...» <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	307
«Когда я с милою вдвоем...» <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	308

«Мне в лес бы зеленый! Как дивно там...» <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	308
«Если смысла не добыешься...» <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	309

1820

«Взгромоздясь на Роландсек...» <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	309
Фрицу фон Бейггему. <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	309
«За алтарем укрылся поп в тревоге...» <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	310
«Знай зубри, юнец, упорно...» <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	310

1821

«Чуждый скорби, чая нег...» <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	310
«Мужчины, девы, женщины, внимайте!..» <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	311
Бамберг и Вюрцбург. <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	311
Картина. Трагедия барона Э. фон Гувалда. <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	312
Под Линами, в Берлине. <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	312

1822

Окассен и Николетта. <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	312
---	-----

1823

«И мнится, несусь я вновь на коне...» <i>Перевод В. Арнс</i>	313
«Боль и муку без границы...» <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	313
«Я отодвинул ржавые засовы...» <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	313
«Моим бы песням нежным...» <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	314
Дрезденская поэзия. <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	314

1824

«Любви моей лилея...» <i>Перевод В. Арнс</i>	315
«Поля и леса зеленеют...» <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	315
«Дни и ночи сочиняя...» <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	315
«Что я люблю тебя, мопсик...» <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	316
«Вражда с любовью, любовь с враждою...» <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	316
Бурлескный сонет. <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	316
Эдомиту. <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	317
«Излейся, сердце больное...» <i>Перевод В. Зоргенфрея</i>	317

1825

Отщепенцу. *Перевод В. Зоргенфрея* 318

1826

«Я в мире любви блаженной искал...» *Перевод В. Зоргенфрея* 318
«Был месяц март, когда любовь...» *Перевод В. Зоргенфрея* 318
Воспоминание. *Перевод В. Зоргенфрея* 319

1827

Отрывок. *Перевод В. Зоргенфрея* 321
Рамсгейт. *Перевод В. Зоргенфрея* 321

ПРИЛОЖЕНИЕ

Предисловие ко второму изданию «Книги песен» 323
Предисловие к пятому изданию «Книги песен» 327
Предисловие к французскому изданию стихотворений 328
Предисловие к третьему изданию «Вильяма Ратклифа» 331
Комментарии *Н. Я. Берковского* 335

Генрих Гейне
Собрание сочинений, т. 1

Редактор Б. Б. Томашевский.
Художник Л. С. Хижинский.
Художественный редактор
А. М. Гайденков.
Технический редактор
Л. А. Чалова.
Корректор И. А. Якимович.

Сдано в набор 6/1 1956 г.
Подписано к печати 14/IV
1956 г. М-11377. Тираж 85000
экз. Бумага 84×108¹/₃₂—
26 печ. л. — 21,32 усл. печ. л.
Учетно-изд. л. 18,89+1 вкл.=
18,94 л. Заказ № 592.
Цена 10 р. 50 к.

Гослитиздат

Ленинградское отделение.
Ленинград, Невский пр., 28.

Министерство культуры
СССР. Главное управление
полиграфической промыш-
ленности. 2-я типография
«Печатный Двор» имени
А. М. Горького. Ленинград,
Гатчинская, 26.